

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱՅԻ և ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԻ
ՆՇԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝
ՎԵՐԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
ՄՈՏԵՅՄԱՄԲ

ԵՐԵՎԱՆ



НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК АРМЕНИИ

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА

**СЕМИОТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДИСКУРСА:
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ПОДХОД**

ЕРЕВАН

Лимуш

2018

*Գիրքը երաշխավորված է փրկագրության ՀՀ ԳԱԱ
Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի
գիտական խորհրդի որոշումով:*

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԴԻՄԿՈՒՐՄԻ ՆՇԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ
ՄՈՏԵՑՄԱՄԲ/ ԿԱԶՄԵԼ և ԽՄԲԱԳՐԵԼԵՆ՝ **Մուրեն Զոյանը, Միխայիլ Իլյինը,
Իվան Ֆոմինը:** ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտ. Եր.: Լիմուշ, 2018– 370 էջ:

Առաջարկվող կոլեկտիվ մենագրությունում ամփոփված են ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի հայ-ռուսական (№ 15-ՔԴ 24) և Ռուսաստանի հումանիտար գիտական հիմնադրամի (№ 16-23-20009), համատեղ նախագծի արդյունքները: Այն իրականացրել են ոլորտի առաջատար գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտից,, ՌԳԱ ԻՆԻՈՆ-ից և «Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոց» Գիտահետազոտական Համալսարանից: Ըընդհանուր մեթոդաբանությամբ կապակցված բաժիններում տրված են քաղաքական հաղորդակցությանում տեքստերի և իմաստների գոյացման և փոխանցման՝ դրանց խորհրդանշական առկայացում և բազմակողմանի իմաստավորում հիմնախնդիրների համակարգված վերլուծություն: Ի հաստատում տեսական դրույթների, Որպես գործնական խնդիրներ, ուսումնասիրվել են Հայաստանի համար մի շարք կարևորագույն խնդիրներ (անկախության հռչակում քաղաքական խորհրդանշությունը որպես պետական և ազգային ինքնության կերտման միջոց, Հայոց ցեղասպանության ճանաչման դիսկուրսներ, պատմական հիշողության նշանային կաղապարները և այլն): Գիրքը հասցեագրված է քաղաքագետներին, լեզվաբաններին, սոցիոլոգներին, նշանագիտության, քաղաքական հաղորդակցման, դիսկուրսի և մեկնության հարցերով հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջանակներին: Հրապարակումը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի դրամաշնորհի (№ 15-ՔԴ 24) հաշվին:

УДК 81'42:32.001
ББК 81+66.0
С 306

*Коллективная монография печатается по решению Ученого совета
Института философии, социологии и права НАН РА*

С 306 СЕМИОТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД/ Редакторы- составители:
С. Т. Золян, М. В. Ильин, И. В. Фомин; Института философии,
социологии и права НАН РА.- Ереван: Издательство «Лимуш», 2018.-
370 с.

Предлагаемая коллективная монография есть обобщенное представление результатов совместного армяно-российского проекта «Семиотика политического дискурса: трансдисциплинарный подход» Государственного комитета по науке МОН Республики Армения (проект № 15-РГ 24) – Российского научного гуманитарного фонда, Государственного комитета по науке МОН и РГНФ (проект № 16-23-20009), осуществленного ведущими армянскими и российскими учеными, представляющими Институт философии, социологии и права НАН РА, ИНИОН РАН и НИУ «Высшая школа экономики». В связанных общностью методологии разделах предлагается системное рассмотрение проблем, связанных с порождением и трансляцией смыслов и текстов в политической коммуникации, их символической репрезентации и многомерной семантизации. Теоретические положения подтверждаются анализом политических проблем, имеющих первостепенное значение для Армении (дискурсы провозглашения независимости; идентичность и формирующая ее политическая символика, политика памяти и репрезентации прошлого, признание Геноцида 1915 г.). Книга адресована политологам, лингвистам, социологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами семиотики, политической коммуникации, дискурса и интерпретации. Издание осуществлено за счет гранта № 15-РГ 24 Госкомитета по науке МОН РА.

УДК 81'42:32.001
ББК 81+66.0

ISBN 978-9939-64-298-7

© Золян С., 2018
© Ильин М., 2018
© Фомин И., 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Ильин М. В. , Фомин И.В. Введение в проблематику -----7

ЧАСТЬ 1. СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

С. Т. Золян. Семиотика и прагматика политического дискурса ----- 26

М. В.Ильин., И.В.Фомин. Семиотика в пространстве современной науки и в политических исследованиях----- 59

С. Золян Юрий Лотман и социальная семиотика ----- 77

ЧАСТЬ 2 МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРФОРМАТИВОВ

М. В. Ильин Введение ----- 116

Михаил В. Ильин, Андрей М. Ильин Создание новых государств сквозь призму перформативов -----117

И.В. Фомин. Перформативы оспариваемых сецессий: Южная Осетия, Абхазия, Косово ----- 140

Е.А. Ефимова, Н.А. Конюхов, Д.А. Панфилов. Кто и как начал Первую мировую войну: перформативный анализ ----- 156

Д.В. Алексеев, А.М.Ильин, М.В.Ильин. Кто и как закончил Вторую мировую войну: перформативный анализ -----171

ЧАСТЬ 3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И КОММУНИКАЦИЯ

В.Э. Согомонян. Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе ----- 191

В.Э. Согомонян. Трансформация коммуникативных характеристик политического дискурса в современном информационном пространстве ----- 208

ЧАСТЬ 4. СОБЫТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ, СЕМИОТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ.

С.Т. Золян. «Повторяемость» событий в историческом дискурсе: семантика и прагматика-----	242
С.Т. Золян. Политическая символика Третьей Республики: все еще в поисках идентичности-----	273
М.С. Золян. Советское прошлое и пост-советское настоящее: политика памяти в современной Армении.-----	301
С.Т.Золян. «Как не действовать словом» - президенты США о Геноциде армян 1915 г-----	335
1. Становление канона: Билл Клинтон и Джордж Буш младший-----	335
2. «Я слово позабыл, что я хотел сказать» - Барак Обама и <i>Медс Егерн</i> -----	341

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ

М.В. Ильин, И.В. Фомин

Предлагаемая вниманию читателей монография посвящена политической семиотике, то есть изучению политики посредством выявления ее семиотических аспектов – а именно: смысла, порядка его выражения и обстоятельств его трансляции (коммуникации). Такой подход, который также можно назвать семиотической политологией, нуждается в распространении прежде всего путем семиотического анализа разнообразных политических дискурсов. Ведь не секрет, что, несмотря на то что у истоков изучения языка политики и политической коммуникации стоят такие классики политологии, как Гарольд Лассуэлл, Чарльз Мерриам, Пол Лазарсфельд и Натан Эйдельман, описание сферы политического посредством семиотических методов трудно назвать мейнстримом современной политической науки.

Пока семиотика остается для политологии скорее концепцией «на вырост». Часто отсылки к семиотическому аппарату понимаются слишком узко и ассоциируются с исследованиями в духе политической лингвистики. А в основном даже базовые понятия и методы семиотики для значительной части профессионального сообщества сегодня все еще остаются малознакомыми.

К этой ситуации можно относиться двояко: один увидит в ней проблему, а другой — возможность для будущего развития. Можно надеяться, что уже в скором времени семиотические инструменты могут получить куда более широкое распространение.

Сегодня когда речь заходит о методологическом аппарате политической науки, привычно его описывают в терминах размежевания между методами *количественными* и *качественными*. Картина становится несколько иной, если мы вводим в нее еще один элемент в виде *смешанных* методов, однако никакого принципиального изме-

нения из этого не следует. «Смешанные методы» обычно мыслятся в логике всё той же дихотомии количественных / качественных, пусть уже и без резкого противопоставления и с возможностью их комбинирования [см. напр.: Creswell, 2003; The SAGE... p. xxix; и др.]

Если попытаться ответить на вопрос о том, каковы содержательные основания разделения методов на эти две группы, то с *количественными* методами ситуация относительно ясна — их мы можем определить как методы, основанные на аппарате *математики* [Miijs, 2004, p. 1-2], а вот основания качественных методов оказываются гораздо менее отчетливы. Доступным решением было бы определить качественные методы «апофатически» — как «всё остальное», как неколичественный анализ, как изучение данных, не оформленных в численном, измеримом виде. Такое определение трудно признать удовлетворительным, однако есть некоторые обстоятельства, вынуждающие говорить о качественных исследованиях именно так. В первую очередь причиной тому фрагментированность подходов к качественному анализу и их сопротивление попыткам выстраивания какой бы то ни было метапарадигмы [Denzin, Lincoln, 2005, p. xv].

Ввиду того, что никакого определенного «катафатического» содержания в понятии *качественные* методы мы не обнаруживаем, привычное разделение методов на количественные и качественные имеет смысл пересмотреть. Как минимум стоит пользоваться термином *качественные методы* с осторожностью, в частности, обращая внимание на тот факт, что если количественные методы основаны на математике, то у качественных методов таких «математик» вполне может быть несколько, и каждое из таких оснований будет давать нам отдельную группу методов.

Именно в поисках обществоведческих «математик» мы можем обратить внимание на семиотику, в ней мы можем усмотреть одно из методологических оснований *качественных* исследований в политике.¹

¹ Подробнее о других возможных методологических основаниях (органогах) —

Поскольку, как было сказано выше, термин *качественные методы* довольно зыбок, предлагается далее вести речь именно о *семиотических методах*. Объем этой категории, пожалуй, может оказаться уже, однако ее содержание будет гораздо более определенным.

Встречное движение есть и в области самой семиотики. Изучение политической коммуникации с начала 1980-х годов становится в этой дисциплине одним из ведущих направлений, в определенной степени потеснив доминировавший с 1960-х анализ художественных текстов. При этом для значительной части подобных исследований интерпретативное препарирование политического дискурса рассматривается само по себе как инструмент политической борьбы.

Семиотика как «математика» наук об обществе

Что же мы знаем о семиотике и какие методы мы можем отнести к семиотическим? Обычно *семиотикой* называют науку, занимающуюся изучением знаков, знаковых систем (языков) и целостных совокупностей знаков (текстов). При этом понятия *знак* и *текст* рассматриваются в максимально широком значении. Текстами именуются отнюдь не только фрагменты устной или письменной речи на естественных языках, а вообще любые результаты *осмысленной* деятельности. Семиотика, таким образом, оказывается тем фундаментальным инструментом, с помощью которого мы можем описать не *реальность*, но *действительность* [Ильин, 2009, с. 186-189], не *Плерому*, но *Креатуру* [Jung, 1967; Бейтсон, 2000]. Она позволяет протоколировать эффе́кты, вызванные *различиями*, которых нет в универсуме *реальности* — в плеромном мире неразграниченных материальных сил и импульсов, но которые при этом являются существенными и значимыми для универсума *действительности* — мира, творчески

таких, например, как морфология и математика см.: [Ильин, 2014; Кокарев, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2015].

освоенного и осмысленного человеком.

Семиотика — инструмент изучения мира, существующего в сознаниях: в нашем собственном сознании и в сознании Другого. Именно по этой причине мы можем говорить о ней как об аппарате, подходящем для гуманитарных и общественных наук. И, конечно, политология не является здесь исключением.

Семиотика также есть средство исследования миров разной модальности: миров возможных и невозможных, миров желаемого и должного², миров, в которые мы верим, миров, которые вызывают у нас восхищение, ужас или стыд. И здесь нельзя не провести параллели с тем, что уже является частью инструментария политологии — например, с категориями *креденда*, *миранда*, *хорренда*, *пуденда* у Мерриама и Лассуэлла [Lasswell, 1949, p. 10; Merriam, 1946, p. 453].

Представления о семиотике как об одном из оснований всякого человеческого познания можно обнаружить уже у классиков современной науки и философии. Так, например, Джон Локк в своем «Опыте о человеческом разумении» (1690) писал, что семиотика (*Semeiotike*) — как «учение о знаках» (thedoctrineofsigns) — составляет одну из трех ветвей познания как такового наряду с *физикой* — «знанием о вещах» (theknowledgeofthings) и *практикой* — «умением правильно прилагать наши силы и действия для достижения благих и полезных вещей» (theskillofrightapplyingourownpowersandactions, fortheattainmentofthingsgoodanduseful) [Локк, 1985, с. 200-201; Locke, 1995, p. iv-xxi].

О семиотике Локк говорит следующее: «И так как наиболее обычные знаки — это слова, то семиотику довольно удачно называют также λογική — «логика». Задача логики — рассмотреть природу знаков, которыми ум пользуется для уразумения вещей или для передачи своего знания другим» [Локк, 1985, с. 200-201; Locke, 1995, p. iv-xxi]. Локк обращает внимание на связь между знаками, словами и знания-

² О множественных мирах разной модальности см. напр.: [Lewis, 1986].

ми. Если в русском языке *знаки* перекликаются со *знаниями*, то в греческом слово – *логос* (λόγος) – перекликается с *логикой* (λογική), способностью к рассуждению.

Другой ярчайший мыслитель Чарльз Сэндерс Пирс сделал следующий шаг – развернул масштабную систематику человеческого познания и поведения, в которой семиотика также заняла центральное положение. Пирс в различных своих работах приводит разные версии выделения разновидностей наук. Как и у Локка, эти классификации у него имеют триадическую структуру. Так, например, в своей ранней работе «Телеологическая логика» (1865) Пирс ведет речь о 1) *позитивной науке (изучение вещей)*, 2) *о семиотике (изучении представлений)* 3) и о *формальной науке (изучение форм)* [Peirce, 1982, p. 303-304]. Как и Локк, Пирс ставит знак равенства между логикой и семиотикой, говоря о них как о разных названиях для «формального учения о знаках» [Peirce, 2012, p. 98].

Сами знаки Пирс также рассматривает трихотомично. Во-первых, он разделяет знаки по самой их сути на: 1) *первичные знаки-качества* (напр.: ощущение от черного цвета), 2) *воплощения качеств*, то есть единичные действительно существующие предметы или события — *знаки-вещи* (напр.: написанное черными чернилами слово «стол»), 3) *знаки-законы*, проявляющиеся в вещах (напр.: правила использования слова *стол*). Во-вторых, (и это самая известная триада Пирса) с точки зрения отношений между знаком и объектом, на который знак указывает, выделяются: 1) *иконы* (знаки в силу подобия), 2) *индексы* (знаки в силу смежности) и 3) *символы* (знаки в силу конвенции). В-третьих, Пирсом различает с точки зрения отношения к своему значению: 1) *знаки-возможности (ремы)*, 2) *знаки-факты (суждения)* и 3) *знаки-умозаключения*, что соответствует классической логической триаде *термина, предложения и умозаключения* [Peirce, 2012, p. 101-104]³.

³ О некоторых возможностях использования идей Пирса в политических исследованиях см. напр.: [Drieschova, 2014].

Полтора с лишним века между семиотиками Локка и Пирса как между важнейшими вехами истории этой науки были также заполнены весьма содержательной работой. Как показал в своем фундаментальном справочнике о семиотике Винфред Нёт [Nöth, 1985; 1990], за это время появились идеи и труды Иоганна Готфрида Гердера, Вильгельма фон Гумбольдта, а также Иоганна Генриха Ламберта и Бернарда Больцано, которые не только развивали семиотические концепции⁴, но пользовались при этом самим термином *семиотика*. Б. Больцано, например, развивая общее «учение о знаках» (Zeichenlehre), выделял семиотику (Semiotik) в качестве прикладной его части [цит. по: Nöth, 1990, 4.1.4]

Однако формирование семиотики как науки связано именно с Пирсом и его младшими современниками. В связи с этим нельзя не упомянуть помимо трудов Ч.Пирса также *сигнифику* В.Уэлби [Welby, 1985] и *семиологию* Ф. де Соссюра [Соссюр, 1977, с. 54]. Пирсовские идеи о фундаментальном характере семиотики развивал также выдающийся ученый Чарльз Уильям Моррис. Он четко различил *чистую* (*pure*) *семиотику* и её приложения к различным предметным областям в виде *дескриптивных* (*descriptive*) семиотик [Morris, 1938, p. 9]. Аналогичные идеи высказывал и Ганс-Генрих Либ, предлагавший выделять *общую* семиотику и семиотику *специальную* [Lieb, 1975].

Согласно амбициозной концепции Ч.У.Морриса, именно семиотика должна была стать «математикой» социальных и гуманитарных наук. И даже более того — она должна была стать унифицированным инструментом изучения любых явлений, имеющих знаковую природу [Моррис, 1983, с. 38]. В какой же мере сегодня проект, намеченный Моррисом, можно считать реализованным применительно к политической науке?

⁴ История развития подобных концепций рассматривается В.Нётом с европейской античности. Немало семиотических представлений, однако, получили развитие также в индийской и китайской культурных традициях.

Американский социолог Чарльз Лемерт в 1993 году писал: «Кто из читавших в конце 1940-х работы Леви-Стросса мог мечтать о том, насколько сегодня практически каждый уголок гуманитарных и общественных наук будет затронут идеями и работами из области семиотики?» [Lemert, 1993, p. 31]. К восторгу Лемерта, однако, трудно присоединиться.

Прежде всего, ввиду широкого и действительно почти повсеместного наступления структурализма и постструктурализма в XX веке отдельные идеи, имеющие отношение к семиотике, так или иначе действительно вошли в инструментарий почти всех наук об обществе, став отправной точкой для целого ряда популярных подходов. Однако настоящего семиотического коперниканского переворота всё же не произошло. Унифицирующего метанаучного семиотического языка, о котором писал Моррис, мы практически не обнаруживаем. И даже для тех тенденций, которые действительно имели место, политическая наука, пожалуй, была одной из самых мало затронутых областей знания [Drechsler, 2009, p. 73-74].

Существующие в политической науке семиотические исследовательские техники сегодня представлены скорее как россыпь отдельных приемов. Они разбросаны по различным субдисциплинам, школам, направлениям и исследовательским традициям и редко рассматриваются как единое целое. К такого рода методам мы можем отнести контент-анализ, концепт-анализ, анализ метафор, нарративный анализ, конверсационный анализ, всевозможные версии дискурс-анализа⁵, герменевтики, этнометодологии, исследования символической политики и др. В целом же семиотический методологический проект едва ли сегодня в достаточной мере реализован. Более того, возможно, мы еще даже не вполне приступили к его реализации.

Среди публики и, особенно, коллег политологов удивительным образом господствует взгляд, будто семиотика «всего лишь лингвисти-

⁵ О разных версиях дискурс-анализа см. напр.: [Фомин, 2015, с. 19-22].

ка» и что она не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социальному познанию вообще.

Чем объясняется такое невнимание к семиотике? Тем же, чем и тот факт, что мощная систематика Пирса остается достоянием лишь элиты научных элит. Все эти научные достижения слишком фундаментальны, требуют цепкого ума и интеллектуальных навыков для работы с ними. Да к тому весьма абстрактное, но при этом предельно четкое различие, которое проводил Моррис, для большинства совсем не очевидно. Оно может показаться довольно умозрительным, ведь на практике мы сталкиваемся скорее с замутненными формами и целыми лестницами переходов между предельными проявлениями сути дела. Именно эти замутненные и переходные формы застилают нам взор. Именно они кажутся «реальными» и «настоящими».

Другим важным обстоятельством, отвернувшим внимание массаiva научного сообщества от чистой семиотики, были, как это ни парадоксально, успехи дескриптивных, специальных, прикладных и прочих частных семиотик. В течение практически всего прошлого века основное внимание уделялось разработке специфических возможностей приложения принципов семиотики. В результате возникли своего рода частные семиотики. Это была, прежде всего, лингвистическая семиотика как наиболее разработанная сфера исследований. Однако наряду с ней появились и другие семиотические дисциплины – семиотика культуры, кино, городской среды, биосемиотика и, естественно, семиотика политики, которой и посвящен настоящий выпуск журнала.

Нынешнее состояние семиотики можно достаточно отчетливо представить, если мы вообразим мир, в котором не существует математики как связанной системы знания. В таком мире есть существующие сами по себе «плодоисчисление», «человекоисчисление», «скотоисчисление», а также «звездомерство», «водомерство», «домомерство» и т.д. Это мир, в котором *геометрия* — это исключительно «землемерство», а принципами изучения пространственных структур на других поверхностях учат соответственно на отдельных факультетах «бу-

магомерства», «стеномерства» и т.д. Именно такова сегодня семиотика. При развитости отдельных ее предметных направлений (таких как лингвистическая семиотика, литературная семиотика, семиотика искусства, семиотика кинематографа, биосемиотика, семиотика городской среды и т.д.), почти не выражены и не проработаны общие ее основания — то, что Ч.У.Моррис называл *чистой семиотикой* (puresemiotics) [о предметном *насыщении и очищении* семиотики см.: Фомин, 2015a].

Подобное развитие привело к ситуации, когда семиотика черпает свой материал из лингвистики, кибернетики, биологии, психологии, этнографии, социологии, истории культуры, литературоведения, но также и отдает в свою очередь этим наукам свои обобщения [Степанов, 1998, с. 19]. Она развивается на стыке наук, и возникает такое качество «приватизированной» отдельными дисциплинами семиотики, как ее срединность или междисциплинарность, а в перспективе, добавим, трансдисциплинарность. В этой ситуации, на фоне развития частных семиотических методов, стоит возвратиться к идее Чарльза Морриса о чистой семиотике — всерьез поставить вопрос о развитии общей семиотики как метанаучного интегратора, объединяющего весь комплекс социально-гуманитарных наук, включая и политологию, — поверх дисциплинарных границ.

Чистая семиотика

Одним из главных элементов теоретической рамки, заданной для семиотики Ч. Моррисом, была триада уровней семиотического анализа:

- уровень семантики,
- уровень синтактики,
- уровень прагматики.

Согласно этой схеме, в сферу семантики предлагается включать

отношения между знаками и означаемыми ими объектами, в сфере синтактики — отношения знаков между собой, а прагматике — отношения знаков к интерпретаторам [Моррис, 1983, с. 42]⁶.

Базовыми концепциями для семиотики можно считать также предложенные в рамках этой дисциплины диадические (означающее — означаемое) [Соссюр, 1977, с. 99-100] и триадические (форма — смысл — значение) модели знака [Peirce, 2012, р. 101-104; Моррис, 1983, с. 39-40; Frege, 1892, S. 25-50]. В самом общем понимании знаком в семиотике считается любой предмет, выступающий посредником между двумя системами. На основе базовых моделей знака могут разворачиваться более сложные и многоуровневые конструкции. С их помощью могут быть составлены модели метафор, мифов, образов и других комплексных семиотических феноменов. [Барт, 1989, с. 81; Ильин, 1995, с. 111; Фомин, 2014a]

Одной из главных заслуг Ф. де Соссюра, наряду с предложенной им структуралистской моделью знака, считается введение различия между такими явлениями, как *язык* (*langue*) и *речь* (*parole*). *Речью* в этой дихотомии называется конкретный результат использования языка — семиотический продукт, развернутый во времени и пространстве. Под *языком* же понимается система знаков (код), которая виртуально существует в сознании у каждого владеющего языком индивида, но которая при этом не располагается в его сознании никогда полностью и никогда индивиду полностью не принадлежит. Язык индивидом единолично не создается и не изменяется, поскольку являет собой внешний по отношению к нему социальный аспект

⁶ Моррисовская система уровней не уникальна. Существуют и иные схемы структурирования знаковой действительности. Так, например, Т. ван Дейк предлагает говорить о *речевом* (*language use*), *коммуникационном* и *интеракционном* уровнях, выводя это членение из результатов препарирования ситуации социально контекстуализированной коммуникации — когда адресант и адресат взаимодействуют (интеракция), передавая информацию (коммуникация) при помощи языка (*language use*). [Dijk, 1998, р. 2, 5]. Подробнее о других способах структурирования дискурса см.: [Фомин, 2015, с. 17-18].

речевой деятельности, существующий в полной мере лишь в коллективе [Соссюр, 1977, с. 52].

Дихотомическое разделение на *язык (код)* и *речь* происходит внутри всего множества проявлений *речевой деятельности* — языка в самом широком значении этого слова. В оригинальном тексте «Курса общей лингвистики» де Соссюра соответствующий термин обозначается французским словом *langage* (лангаж). [Saussure, 1995, p. 20]

Через призму соссюровской триады *лангаж — язык — речь* можно подходить к объяснению одного из понятий, которые сегодня распространены в политических исследованиях весьма широко. Речь идет о понятии *дискурса*. Дискурс можно рассматривать как языковую практику (лангаж) в неразрывной связи с ситуативным контекстом, с прагматическими, социокультурными, когнитивными установками коммуникантов.

Вести речь о дискурсе как о том, что позволяет соединить язык как систему (*langue*) и речь как деятельность (*parole*), но при этом конкретнее и уже языка в его целостности (*langage*), впервые предложил при уточнении соссюровской концепции бельгийский лингвист Эрик Бюиссанс [Buysens, 1943].

Предложенный Бюиссансом подход позволяет различить три типа дискурса: два взаимоисключающих и один интегрирующий. Во-первых, он может пониматься как *дискурс-продукт* — аналогичные речи эпизоды человеческой деятельности, развернутые в действительном времени и значимые для вовлеченных в них людей. Во-вторых, он может определяться как *дискурс-программа* — значимая для соответствующих групп людей система правил понимания (интерпретации) подобных эпизодов и/или их создания (порождения). В-третьих, его можно непосредственно связать со способностями группы и составляющих ее людей использовать систему правил для создания осмысленных эпизодов действительности, а также придавать эпизодам своей деятельности смысл путем выработки или уточнения

правил их понимания. Иными словами, дискурс в третьем смысле – назовем его *дискурс-конвертор* – отождествляется с творческими усилиями людей по созданию и пониманию своих эпизодов действительности.

В современной семиотике *языками* принято называть не только лингвистические коды, но и вообще любые знаковые системы. Это открывает возможность для аналитического разделения абстрактной знаковой системы (языка) и конкретного семиотического продукта (речи) не только в естественных языках, но и при изучении иных модусов социальной коммуникации. Дискурс охватывает всю символическую деятельность людей и за конкретными проявлениями любой целенаправленной деятельности (дискурс-продуктом) можно усмотреть абстрактные системы семиотического взаимодействия (дискурс-программу).

Перспективы семиотики в политических исследованиях

Положения общей (чистой) семиотики важны не только сами по себе, но и с той точки зрения, что они потенциально позволяют интегрировать разрозненные предметные семиотические области. В частности, это касается семиотики политической. Для политической науки внимание к общим семиотическим принципам и выделение семиотических инструментов как одного из основных видов исследовательских методов может оказаться существенным в качестве средства обеспечения интрадисциплинарной связности и трансдисциплинарной интеграции. Встраивание разрозненных семиотически ориентированных методов и приемов в общую концептуальную рамку может позволить соотнести их друг с другом и выработать общий методологический язык. Большинство семиотически ориентированных методов, используемых в политической науке, не уникальны для нее, потому возможность переформулировать полученные выводы на

языке, более очищенном от конкретной политической предметности, могут позволить интегрировать политическую семиотику в более широкое пространство социальной семиотики.⁷

При этом, разумеется, никто не предлагает редуционистски унифицировать все существующие семиотически ориентированные методологические языки. Речь идет скорее о том, чтобы помимо них освоить еще и семиотическую лингва франка. Кроме того, наличие более широкой методологической перспективы может позволить высветить некоторые лакуны, которые могут быть изучены семиотическими методами, но пока остаются почти без внимания, попадая в «слепые зоны» используемых методов.

Так, например, общесемиотическая концепция, предполагающая выделение трех уровней любого дискурса: семантического (отношения между формой, смыслом и значением знака), синтаксического (отношения между знаками) и прагматического (отношения между знаками и ситуативным контекстом), — позволяет лучше разобраться с достоинствами и недостатками такого распространенного метода, как контент-анализ.

Техника контент-анализа зачастую оказывается эффективна, однако, рассматривая ее с точки зрения триадического разделения уровней дискурса, мы можем обнаружить, что она эффективно решает свои задачи лишь на уровне семантики. Уровень синтактики при этом обычно оказывается вовсе не исследован, а уровень прагматики описывается интерпретативно, уже как бы за рамками довольно четко прописанной методологической схемы.

В некотором смысле обратную ситуацию мы имеем в случае с методами критического дискурс-анализа. Исследователи, использующие такого рода техники, зачастую стремятся сделать острые выводы, относящиеся к уровню прагматики, используя детально прорабо-

⁷ Об интеграционном трансдисциплинарном потенциале семиотики см.: [Моррис, 1983; Ильин, 2007; 2014; 2015; Фомин, 2015b; Фомин, 2015].

танные аналитические схемы, но пренебрегают при этом потенциалом дескриптивного и компаративного изучения сематического и синтактического уровней дискурса.

Одной из самых насущных задач для политической семиотики сегодня видится ее выход из «лингвистической колыбели». Ведь хоть семиотика теоретически и выступает как метадисциплина в отношении лингвистики, тем не менее она сегодня несет в себе глубокий отпечаток лингвистической «наследственности». Потенциально материнской дисциплиной для семиотики могли стать, например, и генетика, и искусствоведение, и теория дизайна. Исторически, однако, сложилось так, что эту роль на себя взяла именно лингвистика [Соссюр, 1977, с. 54]. По этой причине и по сей день ключевые семиотические концепты, такие как, например, *язык* или *текст*, несут в себе хоть и следовые, но почти всегда осязаемые лингвистические коннотации.

Выработка самостоятельного семиотического языка или хотя бы эффективное соединение элементов языков разных дисциплин — одна из главных сегодняшних задач. Интересна в этом плане попытка Г.Кресса привнести в семиотический вокабуляр ряд терминов, изначально относящихся скорее к области дизайна, таких как *модуль* или *аффорданс*.

«Похмелье» (именно так эту ситуацию называет Г.Крес, смотрите статью в настоящем издании) после выхода из эры лингвистического доминирования может быть довольно тяжелым, а масштабы фронта работ, открывающегося за пределами узколингвистической проблематики, могут оказаться весьма впечатляющими. Тем более насущной видится задача выхода за рамки глоттоцентричной повестки дня — в область изучения мультимодальных текстов, в том числе и политических перформативов.

Через призму семиотики становится возможным изучение репертуара осмысленных политических действий (семантика), закономерностей построения связей между ними (синтактика), а также исследование их аксиологических, телеологических и психологических

аспектов (прагматика). Более широкое применение аппарата семиотики позволяет хотя бы отчасти снять проблему идеографичности социальных и гуманитарных наук, которая в политической науке сегодня обычно решается посредством математики. С точки зрения семиотики исследуемые объекты рассматриваются не как полностью уникальные явления, а как воплощения некоторых абстрактных общих закономерностей. Выяснение такого рода семиотических правил по сути приближает гуманитарные науки к наукам номотетическим, то есть позволяет вести речь о сформулированных на языке семиотики законах знаково освоенной действительности — подобно тому, как естественные науки оперируют законами, действующими в физической реальности, формулируя их на языке математики.

Помимо всех перечисленных возможностей семиотики, политология, сама будучи семиотическим продуктом, может задействовать еще и потенциал семиотики как метадисциплинарного органа для рефлексии своего собственного концептуального аппарата [см. напр.: Сергеев, Сергеев, 2001; Ильин, 1997; Фомин, 2016].

В конечном счете, продуктивным и для семиотики, и для политической науки может оказаться выстраивание интерфейса, в рамках которого инструментарий семиотики обогатится за счет его политологической реконтекстуализации и насыщения политической предметностью, а аппарат политической науки в свою очередь получит новые концептуальные возможности для более острого и восприимчивого видения своей предметной фактуры.

Список литературы

1. Авдонин В.С. Методы науки в вертикальном измерении (метатеория и метаязыки-органы) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – Вып. 5. – С.265-278.
2. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – С. 72-130.

3. Бейтсон Г. Форма, вещество и различие // Бейтсон Г. Экология разума. – М.: Смысл, 2000. – С. 409-430.
4. Ермакова В. Б. Четыре решения проблемы Анкерсмита // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – Вып. 6. – В печати.
5. Золян С. Семиотика как органон гуманитарного знания: возможности и ограничения // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2016. — Вып. 6. – В печати.
6. Ильин М. В. Методологический вызов. Что делает науку единой? Как соединить разъединенные сферы познания? // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 6-11.
7. Ильин М. В. Семиотика как основа изучения языка политики и развития дискурс-анализа // Дискурс-Пи. – Екатеринбург, 2015. – № 1-2. – С. 43-47.
8. Ильин М.В. Очерки хронополитической типологии. Ч. 1. – М.: МГИМО, 1995. – 112 с.
9. Ильин М.В. Политический дискурс // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – С. 537-544.
10. Ильин М.В. Слова и смыслы: Опыт описания ключевых политических понятий. — М.: РОССПЭН, 1997. —430 с.
11. Ильин М.В. Существуют ли общие принципы эволюции? // Полис. Политические исследования. – М., 2009. – № 2. – С. 186-189.
12. Кокарев К.П. Институционализм: Сад расходящихся исследовательских тропок // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 192-202.
13. Круглый стол «Математика и семиотика: две отдельные познавательные способности или два полюса единого органаона научного знания?» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 122-142.
14. Локк Дж. Сочинения: в 3-х т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1985. – 560 с.
15. Моррис Ч.У. Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37-89.
16. Олкер Х.Р. Диалектическая логика «Мелосского диалога» Фукидида // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 220-249.

17. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. – М.: Лабиринт, 2001. – 192 с.
18. Сергеев В.М., Сергеев К.В. Некоторые подходы к анализу языка политики на примере понятий «хаос», «лидер», «свобода» // Полис. Политические исследования. – М., 2001. – № 5. – С. 107-115.
19. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию / Пер. с франц.; под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31-273.
20. Степанов Ю.С. Язык и метод: К современной философии языка. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
21. Фомин И. В. Элементы семиотического органа для обществоведения: анализ повествований // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014а. – Вып. 4. – С. 143-160.
22. Фомин И. В. Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: возможности семиотического инструментария // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2015а. – № 2. – С. 8-25.
23. Фомин И.В. Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2015б. – Вып. 5. – С. 208-219.
24. Фомин И.В. Категория образа как средство изучения политической действительности (на примере образа Южной Осетии в российском внешнеполитическом дискурсе) // Символическая политика: Сб. науч.тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2014б. – Вып. 2. – С. 40-65.
25. Фомин И.В. Метафорическая визуальность в концептуализациях когнитивного: знание как видение // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – Вып. 6. – В печати.
26. Фомин И.В. Модели повествовательной синтактики как инструмент анализа образов государств // Вестник БФУ им. Канта. – Калининград, 2014с. – № 6. – С. 94-102.
27. Цымбурский В.Л. Макроструктура повествования и механизмы его социального воздействия // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 161-191.
28. Шкловский В. Искусство как прием // О теории прозы. – М.: Федерация, 1929. – С. 7-23.

29. Bonham G.M., Sergeev V.M., Parshin P.B. The limited test-ban agreement: Emergence of new knowledge structures in international negotiation // *International studies quarterly*. – Detroit, Mich., 1997. – Vol. 41, N 2. – P. 215-240.
30. Buyskens E. *Les langages et le discours: Essais de linguistique fonctionnelle dans le cadre de la sémiologie*. – Bruxelles: Office de Publicité, 1943. – 99 p.
31. Creswell J.W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches*. – 2nd ed. – Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. – 246 p.
32. Denzin N.K., Lincoln Y.S. *Handbook of qualitative research*. – 3rd ed. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2005. – 1210 p.
33. Dijk T.A. van. *The study of discourse // Discourse as structure and process*. – Vol.1. / ed.by T.A. van Dijk. – L.: SAGE, 1998. – P. 1-34.
34. Drechsler W. *Political semiotics // Semiotica*. – La Haye, 2009. – N 173. – P. 73-97.
35. Drieschova A. *Pierce's semeiotics: A methodology for bridging the material-ideational divide in IR scholarship // Political concepts: Committee on concepts and methods working paper series*. – 2014. – N 38. – P. 1-37.
36. Frege G. *Über Sinn und Bedeutung // Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik*, N. F., Bd. 100/1. – 1892. – S. 25-50.
37. Hall S. *The work of representation // Representation: Cultural representations and signifying practices*. – L., New Delhi, 1997. – P. 13-74.
38. Jung C.G. *VII sermones ad mortuos: The seven sermons to the dead written by Basilides in Alexandria, the city where the East toucheth the West / C.G. Jung; Basilides*. – L.: Stuart & Watkins, 1967. – 34 p.
39. Lemert C. *Political semiotics and the zero signifier // Tracing the semiotic boundaries of politics / ed. by P. Ahonen*. – Berlin; N.Y.: Mouton de Gruyter, 1993. – P. 31–41.
40. Lewis D. *On the plurality of worlds*. – N.Y.: Blackwell, 1986. – 276 p.
41. Lieb H.H. *On subdividing semiotic // Pragmatics of natural languages*. – Dordrecht: Springer Netherlands, 1975. – P. 94-119.
42. Locke J. *An essay concerning human understanding*. – Amherst, N.Y.: Prometheus books, 1995. – 624 p.
43. Merriam Ch.E. *Physics and politics // The American political science review*. – Washington, D.C., 1946. – Vol. 40, N 3. – P. 445-457.
44. Morris C. W. *Foundations of the theory of signs // International encyclopedia of unified science*. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1938. – Vol. 1, N 2. – 59 p.

45. Muijs D. Doing quantitative research in education with SPSS. – 2nd ed. – L.: SAGE publications, 2004. – 228 p.
46. Nöth W. Handbook of semiotics. — Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press. 1990. — 576 p.
47. Peirce C. Philosophical writings of Peirce. – N.Y.: Dover publications, 2012. – 416 p.
48. Peirce C. S. Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Vol. 1: 1857-1866. – Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – 736 p.
49. Saussure F. de. Cours de Linguistique Générale / Ferdinand de Saussure; publié par Charles Bally et Albert Séchehaye; avec la collaboration de Albert Riedlinger; ed. critique préparée par Tullio de Mauro; postf. de Louis-Jean Calvet. – P ris: Payot, 1995. – 520 p.
50. The SAGE encyclopedia of qualitative research methods / ed. by Lisa M. Given. – Thousand Oaks: SAGE, 2008. – Vol. 1. – 490 p.
51. Welby V. Significs and language: the articulate form of our expressive and interpretive resources / Victoria Welby, Lady; ed.: H. Walter Schmitz. – Amsterdam: Benjamins, 1985. – 151 p.

ЧАСТЬ 1

СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

СЕМИОТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В ПРАГМАСЕМАНТИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

С.Т. Золян

В XX в. в лингвистике и философии язык стал рассматриваться не столько как инструмент описания действительности, сколько как механизм и форма ее конструирования. Выяснилось, что соответствующие различным социальным функциям модусы употребления языка приводят к формированию разных типов реальности, точнее, представлений о ней. Некоторые типы реальности могут быть отделены от языка, на котором они описываются – например, физическая; некоторые существуют только как языковая структура – например, поэтическая. Но во всех случаях очевидно, что: 1) представление о реальности (представление реальности) не существует вне выражающего его языка, и 2) любая реальность получает какой-либо социально значимый смысл и значение только будучи выражена в языковых структурах, вне которых невозможно говорить о смысле какого-либо исторического события или же физического явления.

Аналогичным образом может быть рассмотрена и «политическая реальность» – она, разумеется, не сводима только к языковым правилам, но в принципиальных чертах невыразима без них. Политическая реальность не есть нечто существующее вне языка, на котором она описывается. Проблема «язык и политическая реальность» может быть рассмотрена на трех уровнях:

1) стилистическом - когда наряду с информацией (описанием ситуации) содержится также и ее оценка; например, сообщение о столкновении двух вооруженных групп может быть представлено и как нападение экстремистов на силы правопорядка, и как отпор граждан оккупантам.

2) манипулятивном (или риторическом) - под видом информации навязывается желаемое отправителем сообщения представление о ней. При этом может иметь место как прямая, так и замаскированная дезинформация. Нечто имевшее место в процессе описания трансформируется так, чтобы получатель сообщения воспроизвел совсем иной образ события или же образ иного события. Это, как отмечает Л. Соссюр, особый тип употребления языка, который может быть определен посредством таких прагматических характеристик, как целеполагание, интенции и т.п., которые, в свою очередь, получают свое лингвистическое оформление – в форме количественного преобладания определенных языковых средств, служащих для адекватной реализации целей адресанта [Saussure, 2005, p. 119].

Хорошо изучены языковые средства первого уровня, менее изучены - второго, но в целом, начиная с античных риторик, они учитываются. Оба эти уровня подразумевают наличие некоторой автономной от языка действительности, а роль языка сводится к ее определенной упаковке – адекватной или же преднамеренно или непреднамеренно искажающей. Но существует ли (и если существует, то в каком виде) эта автономная от языка политическая реальность?

3) При любых возможных ответах на эти вопросы требуется постулирование третьего, семантического уровня. Здесь язык выступает и как форма конструирования и интерпретации действительности, и как особый тип социального (речевого) поведения и взаимодействия. Как то было отмечено М. Эделманом,

Это язык, говорящий о политических событиях и процессах, как их ощущают люди... Политический язык *и есть* политическая реальность; нет никакого другого смысла событий для вовлеченных в него

участников и наблюдателей (курсив М. Эделмана, перевод наш) [Edelman, 1985, p. 10]

В самом деле, на семантическом уровне теряется различие между означаемым и означающим: «реальность» (означаемое) оказывается эквивалентной «языку» (означающему). Тем не менее можно задать вопрос: если «политический язык и есть политическая реальность», то есть ли в таком случае какая-либо реальность кроме самого языка? Значит ли это, что семантика языка является саморефлексивной системой и в различных формах отражает и воспроизводит исключительно свои собственные конструкции, не имеющие какой-либо связи с политическими событиями, историей и т.п. (если только допустить существование таковых)?

Разумеется, такой подход был бы крайним упрощением семантики политического дискурса (ПД), хотя и не лишенным определенных оснований. Идея о референциальной пустоте или даже неизбежной не-верифицируемости (и даже фатальной лживости) ПД действительно возникает, если мы применяем те же процедуры его семантической оценки, что и к «обычному» высказыванию. Между тем, смысл и значение (референция) ПД требует особого подхода – это сложное многоуровневое явление, описание и оценка которого требуют обращения к инструментарию модальной семантики (семантики возможных миров) и прагматики (теории речевых актов и перформативов).

Дискурсом можно назвать такой комплексный объект, который есть взаимопроекция правил языка и правил поведения (социально-го взаимодействия). В основе такого понимания лежит Витгенштейновское определение «языковой игры»: «"Языковой игрой" я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [Wittgenstein, 1958, p. 5].

Если обратиться к современным лингвистическим теориям дискурса, то при всем разнообразии представленных точек зрения преобладает взгляд на дискурс как на промежуточную область между языком и речью, что создает иллюзию его автономного существова-

ния как особого лингвистического объекта. Мы же считаем, что это не отличный от языка объект, а определенный ракурс его описания, при котором фиксируются не-универсальные (или партиальные, или факультативные) и контекстно-обусловленные зависимости, а язык предстает как упорядоченное множество – но не самих элементов, а контекстно-зависимых необлигаторных моделей их использования. Такое понимание [Золян, 2009] избавляет нас от необходимости строгого (т.е. основанного на облигаторных характеристиках) определения ПД и позволяет ограничиться данным ниже неисчерпывающим определением Т. ван Дейка – как описания характерных свойств особого употребления языка, используемого в определенных поведенческих моделях (в «политических целях»).

Что касается определения того, что считать политическим дискурсом, то, учитывая многозначность понятий *политический* и *дискурс* (ср: [Ильин, 2002; Dijk, 1997; Wilson, 2001; FaircloughN., FaircloughI., 2015]), это могло стать темой отдельного исследования. Оговорим, что, поскольку «дискурс» употребляется в различных науках, то и в этом случае правильнее было бы предусмотреть его в том числе и внутридисциплинарную контекстуализацию, нежели настаивать на его единообразном понимании.

Соотнесенность и неразделимость слова и социального поведения обнажает генетические корни политического действия – это миф, обряд, ритуал. На семантическом уровне действуют особые правила языкового поведения, маскирующиеся под обычное (якобы сообщающее факты), но преследующие иные цели. Это не коммуникация, не описание некоторого состояния дел. «Их целью, – говоря словами К. Поппера [Popper, 2002, p. 21], – является не увеличение знания, а достижение политического успеха», то есть стимулирование перехода от одного состояния мира к другому. В отличие от обычного референтного высказывания, критерием оказывается не истинность/ложность высказывания, а его успешность. В этом отношении политические высказывания, какой бы грамматической формы они

ни были, скорее можно уподобить императивам, в случае которых определяющим параметром оказывается не их соответствие действительности, а успешность, уместность или эффективность. Так, параметр, по которому оценивается приказ «Выйди вон», будет не само это высказывание, а его результат – вышел ли адресат из помещения, и насколько это действие соответствует ситуации. Но и сам императив (например, приказ) является действием, определенной моделью поведения, которая одновременно и реализуется в речи, и описывается речью. Оценка высказывания перерастает в оценку поведения: имеет ли говорящий право выставить собеседника за дверь, насколько это правомерно или целесообразно, наконец, насколько это соответствует правовым или принятым нормам.

Истинностная оценка высказывания оказывается либо невозможной (как в случае «чистых» императивов, либо нерелевантной – в случае косвенных. Так, например, прозвучавший по радио зашифрованный приказ генерала Франко начать мятеж (*«Над всей Испанией безоблачное небо»*), может быть оценен и интерпретирован по-разному, но наименее уместной была бы его «метеорологическая» интерпретация – было или нет безоблачным небо над Испанией 18 июля 1936 года.

Теория ПД не может быть сведена к референциальной семантике, когда определяющим оказывается соответствие / несоответствие языковых выражений действительности, – будь то теории смысла и значения или же истинности и референции; она должна быть дополнена обусловленными правилами данной языковой игры прагматическими теориями, описывающими функциональные, операциональные и контекстуальные аспекты семантики ПД. ПД не исчерпывается характеристиками того, «что сказано» – обязательно должно быть учтено и кем, где, когда и как. Это – Речь как действие (а не просто описание действия), смыслом и значением этого действия станет не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие место последствия сказанного.

В принятых в современной логике и лингвистике терминах, следует говорить о силе высказывания, точнее, о как минимум трех различных семантических и прагматических *силах* и плоскостях политического дискурса, рассматриваемого как речевой акт: 1) что выражает высказывание само по себе, то есть его собственно языковая и семантическая составляющая; 2) какое воздействие на аудиторию намеревается оказать этим высказыванием отправитель сообщения. И наконец, 3) какое воздействие оказывает данное высказывание на слушающего.

В случае ПД эти факторы часто (хотя и не всегда) формализованы в виде обязательных процедур, условий говорения. Уже только поэтому теория речевых актов должна быть дополнена теорией перформативов, когда должны получить эксплицитное описание обязательные для успешного осуществления действия/коммуникации параметры коммуникативного контекста, так называемые удачные условия перформативного акта. Однако, в отличие от «чистых» перформативов, с одной стороны, ПД не всегда может быть формализован как некоторая требуемая процедура. С другой стороны, будучи императивом по своим целям и интенциям («Делай то-то»), он может маскироваться под индикативное («Нормальные люди голосуют за Х») или сослагательное наклонение («Ах, если бы вы проголосовали за Х...»).

Например, объявление войны есть речевой акт, не просто описывающий некоторое политическое действие «*объявление войны*», а само является политическим действием *объявления войны*. Это предполагает определенную процедуру (как правило, глава государства обращается с подобным предложением к парламенту). Но к тем же последствиям могут привести и действия или речевые акты, которые не формализованы как «объявление войны» (провокационные политические заявления, мобилизация, нагнетание напряженности на границе и т.д.). Очевидно, что объявление войны не только описывает политическое действие, но и само является таковым. Без подобного речевого акта военные действия, даже если и происходят, не должны

рассматриваться как «война». Но если подобный речевой акт был совершен и не был отменен, то считается, что соответствующие стороны находятся в состоянии войны, вне зависимости от того, происходят или нет боевые действия. Ср., с одной стороны, расхожее выражение «необъявленная война» (или «ненастоящая война», «гибридная война»), когда идут боевые действия без формального объявления войны, а с другой - выражение «странная война». Во втором случае отсутствие боевых действий не отменяет ситуации войны, а лишь переносит ее в подкласс «необычных, странных» войн⁸.

Требование соблюдения «удачных» условий, наличие формализованных или неформальных процедур распространяется и на высказывания, грамматически не являющиеся перформативами. Семантика высказывания, его истинность / ложность определяются не его соответствием реальности, а тем, насколько порождение и оценка этого высказывания соответствуют принятой процедуре. Если высказывание не соответствует этим условиям, оно, даже обладая лингвистическим смыслом и значением, окажется бессмысленным или, в лучшем случае, незначимым (нерелевантным, не влекущим каких-либо последствий). Определяющим фактором становится необходимость соблюдения ритуала (процедуры) – так, решение парламента действительно, если оно было принято в соответствии с предписанной в регламенте процедурой. Но то же самое высказывание не будет считаться действительным, если, скажем, было принято вне установленного места и в неустановленное время. Парифразируя Альфреда Тарского [Tarski, 1944]: применительно к ПД семантическое правило «*Высказывание “снег белый” истинно если и только если снег белый*», должно быть дополнено указанием на то, были ли соблюдены требуемые условия: *Высказывание «Снег белый» истинно, если в соответствии с определенной процедурой в определенном месте*

⁸ Не случайно благородная цель избавить человечество от войн привела к... табуированию слова «*война*» в политико-правовых практиках [Lotman, 2016].

и в определенное время требуемое большинство присутствующих утверждают, что «Снег белый» – истинное высказывание.

Станет ли снег черным, если за то, чтобы считать высказывание «Снег черный», проголосуют более 50 % имеющих права голоса? Разумеется, нет. Но высказывание «Снег черный» приобретет статус нормативного⁹, в том числе и для несогласного с ним меньшинства. Как видим, семантический критерий не исчезает, но он оказывается дополненным определенными процедурными требованиями и теряет объективный характер: истинность/ложность перестают быть объективным отношением между пропозицией и миром, а становятся субъективным вердиктом или суждением. Тем не менее предполагается определенная процедура верификации (в данном случае – голосование), и при соблюдении определенных условий подобные высказывания претендуют на признание в качестве объективной истины: «*Vox populi – vox Dei*». (Видимо, предполагается, что утверждение, за которые проголосовало менее 50 %, – это голос дьявола).

Столь важная, если не определяющая роль прагматических факторов может создать иллюзию того, что ПД и, соответственно, язык в политической функции – это язык, имеющий только прагматику,

⁹ Применительно к ПД нормативное высказывание можно определить как такое, которое включает в качестве модальной рамки утверждение о собственной истинности. Поэтому его истинностное значение должно оцениваться относительно данной рамки. Так, «Снег белый» – истинное высказывание, если и только если снег белый. Но истинным высказыванием будет и такое, как «Парламент страны N считает, что “Снег черный” – истинное высказывание» если и только если парламент страны N считает, что «Снег черный» – истинное высказывание». При опущении модально-контекстной рамки как якобы тавтологичной («Если парламент/суд/министр... считают что “X” истинно – значит X») создается иллюзия самоочевидности, поскольку, опуская указание на говорящего, утверждение об истинности акта высказывания неким субъектом («Истинно то, что парламент страны N постановил считать, что “Снег черный”» – истинное высказывание) подменяется утверждением данного положения дел («Снег черный»). Устанавливаемая посредством подобной пропозициональной эквивалентности норма и есть иллюзия или суррогат истины (истинности).

но не референтную семантику¹⁰, и высказывание характеризуется его силой (интенцией говорящего – воздействием на слушающего) и перформативной успешностью. Отсюда нередко взгляд на язык как на орудие пропаганды, а вовсе не инструмент описания действительности. Если реальность (референтный аспект дискурса) и присутствует, то только в искаженном виде, и язык выступает как инструмент не столько описания, сколько искажения действительности.

Идея о том, что высказывания ПД лишены референциального измерения, находит отражение в популярной идее о том, что политики – лгуны. Подобное отношение к политикам и их языку выразил Джордж Оруэлл: «Политический язык — и это относится ко всем политическим партиям, от консерваторов до анархистов, — предназначен для того, чтобы ложь выглядела правдой, убийство — достойным делом, а пустословие звучало солидно» [Оруэлл, 2003а, с. 356].

Подобное представление исходит из предпосылки, что есть некоторая неприглядная или по каким-либо иным причинам «нежелательная» реальность, а то, что говорят политики, не просто не соответствует этой реальности, но имеет целью скрыть ее. В свое время великий Платон назвал поэтов лжецами и «подражателями призракам» и предлагал изгнать их из государства. Впрочем, Платон сделал примечательную оговорку: некоторые «лживые» тексты тем не менее можно разрешить, если они служат некоей «правильной» цели¹¹. Изгоняя поэтов из идеального государства, Платон делает исключение для их «конкурентов» – мудрых и справедливых политиков. Как видим, поэтов следует изгнать не за то, что они «лжецы», а потому, что их «ложь» расходится

¹⁰ Ср.: «Общественное предназначение ПД состоит в том, чтобы внушить адресатам – гражданам сообщества – необходимость «политически правильных» действий и/или оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не описать (то есть, не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию» [Демьянков, 2002, с. 38].

¹¹ «Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим, если же нет – отвергнем» [Платон, 1994, с. 139].

с государственной. Только правители-философы имеют монополию на мифотворчество: «Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать... Если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина, он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль» [Платон, 1994, с. 152].

Как видим, уже у Платона эксплицитно выражена мысль о том, что политическая целесообразность (действия «для пользы своего государства»), а не истинность оказывается критерием приемлемости высказывания. Видимо, политическая целесообразность – это и есть основная характеристика ПД в целом. Язык в политической функции может обладать различными лингвистическими и семиотическими характеристиками, но прежде всего это некоторое прагматическое отношение между текстом и властью: «Когда речь идет об оказании какого-либо воздействия на сферу власти, можно говорить о политической функции языка» [Лассвелл, 2006, с. 269]. Любой текст может быть использован в политической функции, если оказывается так или иначе соотносимым с властью (например, Лермонтовское «На смерть поэта»), и перестает ее выполнять, потеряв подобную связь (например, речи Цицерона стали образцами художественной прозы). Именно подобные совпадения показывают принципиальную разницу между поэтическим и политическим вымыслом. В.И. Ленин выписал из Л. Фейербаха: «искусство не требует признания его произведений действительность» [Ленин, 1969, с. 53]. Продолжим: политика, напротив, настаивает, что ее «произведения» и есть действительность. Соответственно, в политическом дискурсе сам дискурс (не обязательно вымысел, но и не обязательно и «действительность») занимает место действительности.

Поэтому мнение о том, что политики – лгуны, хотя и может быть доказано многочисленными фактами, тем не менее, «лживость» не может рассматриваться как важнейшая семантическая характеристика

ПД. Подобный подход упрощает дело: тогда бы политикам просто никто не верил, их ложь не воспринималась бы всерьез, и тем самым их дискурс был бы обречен на коммуникативную и политическую неудачу. При этом не составляло бы труда определить, какому состоянию дел соответствует то или иное высказывание – требовалось бы умение понимать высказывание в соответствии с теми же языковыми правилами, но определять его истинностное значение с точностью до наоборот¹².

Как и в любом из дискурсов, в политическом могут встречаться как истинные, так и ложные высказывания. Если применять стандартные процедуры семантической оценки, то, как и в случае поэтических высказываний, будет проигнорирован их модальный характер, почему они будут признаны не соответствующими действительности. Однако если учитывать модальные отношения, то сам по себе конструируемый характер референции и его несоответствие действительности («вымысел») не обязательно влекут ложность соответствующего высказывания. Применительно к поэтическим высказываниям, как было показано еще Аристотелем, речь идет о различающихся в модальном отношении описаниях мира: «Историк говорит о действительно случившемся, а поэт – о том, что могло случиться в силу возможности или необходимости» [Аристотель, 1957, с. 67].

Аналогичный подход следует применить и к ПД, положив в его основу некоторые ключевые положения модальной семантики (семантики возможных миров). Однако если применительно к поэтическому языку такие описания можно считать достаточно укорененными, то применительно к ПД идеи модальной семантики до сих пор остаются без применения, хотя попытки их применения в достаточной мере показали свою эффективность [ср.: Золян, 1994; 1996; 2012; Zolyan, 2015]. В связи с этим, несколько отвлекаясь от основной проблемати-

¹² Так, в детской повести Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов» описывается страна, где запрещено говорить правду. Однако это не мешает ее жителям адекватно интерпретировать новости, которые они узнают из газеты «Образцовый лжец».

ки, приведем основные понятия формальной семантики возможных миров. Мы основываемся на ставшей классической логико-семантической экспликации С. Крипке - как модально стратифицированной области интерпретации, когда языковое выражение интерпретируется относительно различных моделей (возможных миров) [Крипке, 1981, с. 28-29].

Модельная структура – это множество связанных некоторыми отношениями достижимости миров, или – что то же самое - некоторый мир и заданные на нем отношения модально-семантического «перехода» к другим мирам. Из некоторого универсума возможных миров выбирается входящий в это множество некоторый «отмеченный мир» (мир текста?)¹³ и множество достижимых из него миров. Подобная структура может рассматриваться как формальная структура политического дискурса. Как и язык, одни и те же механизмы могут обслуживать различные идеологии и политические дискурсивные практики¹⁴. Различия между разными типами ПД («демократический», «авторитар-

¹³ С. Крипке употребляет термин “реальный” (хотя и в кавычках), чаще используют термин «актуальный». Это, видимо, оправданно для большинства текстов. Однако далеко не для всех – и не только художественных, но и для юридических, политических, исторических и др., применительно к которым мы предпочитаем менее обязывающий термин – не “реальный”, а “отмеченный” по тем или иным причинам мир, относительно которого определена система межмировых отношений. В случае дополнительных уточнений перспективным представляется использование разрабатываемого Д. Чалмерсом, Д. Льюизом, Р. Сталнакером и Д. Капланом в русле двумерной семантики (2-D semantics) понятия «центрированного мира» (centered worlds) - мира, референция к которому ориентирована относительно говорящего в момент высказывания. Что касается понятия «актуального мира», то, применительно к дискурсу, вслед за Д. Льюизом, целесообразно принять его «индексальное» понимание: актуальный отличается от других не физической природой, а тем, что он определяется такими координатами коммуникативного акта, как «я», «здесь», «сейчас» [Lewis, 1979].

¹⁴ Ср.: «...русский язык так же хорошо обслуживал русский капитализм и русскую буржуазную культуру до Октябрьского переворота, как он обслуживает ныне социалистический строй и социалистическую культуру русского общества» [Сталин, 1950, с. 6].

ный», «левый», «буржуазный» и т.п.) будут относиться уже к содержательной интерпретации и перформативной легитимизации тех или иных миров – что считать реальностью, что считать достижимостью и что желательным, предпочтительным или же долженствующим (подобный содержательный анализ возможных миров и модальных отношений между ними был предпринят нами в: [Золян, 2012]). Семантическая оценка высказывания происходит внутри данной системы. Эти системы миров определяют, что в них принимается как существующее, и легитимизируют некоторые из областей референции как объективную социальную, или институциональную реальность (в смысле Дж. Серла [Searle, 1995], но уместно вспомнить и аналогичные идеи не упоминаемых им Т. Бергмана и П. Лукмана [Бергер, Лукман, 1995]. Соответственно, противоречащие им описания дел («неправильные возможные миры») отрицаются как недолжные (лживые, «клеветнические», подлежащие исправлению). Все это множество миров (модельная структура) может быть рассмотрено как определенная парадигма, характеризующая некоторого агента политического действия, он же – автор некоторого ПД. Безусловно, какие миры в данной парадигме будут считаться должными или недолжными, какие возможны изменения внутри данной парадигмы и т.п. вопросы могут быть определены только при анализе конкретных политических и идеологических реалий. Однако можно указать и на общесемиотические характеристики, позволяющие рассматривать создания подобных парадигм как исчисление возможностей некой знаковой системы.

Конструируемые ПД возможные миры можно понимать и как описания альтернатив, и как альтернативные описания. Это – частное проявление общей зависимости между тем, что возможно, и тем, что может быть выражено посредством некоторого описания. В «нашем» мире возможные миры – иногда определяемые и как полное описания состояния дел – могут быть репрезентированы как формируемые на основе языковых правил тексты: «Все, что мы видим, может быть также другим. Все, что мы можем вообще описать, может

также быть другим. Нет никакого априорного порядка вещей. То, что может быть описано, может и случиться» [Витгенштейн, 1958]. В тех случаях, когда область референции (интерпретации) оказывается формируемой средствами самого языка (как то имеет место в случае ПД), конструирование множества возможных миров может определяться не как рассмотрение альтернатив актуальному миру, а как реализация возможных состояний описывающей мир знаковой системы, то есть порождение множества текстов – то есть всего того, «что может быть описано». Как было отмечено М. Кресвеллом, «Лингвистическая способность и понятие возможных миров внутренне связаны. Возможно, что способность, которая заставила человека выдумать язык, есть способность воспроизводить ситуации, которые не являются актуально представленными перед ним. Поскольку человек может воспроизвести мир таким, как он есть, он может воспроизвести и мир, каким он мог быть, хотя и не является... Язык является управляемым правилами средством «заложить» в сознание другого репрезентацию того же самого множества возможных миров, которое содержится в сознании говорящего» [Creswell, 1978, p. 13, 26].

Безусловно, речь должна идти не только о текстах на естественном языке, но и о других знаковых системах. В случае политической коммуникации невербальные и индексальные средства (кинематограф, фотомонтаж, плакаты-агитки, монументы, и т. п.) могут оказаться эффективнее. Особенно наглядно это проявляется в случае политической картографии - желательные и нежелательные положения дел в прошлом, настоящем и будущем получают свое воплощение в форме претендующего быть объективной «картиной мира» изображения (подсказано И. Фоминым).

В пользу рассмотрения ПД как модального свидетельствует и то, что общество, даже если и считает политиков лгунами, тем не менее проводит определенные различия как между ними, так и между продуцируемыми ими дискурсами. По крайней мере, не все дискурсы являются «равнонеприемлемыми». На практике существуют опре-

деленные критерии, позволяющие проводить разграничение между политиками, отделять «правдивые и ответственные» дискурсы от «лживых и безответственных» и т.д. Следовательно, имеются некоторые нестандартные процедуры референциальной идентификации и семантической оценки высказываний. Сложная система прагматических, процедурных, референциальных и модальных «сдержек и противовесов» создает своеобразную динамическую (или проще – нестабильную) контекстно-зависимую и неоднозначную семантику ПД, что придает ему дополнительные семантические возможности и компенсирует возможный референциальный вакуум и нерелевантность критериев истинностного значения.

Модальный механизм семантизации языковых единиц предполагает, что семантика знака и дискурса характеризуется множественной референцией и есть межмировое отношение. Сама по себе множественная референция, интерпретация применительно к различным возможным мирам – это общая характеристика языкового знака и текста, но которая по-разному проявляется в различных типах дискурсов. Соответственно, модельная структура Крипке может рассматриваться как базовая формально-семантическая система любого текста безотносительно к типам дискурса [Золян, 2013]. Применительно к тому или иному типу дискурса эта базовая система конкретизируется в зависимости от задаваемых внутри нее отношений. Специфична не сама ситуация референции текста к различным мирам и вытекающая из этого многозначность (многомерность) языковых выражений, а задаваемые отношения между мирами. Поскольку языковые высказывания характеризуются определенной модальностью, то при соответствующих условиях они могут предполагать также и одновременную соотнесенность с различными мирами. Например, такие обычные высказывания, как *«если будет дождь, надень плащ»* или *«я мог быть сейчас не здесь»*, *«Москва – столица СССР»* и т.п., предполагают некоторую систему как минимум из двух миров. В этих случаях имеет место расгласование между миром, в котором эти высказывания произносятся

ся, и миром, который они описывают, и истинность/ложность приведенных высказываний определяется отношением между этими мирами. Но при этом актуальный и возможный мир ограничены друг от друга и не взаимозаменяемы. Обратная ситуация наблюдается в случае политического дискурса. В этом случае дискурс, данный как описание «мира как он есть», предполагает скрытую установку на контекст – «мир (в будущем), каким он должен быть», и поэтому его адекватная интерпретация предполагает в качестве области референции как минимум оба мира (оговариваем – как минимум, поскольку явно или неявно в дискурс вовлекаются и другие интенциональные миры – миры дискурсов, которые отвергаются как недолжные, «нереальные», и, напротив, миры, принимаемые как эталонные, правдоподобные и т.п.). Здесь проявляется и в то же время затушевывается различие между дескриптивными, описывающими, и прескриптивными, предписывающими дискурсами¹⁵ – в одном случае слова приспособляются к миру, в другом – мир приспособляется к словам, хотя возможны случаи, когда оба дискурса основываются на одном и том же тексте¹⁶.

¹⁵ На совмещенность прескриптивного и дескриптивного толкований и проистекающую из этого двусмысленность как на важнейшую характеристику политического языка указывал Гарольд Лассвелл: «Политическая формула носит одновременно прескриптивный и дескриптивный характер - ее характерной чертой является двоякое толкование в соответствии с общепринятыми нормами... Она прескриптивна т.к. предполагает соответствие определенной спецификации и содержит в себе символы, нацеленные на аргументированное оправдание или осуждение данных политических практик. Но ее также можно назвать дескриптивной, поскольку, действительно, в определенной степени в ней присутствует соответствие предъявляемым требованиям, и, предположительно, в том, что данная формула принимается большинством людей как корректно описывающая модели и практики власти» [Лассвелл, 2006, с. 273-274].

¹⁶ Приведем пример Дж. Серля: покупатель в магазине кладет в корзину продукты в соответствии с данным ему списком, а наблюдающий за ним детектив составляет список продуктов, который берет покупатель. В конце эти два списка совпадут, хотя сохранится их функциональное различие: «Список сыщика характеризуется направлением приспособления «слова к миру» (как в случае констатации, описаний, утверждений и объяснений); список же покупателя обладает направлением приспособления «мира к словам» (как в случае требований, приказаний, клятв, обещаний)» на [Серль, 1986, с. 172].

Возможное использование аппарата модальной семантики для описания взаимодействия различных по своим модальностям и онтологии миров применительно к ПД можно проиллюстрировать на примере пусть и вымышленном, но признанном как классический образец – это роман Дж. Оруэлла «1984». Сам роман может быть рассмотрен как своеобразная модельная структура, в которой различные модальные области интерпретации и референции (миры, модели) оказываются взаимосвязаны различными отношениями достижимости и, наслаиваясь друг на друга, создают сложную семантическую систему.

В нашем реальном мире Оруэлл сконструировал вымышленный мир, который нам надлежит принять за реально существующий и в котором вымышленные персонажи создают еще и третий мир, который мы должны воспринимать как ложный, сфабрикованный функционерами партии. При этом сам роман «1984» претендует описывать и «подлинную историю» (то, что якобы происходило в Океании), и – именно как часть подлинной истории – те дискурсы, которые обитателям вымышленного мира романа навязываются как подлинная история. В отдельности ни один из этих миров не представляет интереса – область референции, с которой мы соотносим роман, является не один мир, а их система. Сфабрикованная и вымышленная Оруэллом реальность (жизнь в 1984 году) претендует на то, чтобы восприниматься как описание того, что было на самом деле. В эту «реальность» включены те вербальные и ментальные конструкции, которые выдаются партией за действительность и за историю. В свою очередь, роман Оруэлла – и как письменный текст, и как художественный объект – существует в нашем реальном мире именно как образец вымысла, а вовсе не как документальное изложение того, что произошло (или могло произойти) в 1984 году. Оставляя вне рассмотрения все промежуточные миры (например, миры критиков, описывающих роман, миры истории Англии, как она дана в романе, несовпадающие миры персонажей романа и т.п.) и огрубляя общую

картину, можно считать, что семантику романа образует не один изолированный мир, а *соотношение* между тремя основными мирами («реальностями»): 1) нашим реальным миром, в котором живем мы и жил Оруэлл; 2) миром персонажей, которые живут в мире романа, которая есть окружающая их «реальность»; 3) навязанной персонажам картиной мира, которую они обязаны считать «истинной реальностью». При этом картину мира правителей Океании также можно описать как модельную структуру. Она состоит как минимум из трех миров: 1) Океания в прошлом; 2) Океания в декларируемом официозом настоящем – это Океания в описаниях Министерства правды; 3) Океания-как-она-есть – Океания в документах внутренней Партии и в описаниях Министерства любви. Согласно роману, деонтическая модальность (долженствующее быть положение вещей, как оно описывается официозом), хотя и претендует занять место единственной допустимой модальности и существующей реальности, но сама по себе она возможна только в противопоставлении как недолжному состоянию дел (Океания до революции), так и имеющему место в реальности (для описания состояния дел в этом государстве слежка всех за всеми становится необходимостью). Понимание романа основывается на установлении соответствий между мирами и на интерпретации одного мира средствами другого. Например, путем «переноса» в наш мир существующих в Океании Министерства правды и Министерства любви, и наоборот. Возможно также проследить путь Троцкого, который в Океании преобразуется в Голдштейна, или увидеть усы Сталина на портретах Большого брата.

«1984» может служить примером того, как одними и теми же языковыми выражениями описываются одновременно и то, что полагается имеющим место, и то, что полагается несоответствующим действительности: описание того, чего не было, доказывает принципиальную возможность описать и то, что было (вновь вспомним Витгенштейна: «То, что может быть описано, может и случиться» [Витгенштейн, 1958]). Различие между описанием существующего и несущего

ществующего не зависит от языка. Поэтому для тоталитарных практик характерно не столько создание новых языков, сколько запрещение смыслов (хотя запрету может подлежать не только план содержания, но даже язык в целом: незаконным объявляется сам факт использования «языка, запрещенного законом»¹⁷). При переходе от мира к миру изменяются не столько единицы и структуры языка, сколько модальности текста. Разница между политическим языком и «обычным» не в языковых средствах (поэтому вовсе не требуется придумывать «новояз», множество «новоязов» заключено в самом естественном языке, «староязе»), а в изменении правил интерпретации (референции). В отличие от романа Оруэлла, уловка адресантов ПД заключается именно в том, что они используют «обычный язык», в расчете на то, что адресат текста не заметит, что семантика текста, маскируясь под «якобы обычное» словоупотребление, предполагает отличные правила интерпретации¹⁸. Как правило, для того, чтобы описать этот лингвистический трюк, «лексикографическое» толкование (как в сноске 11) оказывается недостаточным; здесь требуются более тонкие механизмы модальной семантики. Например, в романе Оруэлла имя собственное «Лондон» обозначает различные объекты как минимум в нескольких несовпадающих мирах (областях референ-

¹⁷ Это выражение содержалось в Конституции Турции 1982 года, статьи 26 и 28.

¹⁸ В качестве примера приведем предложенную Ноамом Хомским экспликацию подобной «двойной» интерпретации («нормальной» и «пропагандистской») словосочетания *roguestate*: «В политическом дискурсе чуть ли не каждый термин имеет как буквальный смысл, так и его пропагандистскую версию... Пропагандистская версия, как правило, превалирует; она представлена теми, кто имеет власть над дискурсом... В случае использования Соединенными Штатами термин "изгой" относится ко всем тем, кто вне их контроля. Так, Куба - это "государство-изгой", поскольку не подчиняется господству США. В моем употреблении этого термина в мире главным "изгоем" являются Соединенные Штаты. И это нейтральное употребление", поскольку под нейтральным значением, по Хомскому, следует понимать: «государство, которое игнорирует международное право, не соблюдает основополагающие договора и конвенции, решения Международного суда» [Chomsky 2001]. – Перевод С.З.

ции) – «нашем» мире, мире автора, персонажей и читателей романа. Это: «реальный» Лондон, Лондон, существовавший в прошлом и восстанавливаемый в памяти героем романа, Лондон романа «1984». Семантикой этого имени в романе будет множество всех этих объектов. Нельзя ни отрицать связи между «реальным» Лондоном и описанным в романе «главным городом первой взлетной полосы Океании», ни отождествлять их. Высказывание «Лондон – главный город Первой взлетной полосы Океании», истинное в мире романа, имеет особую семантику и в нашем мире, одновременно отсылая и к Оруэлловскому роману, и пародийно эксплицируя, чем мог быть современный Лондон при ином течении событий.

Как видим, семантика рассматриваемого нами как модель ПД романа основана на множественной референции к заданным стратифицированным областям референции и установлении межмировых отношений между различными означаемыми одних и тех же означающих текста. Модальная семантика не просто устанавливает соответствие или несоответствие между высказыванием и действительностью, но оперирует системой альтернативных миров, в которых одно и то же положение дел может получать различную модальную оценку (например, истинные в одном из миров пропозиции в других будут оценены как возможные, должные или не должные и т.п.). Различные события могут происходить одновременно, но в модально различающихся мирах: например, в одном из миров Голдстейн является одним из главных героев революции и основателей партии, в то время как в других мирах он всегда был врагом партии, а в некоторых он никогда не существовал, но был сфабрикован правителями Океании – подобно своему прототипу Льву Троцкому, который, согласно некоторым «историям», играл видную роль в гражданской войне, но не упоминается в других свидетельствах. В результате может возникать причудливая картина различных «истин», дискурсов, которые претендуют служить описанием того «как было на самом де-

ле» в противовес «неправильному», хотя, возможно, и принятому в качестве «нормативного» дискурсу. Таким образом, речь идет о взаимодействии различных модальных семантик, а не о примитивной фальсификации.

Сказанное позволяет вновь вернуться к высказанной ранее мысли о том, что ПД по принципам формально-семантической организации оказывается сходным с поэтическим. Но именно подобная формализация позволяет увидеть отличие, заключающееся в том, что внутри модельной структуры задаются различные отношения. В качестве отмеченного («реального») мира в обоих случаях выступают конструируемые миры, которые могут совпадать или не совпадать с реальным. Но в случае поэтического дискурса даже реальный мир выступает как вымышленный, а в политическом – вымышленный (конструируемый) претендует на то, чтобы восприниматься как реальный. Так, истинность высказывания «Онегин убил на дуэли друга» будет оцениваться исключительно в мирах романа «Евгений Онегин», тогда как высказывание «Троцкий – герой гражданской войны» (или же «Троцкий – белогвардейский агент») претендует на то, чтобы считаться истинным не относительно тех или иных нарративов, а именно в актуальном мире.

При этом следует учесть, что ПД – это своего рода семиотический хамелеон. Если не считать особых жанров, когда официальный характер текста или механизмы принуждения должны быть выражены в специальных знаках, то он стремится уйти от особых меток и, напротив, присвоить «чужое». Однако семантический «хамелеонизм» ПД может носить еще более глубокий характер, нежели использование маркеров не-политических жанров: в зависимости от политических реалий могут смещаться параметры, по которым можно определить, какой из миров в данной системе выступает как актуальный и, соответственно, какие из возможных миров должны быть оценены как желательные, долженствующие и т.п. (ср. описание с этих пози-

ций Карабахского конфликта в: [Золян, 1994; 2012]). Это может приводить как к ситуации «единения», когда один и тот же текст прочитывается по-разному, но воспринимается как «свой» различными адресатами (ср. с использованием сакральных текстов в политических целях), или же, наоборот, к ситуации конфликта, когда происходит семантический перехват одного и того же текста различными конкурирующими группами (ср. с ситуацией с Конституцией СССР – она использовалась как властью, так и диссидентскими группами против самой власти).

Особенностью ПД является не ложь (несоответствие действительности), а множественная референция, одновременная интерпретация высказывания как минимум в двух мирах. Целеполагание и целесообразность становятся модальностью, то есть семантической характеристикой, определяющей межмировые отношения. При этом данное различие в модальностях может быть фиксировано посредством определенных семиотических процедур интерпретации, позволяющих разграничивать эти модальности и соответствующие им области референции (миры). С особой наглядностью это проявляется в случае описывающих нормы поведения деонтических текстов (кодексов, регламентов, уставов и т.п.) – долженствующее состояние дел имплицитно противопоставляется, но не смешивается с тем, что имеет место. Так, статьи конституции какого-либо государства не становятся ложными, если они не всегда выполняются: их цель не описание «имеющего быть», а соотнесение «имеющего быть» с «долженствующим». Однако лингвистическая форма этих статей – это индикатив, описание имеющегося состояния дел.

Например, ст. 8 Конституции Армении утверждает: *«В Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция»*. Разумеется, здесь соотнесены между собой две различных реальности, две области референции, два мира. Первый из них – это Республика Армения–как-она-

есть, с ее сверхмонополизированной экономикой, вторая – Республика Армения как некоторый лингвистико-правовой конструкт. По терминологии Джона Серля [Searle, 1995], Республика Армения принадлежит к институциональным объектам (фактам), которые, в отличие от физических, создаются знаковыми средствами (правилами, перформативами) и не могут существовать вне выражающей их знаковой системы (формально знаки этого языка могут совпадать со знаками естественного языка – см. ниже). Так, если свойство «быть шатенем» может быть сведено к некоторому набору характеристик, независимых от его языкового выражения, то свойство «быть гражданином Армении» может быть определено только посредством некоторых текстов и процедур.

Однако утверждение, что вышеприведенное высказывание не имеет отношения к реальности, приводит к абсурду – это то же, что и утверждать, что имя собственное «*Республика Армения*» не имеет отношения к Республике Армения. Столь же непонятным будет и утверждение, что это ложное высказывание – статьи конституции могут не выполняться на практике, но они не могут быть ложными, именно потому что являются статьями конституции (их «ложность» или «недействительность», как было отмечено выше, явится следствием несоблюдения процедуры их принятия, напр., как результат признания факта фальсификации результатов голосования). Это вновь приводит к той мысли, что, рассматриваемые как ПД, статьи конституции уподобляются перформативам – это обязательство (т. е. обещание государства, которое оно может и не выполнять, но которое от этого не перестает быть обязательством – как и в случае с ложной клятвой, которая тем не менее остается клятвой). При этом место говорящего, того, кто берет на себя обязательство, занимает неодушевленный адресант, тем самым порождая еще одну лингвистическую фикцию: государство (или какой-либо иной политический институт) выступает не только как институциональный факт, но

и как субъект речевого акта, что также можно считать характерным проявлениям языка в политической функции.¹⁹ Соответственно, вся семантическая система (модельная структура) становится ориентированной не на мир-контекст некоторого конкретного говорящего, а на определенный лингво-политический конструкт, создаваемый данным институтом-субъектом речевого акта. Сами по себе вне контекста высказывания *«В Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности»* или *«Неверно, что в Республике Армения гарантируются свобода экономической деятельности»* не противоречат друг другу, поскольку не ясно, что понимать под Республикой Арменией. Взятые изолированно (как в этом тексте), они не могут быть рассмотрены как высказывания политического дискурса. Только в конкретном тексте будет возможно определить их референцию – применительно к какой системе миров они относятся и какой мир в данной системе рассматривается как актуальный. Эти высказывания могут быть отнесены к ПД, если, по Лассвеллу, будут затрагивать систему властных отношений в Армении, упреждая позиции

¹⁹ Напомним, что Роман Якобсон, предлагая классическую систему шести функций языка, предусматривал возможность новых путем совмещения как самих базисных функций, так и критериев их выделения. В качестве примера он приводил магическую: "Из этой триады функций можно легко вывести некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная функция - это как бы превращение отсутствующего или неодушевленного "третьего лица" в адресата сообщения" [Якобсон, 1974, с. 200]. Можно продолжить и рассмотреть как пример совмещенной функции "превращение отсутствующего или неодушевленного третьего лица" не только в адресата, но и в отправителя сообщения [Золян, 1999]. Так выражает себя власть и ее институты: "Мы, народ", "Мы, Объединенные Нации". В подобных выражениях установкой является именно деперсонификация реальных адресантов, лиц-носителей власти, власть стремится выразить себя в квазидушевленном субъекте. На эту функцию может настраиваться функция уже третьего порядка - узурпирующая, когда одушевленный адресант говорит от лица неодушевленного Левиафана (народа, государства): «Наш народ не потерпит» значит «Я, имярек, не потерплю». Связь политического действия и ритуала проявляется как возможность трансформации магической функции в Левиафановскую.

правлящего режима или же противостоя ему. Если же эти высказывания встретятся в экономическом обзоре или в диссертации по конституционному праву, то они перестают относиться к ПД и должны оцениваться уже по иным основаниям. Задаваемая текстом институциональная реальность может быть рассмотрена как тот предел, к которому стремится область референции ПД, «очищенная» от физических реалий (что Серл, в противоположность институциональным, называет «грубыми» фактами). Так, Армения и ее жители превращаются в Республику Армению, ее граждан и резидентов - то есть в некоторый конструктор, определяемый прескриптивными текстами, которые под видом дескриптивных описывают ту самую реальность, которую сами же и создают. Реальный человек заменяется знаком самого себя: паспортом.

Как было сказано (раздел 8), семантизация ПД основывается на модально стратифицированной области интерпретации текста и межмировой соотнесенности, устанавливаемой между означаемыми его языковых выражений. При этом конструируемый характер референции приводит к тому, что меняется ряд семиотических характеристик языка. Но это изменение вовсе не требует создания особого языка («новояза»). Изменение происходит не на уровне собственно языковых средств (означающих), а на уровне вторичных моделирующих систем, то есть на надстраиваемых над языком уровнях интерпретации языковых выражений. Означающие остаются теми же, создавая иллюзию того, что знак отсылает к тому же самому объекту, тогда как он имплицитно соотносит различные объекты из различных миров (например, Республика Армения как страна и как конструктор, создаваемый правовыми актами). Возникает метафорическое отношение: один мир интерпретируется посредством объектов или знаков другого, почему и предполагающий двойную референцию механизм близок к метафоре, когда необходимо одновременное восприятие

буквального и переносного смысла²⁰. Но в отличие от поэтического языка, метафора заменяется метонимией: отношение подобия «одно как другое» заменяется отношением «одно вместо другого», конструктор претендует на роль исходного («буквального») референта.

Спецификой и сущностной характеристики ПД будет особая форма проявления указанной двусмысленности. Хорошо известное по роману Оруэлла явление двоемыслия (doublethink)²¹ есть несколько специфический, но вполне естественный и показательный тип развития этой характеристики. Причина очевидна – происходят изменения во внетекстуальной реальности. Она не может быть полностью проигнорирована, но вместе с тем должна быть определенным образом нейтрализована (текстуализирована) в соответствии с установками партии. Двоемыслие оказывается оптимальным решением. Семантический критерий истинности – отношение между высказыванием и действительностью – заменяется соотношением между собой различных интерпретаций высказывания и становится внутритекстовой операцией. «Действительность» из внешней по отношению к высказыванию области референции становится его текстуально задаваемым уровнем интерпретации, внетекстовая семантика оказывается загнанной внутрь текста и потому не может существовать вне текста.

²⁰ Например, выражение "солнце смеется" осмысляется как метафора только если соотнесены две области референции: одна, игнорирующая реальный мир, в котором солнце одушевленное существо и может смеяться, и вторая область – реальный мир, относительно которого данное выражение синонимично смыслу выражения "стоит солнечная погода" [Dijk, 1975]. Вне этой двойной соотнесенности метафорическое выражение оказывается либо бессмысленным, либо утрачивает метафоричность, становясь так называемой мертвой метафорой ("железное здоровье"). В политическом дискурсе двойная референция к различным мирам носит замаскированный характер, а ее экспликация может привести к оценке высказывания как ложного.

²¹ «Двоемыслие означает способность одновременно держаться двух противоположных убеждений. Говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить... отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь» [Оруэл, 2005, гл.9].

Двоемыслие есть не только интернализация, внутренняя интерпретация внешней референции. Она предполагает также и механизмы множественной интерпретации. Правители Океании доводят до предела и тем самым эксплицируют особенности ПД. Двоемыслие есть последовательное продолжение (или утрированное отражение) характерной для ПД замаскированной двойной референции. Возникает ситуация, когда имеющее место состояние дел не вербализуется, и его описание отсутствует. Это состояние дел оказывается выраженным лишь опосредованно – либо через пресуппозиции, либо как дополнительная по отношению к основной коннотативная система (например, «Эзопов язык»). Не-знаковая действительность (мир) заменяется, но не на денотативную, первичную моделирующую систему, в которой возможно соотнесение между знаком и незнаковым объектом, и, соответственно, определение истинностного значения, а на коннотативные, моделирующие системы второго порядка, т.е. образами образа, знаками знака. Происходит вытеснение действительности: поскольку первый уровень обозначения отсутствует, то семантизация начинается сразу со второго уровня коннотации/интерпретации, когда в качестве означаемого могут выступать исключительно семиотические объекты (знаки, у которых и означаемое, и означающее также являются знаками). Коннотация, если и не вытесняет полностью денотацию, то оставляет ее «на шаг сзади» (используя характеристику Оруэлла). Очевидно, что повышение ранга интерпретации, усложняя систему, делает все более многоступенчатым и условным процесс референции и, как результат, все более условной становится и область значений («действительность»). В таком контексте даже истинное высказывание соотносится не с самой действительностью, а с различными контекстами интерпретации, и поэтому оно само оказывается проявлением двоемыслия (подробнее – [Золян, 2015]).

В случае двоемыслия вымысел замещает реальность, но в то же время не отменяет ее (как было бы в случае тривиальной лжи). Поня-

тие двоемыслия существенно дополняет мысль Оруэлла о политическом языке как инструменте лжи и дезинформации. Его особенность заключается скорее в двойной референции высказывания, причем как минимум одна из областей референции является конструируемой, что при злоупотреблении этой особенностью приводит к сознательному искажению действительности. Это, видимо, сознавал и сам Оруэлл. Так, в «Заметках о национализме» (1945) он, несколько отвлекаясь от основной темы, так раскрывает характер соответствия/несоответствия между действительностью («историей») и ее описанием:

«Если рассматривать, например, все искусные подтасовки, с помощью которых пытались показать, что Троцкий не играл заметной роли в гражданской войне в России, то трудно отделаться от впечатления, что люди, ответственные за это, просто-напросто лгут. Скорее всего, они верят, будто их версия и есть именно то, что происходило пред лицом Господним, и что, следовательно, подобное переписывание истории вполне оправданно» [Оруэлл, 2003b].

В терминах семантики возможных миров речь идет о том, что истинностная оценка высказывания не ограничивается лишь референцией к тому, что происходило, но претендует быть описанием того, «что происходило пред лицом Господним», то есть на «высшую истинность». Это, другой, помимо упомянутых институциональных, предельный случай: тип миры также создаются ПД, но в этом случае семантические критерии выступают не как социально принятые конвенции, а являют «высшие истины», зафиксированные в некоторой идеологической системе. Примечательно, что сам набор миров (их парадигма, или в терминах модальной логики, модельная структура) не меняется. Так, в том мире, где Троцкий – герой гражданской войны, как нереализованная возможность существуют и те миры, где он предатель, пассивный наблюдатель и т.п. Меняются не столько миры (области референции), сколько оценка: какой из них истинный, какой существовал в действительности или сфальсифицирован, или даже какой должен был существовать. Тот, кто переписывает исто-

рию, тем самым исправляет допущенную ошибку, заменяя один модальный контекст на другой – существовавший, но недолжный мир заменяется на мир, хоть и не существовавший, но долженствующий быть – пусть даже в прошлом. Уместно вспомнить «книжную» версию семантики возможных миров Плантинги: «Любой возможный мир обладает собственной книгой. Всякое максимально возможное множество пропозиций есть книга о некотором мире». При этом при переходе от одного мира к другому множество книг (библиотека) не изменяется – «изменяется ответ на вопрос – какая из книг содержит лишь истинные пропозиции» [Plantinga, 1972, p. 46-47].

Как видим, «двоемыслие», «институциональная реальность», «высшие истины» и т. п. есть некоторые предельные, потому и столь заметные случаи проявления характерной для ПД двусмысленности, или двойной референции, проистекающей из совмещения в одной и той же конструкции дескриптивной и прескриптивной семантики [Лассвелл, 2006, с. 273– 274]. Можно, вслед за Роланом Бартом, добавить оценочную семантику, как и ряд других модальностей. Определяющим будет то, что все эти семантики носят неявный характер, поскольку маскировка под дескриптивный (референтный) дискурс есть обязательное условие эффективности политического дискурса, где «задача письма состоит в том, чтобы в один прием соединить реальность фактов с идеальностью целей... Вот почему всякая власть, или хотя бы видимость власти, всегда вырабатывает аксиологическое письмо, где дистанция, обычно отделяющая факт от его значимости – ценности, уничтожается в пределах самого слова, которое одновременно становится и средством констатации факта, и его оценкой» [Барт, 1983, с. 315]. Дискурс, данный как описание «мира-как-он есть», предполагает скрытую установку на контекст «мир-каким-он-должен-быть», и поэтому его адекватная интерпретация предполагает в качестве области референции как минимум оба мира (оговариваем – как минимум, поскольку явно или неявно в дискурс вовлекаются и другие интенциональные миры – миры

дискурсов, которые отвергаются как недолжные, ложные, «нереальные», и напротив, миры, принимаемые как эталонные, и т.п.). Язык в ПД оказывается исключительно модальным и интенциональным – любое высказывание (пропозиция) выражает отношения должностования, желательности, возможности и т. д. и может быть интерпретировано только в интенциональных и тем самым референтно непрозрачных контекстах (то есть высказывания интерпретируются не применительно к самой ситуации, а опосредовано – через пропозиционные установки, контексты веры, мнения и т.п.). Как область референции (интерпретации), задается не один мир, а их система – отражающиеся друг в друге и искажающие друг друга зеркала, и описанием такой реальности оказывается не одно из них, а именно их совокупность, вышеописанная модельная структура.

Список литературы

1. Аристотель. Об искусстве поэзии. – М.: ГИХЛ, 1957. – 181 с.
2. Барт Р. Нулевая степерь письма // Семиотика. – М.: Радуга, 1983. – С. 306-349.
3. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 323 с.
4. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: Наука, 1958. – 133 с.
5. Демьянков В.З.: Политический дискурс как предмет политологической филологии // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2002. – № 3. – С. 32-43.
6. Золян С.Т. Описание регионального конфликта как методологическая проблема // Полис. Политические исследования. – М., 1994. – № 2. – С. 131-142.
7. Золян С.Т. Проблема и конфликт: Опыт логико-семантического анализа // Полис. Политические исследования. – М., 1996. – № 4. – С. 95-105.
8. Золян С.Т. Языковые функции: возможные расширения модели Р. Якобсона. // Роман Якобсон. Тексты, документы, исследования. – М.: РГГУ, 1999. – С. 638-648.

9. Золян С.Т. Язык и дискурс // Язык в парадигмах гуманитарного знания: XXI век. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, Изд-во «Лингва», 2009. – С. 13-23.
10. Золян С.Т. Логика предпочтений и решение конфликтов (на примере Карабахского конфликта) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2012. – Вып. 3. – С. 39-67.
11. Золян С.Т. «Бесконечный лабиринт сцеплений»: семантика текста как многомерная структура // Критика и семиотика. – М.; Новосибирск, 2013а. – Вып. 1/18. – С. 18-44.
12. Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. – Изд. 2ое, переработанное и дополненное. – М.: URSS, 2013b. – 331 с.
13. Золян С.Т. О семантике двоемыслия // Могут ли тексты лгать? – К проблеме работы с недостоверными источниками: Материалы Четвертых Лотмановских дней в Таллиннском университете. ActaUniversitatisTallinnensis. – Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2014. – С. 261-295.
14. Ильин М. В. Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2002. – № 3. – С. 7-19.
15. Крипке С. Семантический анализ модальной логики. 1 // Роберт Фейс, Модальная логика. – М.: Наука, 1974. – С. 253-303.
16. Кузнецов С. 1994: юбилей неслучившегося года. К десятилетию «года Оруэлла» // Иностранная литература. – М., 1994. – № 11. – С. 237-244.
17. Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. – Екатеринбург 2006. – Вып. 20. – С. 264-279.
18. Ленин В.И. Философские тетради // Ленин В.И. Полное собр. соч. – Т. 29. – М.: Изд-во политической литературы, 1969. – 782 с.
19. Оруэлл Дж. Политика и английский язык // Оруэлл Дж. Лев и Единогор. Эссе, статьи, рецензии. – М.: Изд. «Московская школа политических исследований», 2003а. – С. 341-356.
20. Оруэлл Дж. Заметки о национализме // Оруэлл Дж. Лев и Единогор. Эссе, статьи, рецензии. – М.: Изд. «Московская школа политических исследований», 2003b. – С. 301-325.
21. Оруэлл Дж. 1984 / Пер. В. Гольшева. – М.: Азбука-Классика, 2005. – 320 с.
22. Платон. Государство: Собр. соч. в 4 т. – Т. 3. – М.: Мысль, 1994. – 654 с.
23. Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зару-

бежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1986. – Вып. XVII: Теория речевых актов. – С. 170-194.

24. Сталин И. Относительно марксизма в языкознании. К некоторым вопросам языкознания. – М.: Правда, 1950. – 40 с.

25. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика// Структурализм «за» и «против». – М., 1975. – С. 193-230.

26. Chomsky N. Rogue states draw the usual line: Noam Chomsky interviewed by Christopher Gunness // Agenda. – 2001. – May. – Mode of access: <https://chomsky.info/200105/> (Датапосещения: 15.06.2016.)

27. Cresswell M. J. Semantic competence // Meaning and translation: Philosophical and linguistic and linguistic approaches. – Duckworth, L., 1978. – P. 9-28.

28. Edelman M. Political language and political reality // PS: Political science & politics. – Washington, D.C., 1985. – N 18. – P. 10-19.

29. Dijk T.A. van. Formal semantics of metaphorical discourse // Poetics. – Mouton, 1975. – Vol. 4, N 2/3. – P. 173-198.

30. Dijk T.A. van. What is political discourse analysis? // Political linguistics / J. Blommaert, C. Bulcaen (eds.). – Amsterdam : John Benjamins, 1997. – P. 11-52.

31. Fairclough N., Fairclough I. Textual analysis // Routledge handbook of interpretive political studies / Bevir M. & Rhodes R.A. (eds.). – L.: Routledge. – P. 186-198.

32. Lewis D. Possible worlds // The possible and the actual / Loux M. J. (ed.). – Ithaca; L.: Cornell UP, 1979. – P. 182-189.

33. Plantinga A. The nature of necessity. – Oxford: Clarendon press, 1972. – 272 p.

34. Lewis D. Index, content and context // Philosophy and grammar: Papers on the occasion of the quincentennial of Uppsala university / S. Kanger and S. Ohman (eds.). – Dordrecht : Springer Netherlands, 1980. – P. 79-100.

35. Lotman M. Towards the semiotics of (in)sincerity // Recherches sémiotiques. – Toronto, 2016. – In print.

36. Popper K. The poverty of historicism. – L.; N.Y.: Routledge. 2002. – xiii, 156 p.

37. Saussure L. de. Manipulation and cognitive pragmatics: Preliminary hypotheses // Manipulation and ideologies in the twentieth century: Discourse, language, mind // de Saussure L. & P. Schulz (eds.). – Amsterdam; Philadelphia: J.

Benjamins Pub. Co., 2005. – P. 113-146.

38. Searle J. The construction of social reality. – N.Y.: Free Press, 1995. – 256 p.

39. Tarski A. The semantic conception of truth and the foundations of semantics // Philosophy and phenomenological research. – Buffalo, N.Y., 1944. – Vol. 4. – P. 341-376.

40. Wilson J. Political discourse // The handbook of discourse analysis (Blackwell handbooks in linguistics) /Schiffrin D., Tannen D., Hamilton H. (eds.). – Malden, Oxford: Blackwell, 2001. – P. 398–415.

41. Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. – L.: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co; N.Y.: Harcourt, Brace Co., 1922. – 162 p.

42. Wittgenstein L. Philosophical investigations. – L.: Basil Blackwell. 1958. – 592 p.

43. Zolyan S. Language and political reality: George Orwell reconsidered //Sign system studies. – Tartu, 2015. – Vol. 43, N 1. – P. 131-149.

СЕМИОТИКА В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И В ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

М.В. Ильин, И.В. Фомин

Семиотика – это аналог математики для социально-гуманитарного знания. Последние два с лишним десятилетия нам приходится использовать всякий повод, чтобы выдвигать и развивать это положение [Ильин, 2007; 2015; Фомин, 2014; 2015а]. Это необходимо, поскольку среди публики и, особенно, коллег-политологов удивительным образом господствует взгляд, будто семиотика «всего лишь лингвистика» и она не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социальному познанию вообще.

Подобное положение дел особенно грустно в свете того, что ровно противоположные представления о семиотике как основании всякого человеческого познания были авторитетно заявлены классиками современной философии и науки. Первым в этом ряду был Джон Локк, хотя некоторые семиотические идеи формулируются еще в древние времена, а непосредственно из Античности вытекают питающие ее интеллектуальные традиции [Nöth, 1990]. Что же касается Джона Локка, то он в своем «Опыте о человеческом разуме» (1690) употребляет греческий термин $\sigma\mu\iota\omega\tau\iota\kappa\acute{\eta}$ для обозначения «учения о знаках» (thedoctrineofsigns) [Локк, 1985, с. 200–201; Locke, 1995, IV:XXI].

Весь XVIII и первая половина XIX столетия была заполнена весьма содержательной, но скорее подготовительной работой таких ученых, как И.Г. Гердер, В. Гумбольдт, И.Г. Ламберт, Б.Больцано и десятков других [подробнее см.: Nöth, 1990]. Поворотным моментом стали труды Чарльза Сэндерса Пирса [Peirce, 1982], создававшиеся им начиная с 60-х годов позапрошлого века. Начало прошлого столетия отмечено появлением сигнифики Виктории Уэлби [Welby,

1985] и семиологии Ф. де Соссюра [Соссюр, 1977, с. 54].

Пирсовские идеи о фундаментальном характере семиотики развивал выдающийся ученый Чарльз Уильям Моррис. Он четко различал чистую (pure) семиотику и её приложения к различным предметным областям в виде дескриптивных (descriptive) семиотик. [Morris, 1938, p. 9]. Однако удивительным образом такое различие в научном мейнстриме не поддерживается, за редкими исключениями. Они включают, например, статью о разделении семиотики Ганса-Генриха Либя, который проанализировал подходы Р. Карнапа, К. Ельмслева и некоторых других коллег и весьма удачно предложил переименовать чистую семиотику в общую, а описательную – в специальную [Lieb, 1975]. Также стоит упомянуть о разделении теоретической и прикладной семиотики, проводимом в фундаментальном справочнике В. Нёта [Nöth, 1990, 1.2.3].

За последние десятилетия и годы был достигнут существенный прогресс как в развитии семиотики, так и ее приложений к анализу дискурсов и когнитивных схем и моделей. Это позволяет возвратиться к идее Чарльза Морриса о «чистой семиотике», всерьез поставить вопрос о развитии общей семиотики как своего рода трансдисциплинарном интеграторе всего комплекса социально-гуманитарных наук, включая и политологию.

Сама научная и жизненная практика начинает возвращать нас к идеям чистой или общей (по Либю) семиотики, которая начинает проявлять себя как «наиболее оформленная часть современных системно-структурных исследований» [Степанов, 1998, с. 19]. Уже сорок с лишним лет назад академик Ю.С. Степанов и ряд его учеников и сотрудников сумели увидеть необходимость, неизбежность и внутреннюю оправданность интеграции семиотики в науку особого ранга, в своего рода метанауку.

Именно такой подход избран Центром перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. Более того – семиотика рассматривается как один из специфических трансдис-

циплинарных научных органов, которые могли бы брать на себя роли интеграторов, лидеров и посредников в осуществлении социально-гуманитарных исследований. Это три фундаментальных органа – математика, семиотика и морфология, – которым подыгрывают также выходящие за пределы отдельных дисциплин когнитивистика, компаративистика, синергетика, а также системные и трансдисциплинарные исследования.

Почему перечень органов-интеграторов ограничен именно этим кругом? Почему их именно три? Чтобы подступить к ответу на этот вопрос, обратимся к триадическим конструкциям Локка, Канта и Пирса.

Три органа познания

Три органа познания связаны с тремя типами когнитивных способностей. К выявлению и осмыслению этих способностей первыми попытались проложить свои пути Джон Локк, Иммануил Кант и Чарльз Пирс. Каждый из них на разных основаниях и разными способами выделял свои триады человеческих способностей.

Джон Локк исходил из направленности жизненных интересов людей. Его точкой отсчета является индивид, который использует свои возможности для утверждения себя в окружающем мире. Для индивида (и для Локка) принципиально важны три типа способностей, которые в своем предельном развитии предстают как особые науки (sciences). Наиболее отчетливо он пишет об этом в своем «Опыте о человеческом разумении» (1690), который завершает главой о разделении наук. По Локку, как мы уже отмечали выше, семиотика (Semeiotike) как «учение о знаках» (the doctrine of signs) составляет одну из трех ветвей познания [Локк, 1985, с. 200-201; Locke, 1995, IV:XXI].

Различение вещей (things) и действий (actions) для Локка осно-

вополагающее [Локк, 1985, с. 200-201; Locke, 1995, IV:XXI]. Это вполне укладывается в базовую онтологическую антитезу вещной *реальности* (reality, réalité, die Realität: от лат. *res* – ‘вещь’) и фактуальной *действительности* (actuality, actualité: от лат. *actio* – ‘действие’), die Wirklichkeit: от нем. *wirken* – ‘действовать’).

Такое противопоставление является фундаментальной пресуппозицией современного научного знания и лежит в основе информационно-энергетичной онтологии человеческого мира, представленной, например, Т.Парсонсом в виде модели социальной системы [Parsons, 1966]. Целостный человеческий мир у Парсонса ограничивается двумя запредельностями: физико-органической средой (physical-organic environment) и так называемой ‘Конечной Реальностью’ (‘Ultimate Reality’). Социальную систему пронизывают два структурообразующих и взаимодополняющих ‘кибернетических’ параметра: энергетическое нарастание контролирующих факторов (hierarchy of controlling factors) в сторону физико-органической среды и информационное нарастание обуславливающих факторов (hierarchy of conditioning factors) в сторону ‘Конечной Реальности’ [Parsons 1966, p. 28].

Знания и внешних для человека вещей, и собственно человеческих действий обращены каждое к своему предмету. Знаки же и связанная с ними семиотика инструментальны. Они позволяют людям пробиться к мирам вещей и действий, к реальности и действительности через их познание с помощью знаков [Локк, 1985, с. 200-201; Locke, 1995, IV:XXI].

Кант также ставит в центр своей философской системы индивида, использующего свои способности или, по выражению кенигсбергского философа, способности души в совокупности (Gesamte Vermögen des Gemüts), которые разделяются на три типа в зависимости от своего применения (Anwendung auf), а именно познавательные способности (Erkenntnisvermögen), чувства удовольствия и неудовольствия (Gefühlder Lust und Unlust) и способности желания (Begehungsvermögen) [Kant, 1913, S. 198].

Эти три типа способностей с точки зрения познания становятся познавательными способностями в более широком значении.

Первой познавательной способностью является рассудок (Verstand). Он обращен к природе (Natur), реальности, или локковскому миру вещей. Рассудок использует априорный принцип закономерности (Gesetzmäßigkeit). В развитие кантовской логики отметим, что он основан на *мере*, а его предельным и универсальным научным выражением становится математика.

Нашим вторым когнитивным могуществом является способность суждения (Urteilkraft). По Канту она обращена к искусству (Kunst) в самом широком смысле, то есть созданию человеческих артефактов, к действительности. Ее принцип целесообразность (Zweckmäßigkeit), что явственно перекликается с политической стороной жизни, с целедостижением. Соответственно основанием выступает *форма* и научным выражением – морфология.

Третья способность – разум (Vernunft). Он обращен к свободе (Freiheit). Его априорным принципом является конечная цель (Endzweck). В таком случае, снова дополним Канта, его основание составляет *смысл*, а научное выражение – семиотика.

В некоторых отношениях превзошел самого Канта американский философ Чарльз Сандерс Пирс, предложивший собственную мощную систематику, также имеющую триадическую структуру. Уже в своей ранней работе 1865 года «Телеологическая логика» Пирс разделял всю науку на три большие разновидности: *позитивную науку* (изучение вещей), *семиотику* (изучение представлений) и *формальную науку* (изучение форм) [Peirce, 1982, p. 303-304].

Пирс идет еще дальше, и в развитие кантовских идей выделяет нечто более абстрактное и удобное для аналитической работы, чем обобщенные способности души (Gesamte Vermögen des Gemüts). Это фундаментальные категории: первичность (firstness), или непосредственное качество ощущения; вторичность (secondness), или дуальность факта; взаимодействие субъекта и объекта, третичность

(thirdness), или медиация; посредование [Пирс, 2000, с. 163].

В своем письме к замечательной английской мыслительнице, создательнице сигнифики, особой версии семиотики, леди Виктори Уэлби он поясняет связь своих фундаментальных «ксенопифагорейских категорий» с философской традицией. Они, – пишет Пирс, – «несомненно, являются попыткой охарактеризовать то, что пытался охарактеризовать Гегель как три стадии мысли. Они также соответствуют трем категориям каждой из четырех триад Кантовой таблицы». Это как раз те категории и триады, о которых только что шла речь выше. И далее Пирс продолжает: «Но тот факт, что эти три различные попытки были сделаны независимо друг от друга (сходство указанных категорий с гегелевскими стадиями оставалось незамеченным еще в течение многих лет после того, как их список был продуман, в силу моей антипатии к Гегелю), лишь еще раз подтверждает, что эти три элемента существуют в действительности» [Пирс, 2000, с. 164].

Итак, пирсовские категории при всей их абстрактности, кантовские обобщенные способности души и локковские универсальные науки существуют в действительности. Причем существуют они куда надежнее, чем преходящие факты и явления при всей конкретности и даже осязаемости последних. Чем же оборачиваются для нас, современных людей науки эти три универсалии? Три методологическими органами-интеграторами познания. Это математика, познание мер и искусство различных измерений вещей. Это морфология, познание форм и искусство выявления отношений и их конфигураций. Это семиотика, познание смыслов и искусство передачи смыслов, посредования, коммуникации. В конечном счете, это искусство превращения вещей и форм в наше человеческое осмысленное достояние, их присвоение и тем самым освобождение, делание своим.

Нынешний облик органовов

Три органаона — математика, семиотика и морфология — в своих отраслях и вариантах множатся и получают развитие в отдельных предметно специфических областях знания и в технически специализированных направлениях исследований. Подобного рода варианты можно обнаружить и проследить их возникновение как в истории науки и, шире, человеческого знания, так и в современных научных исследованиях. Разумеется, ни история познания, ни тем более современная наука не дают, да и не могут дать исчерпывающего набора всех возможных версий и разновидностей трех наших органовов. Задача аналитического моделирования всех возможных вариаций органовов может быть поставлена – при всей своей масштабности и небывалой трудоемкости решения.

Начать следовало бы с самого приблизительного обзора наличных вариантов и версий математики, морфологии и семиотики. Затем уместно прояснить принципы варьирования. Наконец, на этой основе наметить хотя бы в главных чертах состав и общие контуры трех обширных комплексов познания.

Математика получила наиболее полное и последовательное развитие. Ее основные отрасли начали формироваться уже в глубокой древности. Около двух тысячелетий назад зародились представления об особом математическом знании, а последние пять-шесть веков оно интенсивно и систематично развивается. Результатом этого развития стал целый комплекс математических наук и их приложений в отдельных предметных областях науки и практики. Сегодня трудно найти сферы интеллектуальной деятельности, где различные математические науки не нашли бы не только применения, но и не породили бы своих модификаций.

Морфологические изыскания можно обнаружить в почти столь же глубокой древности. Их развитие было поступательным, но неравномерным и выборочным. Оно затрагивало преимущественно об-

ласти, где наглядность и пластичность форм была наиболее зрима и ощутима – от биологии и медицины до эстетики и от риторики до юриспруденции. При этом морфологическое знание было столь тесно переплетено со своей предметностью, что зачастую оказывалось скрытым, тайным. Эта особенность столь укоренена, что мощно сказывается по сей день. Как бы то ни было, но уже свыше двух столетий длится собственное развитие морфологии как особого типа познания, благодаря титаническому прорыву, осуществленному И.В.Гёте и плеяде его выдающихся морфологов времен зрелого Просвещения [Goethe, 1790; Гёте, 1957].

В настоящее время морфологический комплекс наук существует как сильно фрагментированное созвездие вполне самостоятельных дисциплин. Это, например, биологическая морфология, несколько медицинских морфологий, геоморфология, лингвистическая морфология, в свою очередь высоко фрагментированная по предметам – отдельным языкам. Рядом с этими звездами первой величины роятся чуть менее консолидированные и самостоятельные дисциплины, включая морфологию искусства и целый ряд субдисциплин от морфологии сказки до морфологии наноструктур. Наконец, в созвездии есть и морфологические звезды разной величины, которые пытаются мигать чужим, неморфологическим светом. Это как раз те дисциплины, которые рано и успешно мимикрировали под некое сугубо специальное знание. Это юридическая морфология, маскирующаяся под конституционализм, и политическая морфология, встроенная в становящийся почти безбрежным институционализм, исторически вырастающий из учений о формах правления [см. напр.: Ильин, 2014].

Таким образом, при всей своей успешной экспансии морфология остается далекой не только от выработки общих методологических принципов и практик, но и от взаимного понимания между отдельными морфологиями – явными или скрытыми, некоторые из которых де-факто остаются герметическими.

Семиотика еще «моложе» морфологии, хотя некоторые ее идеи

восходят к античным временам. В строгом смысле она появилась всего полтора столетия назад, если вести отсчет от систематики Чарльза Пирса, и всего семь десятилетий, если за отправную точку взять зрелые труды Чарльза Морриса. Однако приходится признать, что при всем значении прозрений Джона Локка, Иммануила Канта и Чарльза Пирса задача формирования органа как такового, или «чистой» семиотики, была отчетливо сформулирована только Моррисом [Morris, 1938, p. 9]. И сегодня эта мечта Чарльза Морриса все еще далека от реализации, хотя некоторое подобие «моррисовского» аппарата принимается с большей или меньшей полнотой практически во всех семиотических субдисциплинах. В настоящее время семиотика встроена в инструментарию лингвистики, культурологии и искусствоведения, а также существует в виде политической семиотики, психосемиотики, социальной и антропологической семиотики и др. Она оказалась способной консолидировать всего лишь ряд вполне развитых субдисциплин.

Вместе с тем приходится признать, что трактовка семиотики как своего рода органа далеко не единственная и общепринятая. Скорее наоборот. Подобный подход склонны принимать теоретико-методологически ориентированные коллеги, ориентирующиеся на традицию Пирса и Морриса. Альтернативная же традиция связывает семиотику с практикой понимания осмысленных фрагментов действительности, с описанием и интерпретацией непосредственно создаваемых людьми артефактов, чаще всего текстов. Так, Фердинанд де Соссюр считал свою семиологию «частью социальной, а следовательно, и общей психологии» [Соссюр, 1977, с. 54]. И эта дисциплина пронизывает все гуманитарное знание, оставаясь растворенной во всех его конкретных проявлениях. Тогда получается, что семиотика связана скорее с когнитивной наукой, а Соссюр можно рассматривать как своего рода предтечу когнитивной революции.

Столь очевидное фундаментальное различие заставляет задуматься, что, вполне возможно, имело бы смысл пользоваться двумя

этими различными терминами для обозначения принципиально разных познавательных способностей и, шире, типов познания. Можно говорить о семиотике в пирсовском смысле как о методологическом органоне, а также о семиологии в сосноровском смысле как о конгломерате исследовательских практик, объединенных общим трудом по освоению и пониманию создаваемых людьми смыслов. Разумеется, обе традиции тесно связаны и дополняют друг друга, однако налицо и их серьезные расхождения и даже разрывы, о чем пойдет речь далее.

Фактическое существование всех трех органов: математики, семиотики и морфологии, — протекает в интеллектуальном пространстве, которое поляризовано между относительно устойчивым ядром основополагающих принципов вкупе с их теоретико-методологической проработкой и множества достаточно своеобразных наборов исследовательских практик.

Насыщение и очищение органовов

Всё множество модусов существования каждого из органовов может быть упорядоченно представлено в пространстве между двумя полюсами, которые соответствуют *насыщенному* и *очищенному* вариантам органовов. В насыщенных своих вариациях органы существуют, будучи тесно связаны с предметной фактурой той или иной дисциплины. В этом своем модусе они могут быть эффективны для решения узких предметных задач, но менее пригодны для осуществления трансдисциплинарной интеграции. Для того чтобы такая интеграция в полной мере состоялась, необходимо отрефлексировать и проработать связь между насыщенными версиями органовов и их очищенными вариантами.

И именно здесь выявляется специфика положения математики. Математика в нынешнем своем состоянии в большей степени, чем другие органы, реализована в очищенном своем варианте. Для

других претендентов на роль трансдисциплинарных методологических интеграторов эта перспектива еще только намечается. Выработка более ясного представления об очищенных вариантах органонов – общей морфологии (общих принципах изучения форм) и общей (чистой) семиотики (общих представлений о знаках, их устройстве и связях между ними), – в перспективе позволит более ясно проследить уже существующие трансдисциплинарные методологические связи и наметить перспективы дальнейшей более продуктивной и систематизированной научной интеграции.

Вместе с тем даже в случае с математикой приходится признать, что ее достаточно полная конфигурация как органа-интегратора сложилась в основном стихийно, без последовательных усилий по формированию комплексной и многослойной супердисциплины. Возникает впечатление, что различные части органа получили достаточно полное развитие. Впрочем, это лишь впечатление, а не надежно установленное знание. Хотя это не бесспорно. Ни полнота, ни систематичность математического знания не подвергались систематическому изучению и оценке. Можно, например, предположить, что остается немало все еще неосвоенных предметных и проблемных областей, в которых так и не реализованы убедительные приложения математики.

Иные конфигурации проявляются в морфологии и тем более семиотике. При всем своеобразии истории их формирования одно обстоятельство остается общим. Это высокая фрагментированность относительно изолированных друг от друга исследовательских практик, тесно увязанных со специфическими проектами изучения не менее конкретных предметов.

Таким образом, интеллектуально освоенные органами пространства органонов весьма своеобразны и неоднородны, за исключением, возможно, математики. В состоянии ли мы уловить своим взором потенциально возможную, «заполненную» нашим воображением структуру интеллектуального пространства органонов? Да, порядки переходов, их глубину, равно как и высоту можно представить с по-

мощью своего рода лестницы. Начать можно с самого верха. Там чистый органон вне времени и пространства. И даже без человека, а с каким-то виртуальным интеллектом, не отягощённым телом, биосферой. Ниже может быть обнаружен органон биосферно-человеческий. В таком случае туда попадает когнитивная наука. Далее идут дисциплинарные органоны, то есть органоны, связанные с конкретными предметными сферами (опускаемся в политику – получается политическая семиотика). То же самое с математикой и с ее приложениями к физике, химии и так далее. Наконец, в самом низу лестницы появляются собственно прикладные дисциплинарные органоны, которые, ко всему прочему, связаны с некими специфическими дисциплинарными познавательными возможностями, например, предметными морфологиями вплоть до морфологии современного грузинского языка или семиологии предвыборного манипулирования в электронных медиа. Именно на этом уровне выявляются прикладные контуры органонов. Здесь создается конкретный и прагматический инструментарий, который может получить развитие, а порой и начинает получать его в виде отчетливого набора исследовательских методик, интегрированных в единый методологический комплекс.

Перспективы развития органонов и политической семиотики

При всех усилиях по выявлению интеграционного потенциала вышеперечисленных научных направлений ни в одном из этих случаев систематически и последовательно не ставилась задача разделения общенаучного ядра и специальных приложений соответствующих научных направлений. Пожалуй, только в семиотике Чарльз Моррис и Ганс-Генрих Либ наметили вектор к аналитическому разделению (и одновременного прагматическому соединению) «чистой семиотики» и ее специальных дисциплинарных вариантов вплоть до

самых прикладных. [Morris, 1938; Lieb, 1975] Однако решение этой задачи так и не было доведено до конца. Тем более не ставились задачи разделения и консолидации общей компаративистики, морфологии и т.п. на фоне их специальных дисциплинарных версий. Данный пробел и призван заполнить исследовательский проект Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН. [Ильин, 2014; Кокарев, 2014; Круглый стол... 2014; Авдонин, 2015; Фомин, 2014; 2015a; 2015b; Золян, 2016]

В случае подтверждения выявленных интеграционных способностей можно было бы приступить к разработке соответствующих того, что мы называем органами-интеграторами. Идея таких органов не просто апеллирует к аристотелевской [Аристотель, 1978] и бэконовской [Бэкон, 1935] традициям, но претендует на рационализацию и систематизацию выявленных интеграционных возможностей. Это по существу общие методологические рамки, которые включают как устойчивый методологический аппарат, так и более гибкие исследовательские практики, подтверждающие свою интегративную общенаучную и обществоведческую значимость.

Для семиотики важно преодоление разрыва между пока все еще крайне приблизительными и, можно сказать, контурными разработками общей или «чистой», по Моррису, семиотики и целым облаком более или менее развитых семиологий разного рода, укорененных в изучении кино, геральдической символики, расовой дискриминации, идеологических манипуляций и т.п. Пока же ситуация остается крайне плачевной. Чем сильнее углубляются специализированные семиологии, тем активнее они стремятся выработать свой уникальный инструментарий и даже особый язык, которые становятся все более закрытыми и герметичными. При этом импортируемые исследовательские техники, как правило, некритически заимствуются из репертуара весьма укорененных в предметность субдисциплин. А это делает соответствующие наборы плохо интегрированных исследовательских методик крайне ненадежными и зависимыми не столько от

исследовательских процедур, сколько от индивидуального искусства того или иного исследователя.

В случае с многочисленными и очень сильно отличающимися друг от друга версиями так называемого политического дискурс-анализа приходится иметь дело не просто с радикально различными и порой несовместимыми версиями анализа. Они, пожалуй, составляют меньшую часть доступных в литературе опытов изучения политических текстов или эпизодов политики. Большую часть составляют либо чистые синтетические интерпретации, либо их смешение с аналитическими процедурами. Как чистая аналитика, так и чистые интерпретации сами по себе зачастую недостаточны для проведения полноценного исследования. Приходится переходить от аналитических к интерпретационным процедурам и обратно в рамках составного, пошагового исследовательского дизайна, или использовать иные способы их смешения. Однако каждое такое конкретное исследование не может выдавать сиюмоментный и случайный пример (*casus*) технических ухищрений за полноценную методологию.

Тем более нельзя методологически полагаться ни на какие образцы постмодернистских или даже постструктуралистских интерпретаций, даже сдобренных добротными аналитическими ухищрениями. Они в принципе отвергают саму возможность последовательной методологии, акцентируя как раз произвольные отклонения от нее. Да и лучшие, порой блестящие примеры подобных опытов в исполнении, например, Джудит Батлер [Butler, 1997], Жана Бодрийяра [Бодрийяр, 1999] или Жака Деррида [Деррида, 2000] остаются в конечном счете скорее актами искусства, перформанса, чем науки. Их методология в принципе не поддается ни воспроизведению, ни передаче, ни тем более критической проверке.

Какой урок из этого можно извлечь с точки зрения формирования политической семиотики в рамках общего семиотического органа? Очень важный. Уникальные опыты изучения текстов или эпизодов политики, игнорирующие методологическую проблематику общей семио-

тики, обречены ни изолированное, герметичное существование. Их значимость для построения общей семиотики крайне ограничена. Она по большей части негативная, демонстрирующая дефицит или порой отсутствие методологической составляющей. Надеяться на обобщение и индуктивное наращивание семиотического органа, отталкиваясь от разрозненных и случайных опытов, наивно и даже опасно.

Куда реалистичнее использовать более или менее последовательные опыты критического анализа дискурсов или их методологически заточенного ядра. Тут происходит формирование вполне прагматического инструментария, а то и отчетливого набора исследовательских методик, которые могут быть интегрированы в единый методологический комплекс политической семиотики.

Однако наиболее действенным и убедительным подходом является выстраивание семиотического органа сверху. На практике это означает, что уже достаточно заметному и расширяющемуся кругу коллег, пытающихся практиковать анализ политических дискурсов, необходимо пройти школу освоения основ семиотики хотя бы моррисовской версии. Разумеется, это будет не более чем ликбезом. Одновременно уже от методологически ориентированных семиотиков требуется расширить и насытить содержательное поле общей семиотики за счет реинтеграции в него достижений как неосвоенной классики (Ч.Пирс [Peirce, 1982], В.Уэлби [Welby, 1985] и др.), так и альтернативные методологические подходы (К. Бюлер [Бюлер, 1993], Я.Иксюль [Uexkuöll, 1982], А.Греймас [Greimas, Courté, 1979] и др.).

Остановимся на одной лишь возможности. Предложенная Карлом Бюлером модель, или органон знака позволяет сделать отправным моментом коммуникационное взаимодействие [Бюлер, 1993], а не материальный носитель знака в отличие от семиологии Соссюра [Соссюр, 1977] и даже классической семиотики Пирса-Морриса [Peirce, 2012; Morris, 1938]. В этом случае прагматическая перспектива, имеющая ключевое значение для критического анализа дискурсов, будет не завершающей надстройкой, а фундаментом семио-

тической методологии. Это в свою очередь позволит начинать и завершать анализ целостными речевыми актами (speechacts) или фактами коммуникации, а не заикливаться на атомарных единицах смысла. При всей своей безусловной важности они остаются только лишь материалом для создания осмысленных эпизодов политики и для научного изучения таких эпизодов.

Работа предстоит большая и долгосрочная. И разворачивать ее надлежит уверенно и без колебаний, преодолевая все еще господствующие в политологической среде предрассудки, будто семиотика «всего лишь лингвистика» и что она не имеет никакого отношения ни к политике, ни к социальному познанию вообще.

Список литературы

1. Авдонин В.С. Методы науки в вертикальном измерении (метатеория и метаязыки-органы) // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – Вып. 5. – С.265-278.
2. Аристотель. Сочинения: в 4 т. – Т. 2 (Органон). – М.: Мысль, 1978. – 688 с.
3. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с.
4. Бэкон Ф. Новый Органон. – Ленинград: Соцэкгиз. Ленинградское отделение, 1935. – 382 с.
5. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М.: Прогресс, 1993. – 502 с.
6. Гёте И.В. фон. Метаморфозы растений // Гёте И.В. фон. Избранные сочинения по естествознанию. – М.: АН СССР, 1957. – С. 20-57.
7. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. под ред. В. Лапицкого. – СПб.: Академический проект, 2000. – 430 с.
8. Золян С.Т. Семиотика как органон гуманитарного знания: возможности и ограничения // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из общественных дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2016. – Вып. 6. – В печати.
9. Ильин М.В. Семиотика как основа изучения языка политики и развития дискурс-анализа // Дискурс-Пи. – Екатеринбург, 2015. – № 1-2. – С. 43-47.

10. Ильин М. В. *Patrimonium et imperium: метаморфозы двух прототипических порядков в зеркале эволюционной морфологии. Часть первая* // ПОЛИТЭКС. – СПб., 2014. – № 3. – С. 5-21.
11. Ильин М.В. Политический дискурс // Политология: Лексикон / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2007. – С. 537-544.
12. Кокарев К.П. Институционализмы: Сад расходящихся исследовательских тропок // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 192-202.
13. Круглый стол «Математика и семиотика: две отдельные познавательные способности или два полюса единого органаона научного знания?» // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 122-142.
14. Локк Дж. Сочинения в 3-х томах. – Т. 2. – М.: Мысль, 1985. – 560 с.
15. Моррис Ч. У. Основания теории знаков // Семиотика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.: Радуга, 1983. – С. 37-89.
16. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения. – М.: Логос, 2000. – 448 с.
17. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию / Пер. с франц.; под ред. А.А. Холодовича. – М.: Прогресс, 1977. – С. 31-273.
18. Степанов Ю.С. Язык и метод: К современной философии языка. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 784 с.
19. Фомин И.В. Политические исследования в трансдисциплинарной перспективе: возможности семиотического инструментария // Политическая наука / РАН. ИНИОН. – М., 2015а. – № 2. – С. 8-25.
20. Фомин И. В. Элементы семиотического органаона для обществоведения: анализ повествований // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин / РАН. ИНИОН. – М., 2014. – Вып. 4. – С. 143-160.
21. Фомин И.В. Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин РАН. ИНИОН. – М., 2015b. – Вып. 5. – С. 208-219.
22. Butler J. *Excitable speech: A politics of the performative.* – N.Y.; L.: Routledge, 1997. – 185 p.

23. Goethe J.W. Versuch die Metamorphose der Pflanzen zu erklären. – Gotha: C.W. Ettinger, 1790. – 86 p.
24. Greimas A.J., Courtés J. Sémiotique: dictionnaire raisonné de la théorie du langage. – Paris: Hachette, 1979. – 422 p.
25. Kant I. Kritik der praktischen Vernunft // Kant I. Gesammelte Schriften. – Berlin: Reimer, 1913. – S. 1-163.
26. Lieb H.H. On subdividing semiotic // Pragmatics of natural languages. – Dordrecht: Springer Netherlands, 1975. – P. 94-119.
27. Locke J. An essay concerning human understanding. – Amherst, N.Y.: Prometheus books, 1995. – 624 p.
28. Morris C.W. Foundations of the theory of signs // International encyclopedia of unified science. – Chicago: Univ. of Chicago press, 1938. – Vol. 1, N 2. – 59 p.
29. Nöth W. Handbook of semiotics. – Bloomington; Indianapolis: Indiana univ. press. 1990. — 576 p.
30. Parsons T. Societies: evolutionary and comparative perspective. – Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966. – 120 p.
31. Peirce C. Philosophical writings of Peirce. – N.Y.: Dover publications, 2012. – 416 p.
32. Peirce C. S. Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Vol. 1: 1857-1866. — Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – 736 p.
33. Peirce C. S. Writings of Charles S. Peirce: A chronological edition. – Vol. 1: 1857-1866. — Bloomington: Indiana univ. press, 1982. – 736 p.
34. Uexküll J. von. The theory of meaning // Semiotica. – Amsterdam, 1982. – 42 (1). – P. 25-82.
35. Welby V. Significs and language: the articulate form of our expressive and interpretive resources / ed. H.W. Schmitz. – Amsterdam: Benjamins, 1985. – 151 p.

ЮРИЙ ЛОТМАН И СОЦИАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА

С.Т.Золян

0. Введение. К постановке проблемы

Ю. М. Лотман известен в первую очередь как историк русской литературы и семиотик культуры. Вопрос о том, насколько правомерно рассматривать его идеи в рамках социальной семиотики, до сих пор практически не рассматривался. В этой главе мы попытаемся показать, что в своих работах Лотман, не заостряя на том внимания, достаточно ясно выразил те идеи, которые сегодня принято считать основами социальной семиотики, которые сформулированы в работах Майкла Хэллидея и Гюнтера Кресса. Внимание заслуживает уже тот факт, что сам термин «социальная семиотика» появляется в работах Лотмана 1975 года – ровно тогда же, когда и у Хэллидея. При этом в отличие от представителей Лондонской школы, Лотман не ограничивался анализом знаковых и коммуникативных отношений, а рассматривал их в системе социальных и политических процессов. Другое дело, что Лотман определял социальные отношения как подбласть культуры, поэтому описывал их соответствующим образом. Та версия социальной семиотики, которая прочитывается в трудах Лотмана, не является аналогом принятых в настоящее время представлений об этой дисциплине. Она скорее дает возможности для разработки новой, более глубокой теории, в которой как знаковые феномены будут рассматриваться не только знаки и сообщения, но и социальные действия и поведенческие структуры. Подобная версия позволит соотнести концепты социальной семиотики с такими базовыми понятиями теоретической социологии (в особенности, с теми ее направлениями, которые развивают принципы «понимающей социологии» Макса Вебера), как социальное действие, смысл и коммуникация. Развертыванию и обоснованию этих положений будут

посвящены соответствующие разделы этой главы. Разумеется, в данном случае мы лишь приближаемся к довольно обширной теме, и многочисленные аспекты как лотмановского семиотического наследия, так и социальной семиотики неизбежно окажутся обойденными вниманием²². Заметим также, что многие из высказанных Лотманом идей были разработаны в недрах Тартуско-московской семиотической школы совместно с исследователями из ближайшего окружения ученого (прежде всего это Б. А. Успенский, А. М. Пятигорский, И. А. Чернов). Поэтому допустимо, хотя и со значительными оговорками, говорить о подходах к развитию социальной семиотики не только в научном творчестве Лотмана, но в наследии школы в целом.

Лотман и термин «социальная семиотика»

Появление термина «социальная семиотика», описывающего соответствующую область исследований, принято связывать с выходом книги Майкла Хэллидея «Язык как социальная семиотика» («*Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*»; см. Halliday 1978)²³. Однако оформление отдельной дисциплины

²² Так, остались без рассмотрения работы Лотмана 1950-х – начала 1960-х годов, не имеющие непосредственного отношения к семиотике, но характеризующие его не только как историка русской общественной мысли, но и социального философа, изучающего механизмы символизации и репрезентации. Практически исключены из рассмотрения также и лотмановские работы последних лет (Лотман 1992 и 2010), в которых обсуждаются структуры (формы) и системы социальных процессов: ввиду их особой значимости, они должны стать предметом отдельных статей (об их актуальности для анализа текущих политических процессов см., например, Золян 1999 и 2013).

²³ Ср.: «Different “versions” of social semiotics have emerged since the publication of Michael Halliday’s *Language as Social Semiotic* in 1978» (Bezemer, Jewitt 2009; см. Также Гаврилова 2016:102). Однако в книге Хэллидея есть глава «*Language as Social Semiotic*», которая является перепечаткой ранее публиковавшейся статьи «*Language as Social Semiotics: Towards a General Sociolinguistic Theory*» с указанием, что она впервые появилась в материалах конференции Лингвистической

лины скорее имеет смысл относить к более позднему времени, когда появились такие работы, как (Hodge, Kress 1988) и (Lemke 1988)²⁴. Между тем в статьях Лотмана этот термин появился уже а 1975 году, хотя и без какой-либо экспликации: тартуский ученый никак не заострял на нем внимания и в дальнейшем к нему не возвращался.

Нам удалось обнаружить два употребления указанного термина в лотмановских трудах. В первом случае контекст явным образом указывает на то, что речь идет не о специальной научной дисциплине, своего рода «ответвлении» семиотики, а о сфере функциониро-

ассоциации Канады и США (LACUS) в 1975 году. К сожалению, первопубликация осталась для нас недоступной, и для знакомства со статьей мы пользовались 10-м томом собраний сочинений Хэллидея (см. Halliday 2009), где изначальное *Semiotics* было заменено на *Semiotic*. Как видим, заглавие статьи послужило названием для всей книги, в котором был изменен только подзаголовок. Заметим однако, что первоначальный подзаголовок представляется более уместным: в самой статье о семиотике практически не говорится, автор скорее пытается наметить общую социолингвистическую теорию. Об этом свидетельствует и предметный указатель в книге Хэллидея, из которого по непонятной причине выпали пусть и не часто употребляемые слова *Semiotic* и *Sociosemiotic* – при том, что другие словосочетания с *Socio-* и *Social* представлены в изобилии. Помимо основной «англо-австралийской» версии, в (Cobley, Randvir 2009: 24 – 27) выделяется ряд других школ социосемиотики: итальянской, финнской, греческой, тартуской, венской. Однако обсуждение локальных разновидностей социосемиотики увело бы нас от основной темы.

²⁴ Роберт Ходж предлагает разграничивать два термина – при строчном написании и при заглавном, которое относится именно к представляемому им и Гюнтером Крессом направлению: «“Social semiotics” can refer to two related but distinct entities. “Social semiotics” without capitals is a broad, heterogeneous orientation within semiotics, straddling many other areas of inquiry concerned, in some way, with the social dimensions of meaning in any media of communication, its production, interpretation and circulation, and its implications in social processes, as cause or effect. “Social Semiotics” with capitals is a distinguishable school in linguistics and semiotics which specifically addresses these issues. It is important because it synthesizes these issues, not because it covers those issues in a distinct or authoritative form. Social semiotics makes semiotics more broadly useful, and Social Semiotics assists in this process» (Hodge, online). Хэллидей здесь отнесен к первому, «строчному», направлению. Такое разграничение, однако, не является общепринятым.

вания знаков (или типе знаковой системы)²⁵:

Таким образом, воспроизведение жизни на сцене приобрело черты театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной. Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и кукольности, поскольку игровое изображение реальности может вызывать серьезные ощущения у зрителя, но игровое изображение игрового изображения почти всегда переключает нас в область смеха (Лотман 1975б: 20).

Второе употребление, также без дефиниции, относится к более общему аспекту – регуляции поведения:

Поведение человека регулируется не только законами антропологии и общей психологии («поведение ребенка», «поведение мужчины», «женское поведение» и проч.), но и социальной семиотики («рыцарское», «монашеское», «богемное», «дворянское», «крестьянское» поведение), этических нормативов («грешное», «благочестивое», «позорное» поведение), художественных категорий («романтическое поведение», «жизнестроительство» русских символистов) и стилей («благородное», «вульгарное», «низкое», «нейтральное» поведение). В целом можно говорить о поведении людей как о сложной, гетерогенной системе, выполняющей многообразные информационные, семиотические, социально организующие функции. Поведение имеет свой сложный язык, на котором оно создает определенные тексты – понятные для тех, кто находится внутри данного коллектива, и порой весьма загадочные для не знающих языка его культуры (Лотман 1976:292–293).

Такое понимание в противоположность первому весьма широко и куда ближе к социологии, чем к тому, что принято считать «со-

²⁵ Примерно так употребляется термин «семиотика» в неоднократно цитируемых Лотманом «Пролегоменах к теории языка» Луи Ельмслева, где о языке говорится как о наиболее удобной и хорошо поддающейся описанию *sub specie semioticae* системе, основываясь на которой можно рассматривать и другие культурные феномены (см. Ельмслев 1960: 364).

циальной семиотикой» в версии Хэллидея и Кресса. К нему мы еще вернемся в заключительном разделе, пока же заметим, что и первая, «узкая», трактовка дана Лотманом применительно к описанию системы социальных отношений николаевской России. Однако Лотман не счел необходимым специально останавливаться на этом своем нововведении (возможно, он и не обратил внимания на то, что ввел в обиход не существовавший до него термин). Как нам представляется, это объясняется тем, что, говоря о поведении с точки зрения семиотики, Лотман в 1970-е годы рассматривал его как порождаемое культурой, которая сама по себе предполагает социальные функции. Впоследствии, уже в 1980-е годы, социальные и культурные знаковые системы были описаны как взаимодействующие и неотделимые друг от друга механизмы семиосферы (см. Лотман 1984). Лотмана больше интересовало взаимодействие различных кодов и отношений, нежели изолированное рассмотрение одного из них.

Заметим, что и у Хэллидея «социальное» и «культурное» в ряде случаев употребляются как синонимы (акцентирование социального аспекта происходит уже у его последователей, Ходжа и Кресса):

A social reality (or a “culture”) is itself an edifice of meanings – a semiotic construct. In this perspective, language is one of the semiotic systems that constitute a culture; one that is distinctive in that it also serves as encoding system of many (though not all) of the others. It means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself is interpreted in semiotic terms – as an information system (Halliday 1978: 2).

Однако было бы ошибкой представлять Лотмана в роли мольеровского Журдена, не осознающего, что он говорит. Интерес к социальным аспектам семиотики для Лотмана был глубоко органичен и во многом подготовлен его опытом историка литературы и общественной мысли. Для него был очевиден социальный характер языка и всех иных функционирующих в обществе знаковых систем:

Язык – упорядоченная коммуникативная (служащая для переда-

чи информации) знаковая система. Из определения языка как коммуникативной системы вытекает характеристика его социальной функции: язык обеспечивает обмен, хранение и накопление информации в коллективе, который им пользуется (Лотман 1973а: 4).

Безусловно, это слишком общее положение, которое есть в любом учебнике. Но из него Лотман выводит нетривиальное следствие: в обществе функционируют знаки, смысл которых определяется исключительно социальной системой, они перестают служить коммуникации, а формируют особую автореферентную область, «знаки вытесняют людей»:

...человека окружают вещи, ценность которых имеет социальный смысл и не соответствует их непосредственно вещественным свойствам. Так, в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» собачка рассказывает в письме своей подруге, как ее хозяин получил орден <...>. Для собачки ценность ордена определяется его непосредственными качествами: вкусом и запахом, и она решительно не может понять, чему же обрадовался хозяин. Однако для гоголевского чиновника орден – знак, свидетельство определенной социальной ценности того, кто им награжден. Герои Гоголя живут в мире, в котором социальные знаки заслоняют, поглощают людей с их простыми, естественными склонностями. Комедия «Владимир третьей степени», над которой работал Гоголь, должна была завершиться сумасшествием героя, вообразившего, что он превратился в орден. Знаки, созданные для того, чтобы, облегчив коммуникацию, заменять вещи, вытеснили людей. Процесс отчуждения человеческих отношений, замены их знаковыми связями в денежном обществе был впервые проанализирован Карлом Марксом (Лотман 1973а: 4–5).

Примечательна и отсылка к теории Маркса: Лотман реинтерпретирует идею немецкого философа примерно так же, как впоследствии Толкотт Парсонс и Никлас Луман: деньги есть «язык», универсальное средство коммуникации в такой социальной подсистеме общества, как экономика. Попытка объяснить «широкому читателю»,

что есть знак, неожиданно приводит мысль Лотмана к фундаментальным социологическим понятиям. Как видим, социальная семиотика была для Лотмана не специальным разделом науки о знаках, а определялась как часть ее методологического и концептуального аппарата. С другой стороны, метаязык семиотики дает возможность описания социальных процессов: социальная ценность чиновника обозначается имеющимся у него орденом, то есть его дифференциальными признаками. Судьба несчастного чиновника из неосуществленного гоголевского замысла предстает как реализация фундаментального положения соссюровской теории:

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: *отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей*. В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу (Соссюр 1977:154).

Поэтому более важным представляется даже не поиск в лотмановских текстах словосочетания «социальная семиотика», а то, в каких случаях Лотман считает необходимым вовлечь в сферу анализа знаковых отношений также и социальные факторы. Это происходит всякий раз, как только ученый обращается к проблеме «недостаточности чисто языковедческих методов» (Лотман 1963: 46) и разграничения между собственно лингвистическими и над-лингвистическими структурами.

Слово в социальном контексте

Первой серьезной попыткой анализа социальных аспектов языкового знака можно считать лотмановскую статью «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» (1963). Начиная с достаточно очевидной констатации того, что слово приоб-

ретает значение только в контексте, Лотман делает несколько необычный для лингвистов следующий шаг: он предполагает, что и контекст может оказаться недостаточным. Опыт историка позволяет ему увидеть то, что тогда (да и до сих пор) недостаточно учитывалось в лингвистике: слово это не только единица словаря, но и элемент некоторой идеологической системы (мировоззрения, литературного направления научной дисциплины и т. п.). Одни и те же языковые выражения «естественное состояние», «человек», «гражданин» получают различные, подчас противоположные толкования в политической философии и публицистике (см. Лотман 1963: 45–46). Или же:

Пример столкновения двух идейно-стилистических систем («дворянской» и «крестьянской»), наполняющих одно и то же слово различным содержанием, находим у Пушкина в черновых примечаниях к «Евгению Онегину»: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж. – По страсти, родимый, отвечала она. – Приказчик и староста обещали меня до полусмерти прибить (Лотман 1963: 48).

Поэтому лингвистический анализ должен быть дополнен методом, условно названным Лотманом «структурно-идеологическим»:

Весьма интересный материал дали бы в этом случае опыты сравнительной характеристики формально одинаковых, но семантически различных (входящих в разные системы) терминов, употребляемых разными публицистами одной эпохи. Так, например, структурно-идеологический метод позволит вскрыть интересную разницу в употреблении одинаковых терминов близкими публицистами, например Чернышевским и Добролюбовым. Однако, подойдя к подобной работе, лингвист неизбежно столкнется с недостаточностью чисто языковедческих методов. Ему придется восстановить идеологическую структуру, взаимообусловленность составляющих ее понятий, прежде чем установить специфику терминов – знаков, служащих для их передачи (Лотман 1963: 46).

Здесь важно отметить, что при всем уважительном отношении Лотмана к лингвистике и ее методам²⁶, он уходит от рассмотрения «идейно-стилистических» явлений в лингвистическом, пусть даже и в социолингвистическом ключе. Социолингвистика изучает функционирование языка в обществе, в том числе и различные функционирующие в обществе подязыки («идейно-стилистические системы») – термин явно в духе В. В. Виноградова, но в нем просвечивает то содержание, что сегодня связывают с понятием дискурса и дискурсивной формации). Лотмана они интересуют не сами по себе, а как средство выражения некоторого содержания. Это позволяет наметить грань, отделяющую социолингвистику от социальной семиотики.

Контекстуализм и функционализм:

Лотман и Малиновский

Лотман задается вопросом: при каких условиях знание собственно языкового значения знака оказывается недостаточным и для понимания требуется его включение в некоторую иную концептуальную систему? Впоследствии Лотман придет к выводу, что иной ситуации в принципе не может быть, поскольку в реальной коммуникации текст закодирован как минимум дважды (подробнее о подходе Лотмана к понятию текста см. Золян 2016). Именно в подобной ситуации и осознается «недостаточность» лингвистических методов. Однако точнее было бы говорить не о «недостаточности», а о необходимости

²⁶ Ср.: «Литературовед нового типа – это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языковедение “вырвалось вперед” среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами» (Лотман 1967б: 100).

их модификации, учета того, что единица естественного языка, становясь единицей коммуникации, может приобретать новые значения, которые перестают определяться одной только системой исходного языка. Лингвистическая значимость дополняется иной – культурной либо социальной. Более того, при обращении к не знакомому для нас социокультурному контексту, лингвистическая значимость перестает быть определяющей.

И здесь можно найти примечательные совпадения между идеями Лотмана и Хэллидея, считающегося основоположником социальной семиотики. Однако прежде целесообразно указать на общий источник – статью Бронислава Малиновского, опубликованную в качестве приложения к знаменитой книге Огдена и Ричардса «Meaning of Meaning» (1923). Хотя Малиновский считается классиком культурной и социальной антропологии, общепризнано и его влияние на формирование Лондонской лингвистической школы, одним из продолжений работы которой стало появление социальной семиотики в 1970-е – 1980-е годы. Исследуя абсолютно отличное явление, функционирование языка в бесписьменном обществе, Малиновский пришел к выводам, которые позже были во многом повторены Лотманом при анализе развитых культурных систем (иные возможные аналогии, кроме проблемы языкового знака, здесь не рассматриваются). Даже идеальное знание языка оказывается бесполезным без знания социокультурного контекста. Сравним:

Взаимозависимые высказывания вводятся в текст, просто присоединяясь друг к другу, для своего разрешения требует чего-то большего, нежели указания на их референты, чтобы вполне уяснить роль и значимость этого текста <...>. Сразу становятся очевидными ложность и бесполезность концепции, согласно которой значение содержится в выражениях этого языка. В реальной жизни всякое предложение неотделимо от ситуации, в которой оно высказывается <...>. Очевидность тесной связи между интерпретацией языка и анализом культуры, к которой относятся эти языки, убеждает в том, что

ни Слово, ни его Значение не обладают независимым и самостоятельным существованием (Малиновский 2005: 203–204, 207, 209).

Слово в реальной языковой ситуации никогда не выступает изолированно, как в словаре. Оно всегда входит в известную речевую и внеречевую ситуацию, которая определяет однозначность семантического восприятия. Взятое само по себе, оно не обеспечивает необходимой однозначности. Но в реальной речевой практике оно не может существовать само по себе. Оно включено в определенное высказывание и в определенную жизненную ситуацию, которые придают ему необходимую однозначность, снимая избыточность значений (Лотман 1963: 44–45).

При такой близости исходных позиций не случайны и другие концептуальные совпадения между подходом Лотмана и Малиновского. Это рассмотрение процесса семиозиса в действии и как действия:

...рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-либо практическим делом, ведет к заключению, что язык в своих примитивных формах должен рассматриваться и изучаться на фоне человеческой деятельности и как форма человеческого поведения в практических делах. <...> язык в своей примитивной функции и первоначальной форме имеет существенно прагматический характер, что он есть форма поведения, – необходимый элемент согласованных человеческих действий. И в отрицательной форме: рассматривать язык как некое средство выражения и передачи мысли значит занять одностороннюю позицию, абсолютизируя одну из его наиболее производных и специальных функций <...>. Такой подход позволяет отнести речь к активным формам человеческого поведения, а не к рефлексивным и когнитивным (Малиновский 2005: 211, 216).

Последнее положение явно нуждается в корректировке даже применительно к первобытным обществам, и приведено нами лишь для полноты картины. Главное же в подходе к описанию культуры и Малиновского, и Лотмана – преодоление внутрисистемной имманентности и трактовка семиотических процессов с точки зрения их аген-

тивного и динамического характера. Социальная семиотика, как она намечается в работах, Малиновского и Лотмана – это язык в действии и язык как действие, определяемое функциональными отношениями языка применительно к иным системам. Оба исследователя, не ограничиваясь констатацией недостаточности внутрисистемных лингвистических средств, приходят к необходимости их описания как регулирующих моделей поведения. Малиновский сосредотачивается на описании и объяснении уже сформировавшихся ритуализированных форм поведения в первобытных обществах, Лотман – на процессах формирования и интерпретации (в том числе и механизма само- и метаописания) ритуализованных и семиотизированных форм поведения в развитых культурах. Функционализм и контекстуализм Малиновского, безусловно, были близки исследовательскому методу Лотмана – особенно с начала 1970-х годов.

***Социальная семиотика как социолингвистика:
Подход Майкла Хэллидея. Текст и функция***

Как уже было сказано, термин «социальная семиотика» появляется в работах Лотмана и Хэллидея практически одновременно, поэтому говорить о возможном влиянии одного ученого на другого невозможно. Однако не приходится сомневаться, что в широкий научный оборот указанный термин вошел благодаря упоминавшейся выше книге Хэллидея. Свой подход Хэллидей называет системно-функциональной лингвистикой («systemic functional linguistics»), претендуя тем самым на начало нового этапа Лондонского функционализма, а то и на создание нового направления в лингвистике. (В более привычном смысле слово «системный» скорее употребляют последователи Хэллидея.)

Обоснование того, что язык есть социальная семиотика, дано лишь во введении к собранию ранее публиковавшихся статей, а в

списке литературы к книге статья 1975 года не приводится (см. републикацию: Halliday 2009). Согласно Хэллидею, речь идет о курсе-рассмотрения языка:

The formulation “language as social semiotic” says very little by itself <...>. It belongs to a particular interpretation of language within this framework <...>. This in summary terms is what is intended by the formulation “language as social semiotic”. It means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself is interpreted in semiotic terms – as an information system, if that terminology is preferred (Halliday 1978: 1–2).

Поэтому если рассматривать не сам термин, а концепции, то идеи Лотмана будут ближе скорее к Малиновскому, чем Хэллидею, теория которого в большей мере социолингвистическая (а отчасти – социостилистическая), нежели социосемиотическая (напомним, что подзаголовок статьи Хэллидея 1975 года – «Towards a General Sociolinguistic Theory» – определяет социальную семиотику как общую социолингвистическую теорию). Поэтому мы не будем заострять внимания на основных положениях теории Хэллидея, тем более что они достаточно широко известны. Другое дело – концептуальный инструментарий ученого, а именно понятия текста, контекста и функции.

Применительно к тексту и необходимым для его социализации понятиям контекста и функции сравнение концепций Лотмана и Хэллидея оказываются достаточно перспективными. Хэллидей отказывается от принятой схемы коммуникативного акта Бюлера – Якобсона и предлагает собственную триаду языковых функций, одной из которых оказывается текстуальная²⁷. При рассмотрении языка в со-

²⁷ В определение этой важнейшей функции, детерминирующей все другие, Хэллидей вкладывает достаточно разнородные факторы, речь скорее идет о комплексном процессе актуализации языка в речь применительно к определенному контексту: «The textual component represents the speaker’s text-forming potential; it is that which makes language relevant. This is the component which provides the texture; that which makes the difference between language that is

циальном контексте основной единицей оказывается текст:

Language does not consist of sentences; it consists of text, or discourse – the exchange of meanings in interpersonal contexts of one kind or another <...>. By their everyday acts of meaning, people act out of social structure, affirming their own statuses and roles, and establishing and transmitting the shared systems of values and knowledges (Halliday 1978: 2).

В области лингвистики текста Хэллидей высказал ряд новаторских идей, которые до сих пор не реализованы в полной мере. Последующими учеными была усвоена скорее техника анализа текста, выявление его структур связанности (когезии и когерентности), но осталась обойденной должным вниманием идея о тексте как о социокультурном событии. Между тем, языковая фиксация текста в виде последовательности предложений – это лишь форма манифестации текста-как-(социального)-события:

Obviously one cannot quarrel with the use of the term “text” to refer to a string of sentences but it is important to stress that the sentences are, in fact, the realization of text rather than constituting the text itself <...>. In its most general significance a text is a sociological event, a semiotic encounter through which the meanings that constitute the social system are exchanged <...>. By this act of meaning, and those of other individual meaner, the social reality is created, maintained in good order, and continuously shaped and modified <...>.Text is the primary channel for transmission of culture, and it is this aspect – text as the semantic process of social dynamics – that more than anything else shaped the semantic system (Halliday 1978: 135, 139, 141).

suspended in vacuo and language that is operational in a context of situation. It expresses the relation of the language to its environment, including both the verbal environment – what has been said or written before – and the non-verbal, situational environment. Hence the textual component has an enabling function with respect to the other two; it is only in combination with textual meanings that ideational and interpersonal meanings are actualized» (Halliday 1978: 112–113).

Здесь, безусловно, можно увидеть много точек соприкосновения с концепцией текста, предложенной Лотманом и Пятигорским: для них также определяющими оказываются понятия контекста, функции и взаимодействия между отправителем сообщения и адресатом:

Функция текста определяется как его социальная роль, способность обслуживать определенные потребности создающего текст коллектива. Таким образом, функция – взаимное отношение системы, ее реализации и адресата-адресанта текста (Лотман, Пятигорский 1968: 75).

Поскольку лотмановская концепция текста подробно освещена нами в отдельной работе (Золян 2016), остановимся на различиях между ней и идеями Хэллидея, которые помогут нам увидеть разницу между социолингвистическим подходом к тексту (пусть даже при максимально широком его понимании) и социосемиотическим. Несмотря на обратную хронологию, можно сказать, что там, где заканчивает Хэллидей, Лотман и Пятигорский только начинают. Этой ключевой точкой является разграничение текста и не-текста. Для Хэллидея характеристики текста исчерпываются его лингвистическими, в том числе жанровыми, свойствами:

Three factors – generic structure, textual structure (thematic and informational), and cohesion – are what distinguish text from “non-text” (Halliday 1978: 134)²⁸.

Поэтому в реальной коммуникации «не-текстов» быть не может:

One does not normally meet non-text in real life, though one can construct it for illustrative purposes (Halliday 1978: 134).

²⁸ В (Halliday, Hasan 1976: 2, 4) дана еще более узкая дефиниция – текст определяется структурами связности и взаимозависимостью элементов: «A text has texture and this is what distinguishes it from something that is not a text <...>. The texture is provided by the cohesive relation. Cohesive relationships within a text are set up where the interpretation of some element in the discourse is dependent on that of another. The one presupposes the other in the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it».

Между тем, для Лотмана и Пятигорского невозможна ситуация, когда все определенным образом оформленные сообщения, обладающие «текстурой» (ср. Halliday, Hasan 1976; см. также примеч. 7), воспринимались бы как тексты, потому что такая ситуация является симптомом разрушения культуры:

Выделение среди массы общеязыковых сообщений некоторого количества текстов может рассматриваться в качестве признака появления культуры как особого типа самоорганизации коллектива. Дотекстовая стадия есть стадия докультурная. Состояние, в котором все тексты возвращаются только к своему языковому значению, соответствует разрушению культуры.

С точки зрения изучения культуры, существуют только те сообщения, которые являются текстами. Все прочие как бы не существуют и во внимание исследователем не принимаются. В этом смысле можно сказать, что культура есть совокупность текстов или сложно построенный текст (Лотман, Пятигорский 1968: 82).

На текст переносятся те принципы разграничения между языковыми и надязыковыми структурами, которые до этого были выделены Лотманом в статье 1963 года на примере лексических единиц (см. об этом выше):

Понятие текста – в том значении, которое придается ему при изучении культуры, – отличается от соответствующего лингвистического понятия. Исходным для культурного понятия текста является именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности перестает восприниматься как достаточный для того, чтобы высказывание превратилось в текст. Вследствие этого вся масса циркулирующих в коллективе языковых сообщений воспринимается как нетексты, на фоне которых выделяется группа текстов, обнаруживающих признаки некоторой дополнительной, значимой в данной системе культуры, выраженности (Лотман, Пятигорский 1968: 75–76).

Чтобы стать текстом, некоторый набор языковых единиц должен быть: 1) определенным образом выделен – будь то письменная

фиксация, ритмика, публикация, нотариальное заверение и т. п., сам характер подобной дополнительной выделенности варьируется в различных культурных контекстах; 2) характер второго требования сформулировать труднее; о нем можно судить по следующей цитате:

Текст по отношению к не-тексту получает дополнительное значение. Если сопоставить два совпадающих на лингвистическом уровне высказывания, из которых одно в системе данной культуры удовлетворяет представлениям о тексте, а другое – нет, то легко определить сущность собственно текстовой семантики: одно и то же сообщение, если оно является письменным договором, скрепленным клятвой, или просто обещанием, исходит от лица, высказывания которого по его месту в коллективе являются текстами, или от простого члена сообщества и т. п., – получает при совпадении лингвистической семантики разную оценку с точки зрения авторитетности. В той сфере, в которой данное высказывание выступает как текст (стихотворение не выступает как текст при определении научной, религиозной или правовой позиции коллектива и выступает как текст в сфере искусства), ему приписывается значение истинности. Обычное языковое сообщение, удовлетворяющее всем правилам лексико-грамматической отмеченности, «правильное» в языковом отношении и не заключающее ничего противоречащего возможному по содержанию, может тем не менее оказаться ложью. Эта возможность для текста исключается. Ложный текст – такое же противоречие в терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста (Лотман – Пятигорский 1968: 78).

Приводимые примеры указывают на то, что авторы понимают текст как перформатив, то есть некоторое социально детерминированное действие (событие), которое в то же время описывает само себя. Поэтому функционирование некоторого сообщения в качестве текста-перформатива определяется существующими в социуме «удачными условиями» («*felicitous conditions*») функционирования текста и его особыми референциально-семантическими характе-

ристиками («истинностью», которое в данном случае следует также понимать в «перформативном», а не логико-семантическом смысле – как авторитетность).

Как видим, концепции Хэллидея и Лотмана – Пятигорского не следует противопоставлять: они естественно дополняют друг друга. Согласно Хэллидею, внутренние характеристики текста («текстура»), будучи опосредованными текстуальной функцией языка, выступают как социо семиотический процесс и становятся коммуникативным событием²⁹. Дальнейшее функционирование либо не-функционирование текста определяется социокультурным контекстом, именно в нем текст приобретает свое отличное от общезыкового значение и социокультурную функцию:

Система текстовых значений определяет социальные функции текстов в данной культуре. Таким образом, можно отметить три типа отношений:

- 1) субтекстовые (общезыковые) значения;
- 2) текстовые значения;
- 3) функции текстов в данной системе культуры.

Следовательно, возможно описание культуры на трех различных уровнях: на уровне общезыкового содержания составляющих ее текстов, на уровне текстового содержания и на уровне функций текстов (Лотман, – Пятигорский 1968: 78).

²⁹ Именно эта мысль привлекла Лотмана в теории текста Хэллидея. Ср. в статье «Текст в тексте»: «Ср. определение М. А. К. Хэллидея: “Текст’ – это язык в действии” (Новое в зарубежной лингвистике, вып. VIII. М., 1978, с. 142); если в формуле Хэллидея выделяется оппозиция “потенциальная возможность – динамическая реализация”, то П. Хартман и З. Шмидт подчеркивают противопоставление “идеальная структура – материально воплощенная конструкция”» (Лотман 1981б: 3, примеч. 1).

«Социальная семиотика» Роберта Ходжа и Гюнтера Кресса

Как уже было отмечено, институционализация социальной семиотики происходит после выхода в 1988 году книги Роберта («Боба») Ходжа и Гюнтера Кресса «Social Semiotics» (Hodge, Kress 1988). Часто она трактуется как естественное продолжение и обобщение идей Хэллдея его последователями, и именно в этом смысле – как основа для современной социальной семиотики. И то и другое можно оспорить.

Конечно, в предисловии к книге с почтением говорится о работах Хэллдея, руководителя докторской диссертации переехавшего в то время в Австралию Гюнтера Кресса. Но сама книга лишь в незначительной степени продолжает идеи учителя одного из соавторов: это своего рода «бунт» против сосюринанской лингвистики. Методика функционального анализа в духе Лондонской школы причудливым образом сочетается здесь с ориентированным на марксизм критическим дискурс-анализом. И сам термин «социальная семиотика» приобретает совсем иной смысл.

«Социальная семиотика» продолжает предыдущую работу тех же авторов «Язык как идеология» (Hodge, Kress 1979), где идеология понимается в духе Маркса как «ложное сознание». К этому добавляется концепция новой семиотики – в отличие от традиционной, она называется «социальной» не потому, что она есть ответвление общей семиотики, а потому что она базируется на постулатах, каждый из которых прямо противоположен соссюрковским. Не-социальными семиотиками могут быть только биосистемы (например, геном), даже коммуникацию между двумя машинами авторы рассматривают как социальный процесс, поскольку они и их программы созданы людьми (Hodge, Kress 1988: 261). Основной вдохновившей авторов работой названа знаменитая книга Бахтина – Волошинова «Марксизм и философия языка» (Волошинов 1930). Также соавторы опираются на некоторые идеи Пирса о динамическом характере семиозиса – но делают это со значительными оговорками. Именно в

критике «лингвистического объективизма» Соссюра Ходж и Кресс видят основы новой семиотики³⁰. По мнению соавторов, идеи Бахтина – Волошинова по причине их марксистской ориентации, с одной стороны, не были восприняты западноевропейской и американской лингвистикой, с другой стороны, не обрели популярности и в сталинском Советском Союзе (Hodge, Kress 1988: 15). Книга Ходжа и Кресса представляет особый интерес также и с этой точки зрения: здесь высказывается предположение, какой могла бы быть семиотика в духе бахтинской, а не соссюровской традиции.

Основными положениями социальной семиотики становится все то, что Соссюром отрицается или признается несущественным, его теория именуется в книге «anti-guide» («анти-наставлением»; см. Hodge, Kress 1988: 18). Соавторы предлагают следующие основополагающие тезисы:

Основной объект семиотики – речь, а не язык.

Помимо естественного языка, необходимо наличие иных знаковых систем, не менее существенных для процесса коммуникации.

Диахрония и история, а не синхрония оказываются определяющими для описания характеристик знаковых систем.

Языковой знак в речи является мотивированным, а не условным.

Внешней лингвистике (социальные и культурные факторы) отдается предпочтение перед внутренней: приоритетной задачей признается описание не означаемых, а означающих.

Выявление соотнесенности между сигнификативными и референциальными аспектами семантики (см. Hodge, Kress 1988: 18).

Обоснованию этих положений служит анализ различных форм комбинации вербальных и невербальных кодов – это и современные масс-медиа, и классическая литература, и искусство Ренессанса и т. п. Столь разнородный материал призван показать универсаль-

³⁰ Примечательно, что вниманием соавторов оказались обойдены достаточно похожие идеи Бронислава Малиновского, который хоть и не полемизировал с Соссюром прямо, предложил достаточно острую критику «филологического» подхода.

ный характер предлагаемой авторами методики. Завершает книгу данное как приложение тезисное оформление основных принципов новой семиотики (на самом деле, главное в книге – это конкретные анализы, мало связанные с теоретическими постулатами).

Что касается дальнейшего развития социальной семиотики, то оно лишь частично основано на идеях книги «Social Semiotics». В первую очередь из поля зрения данной дисциплины оказались исключенными полемика с «традиционной» семиотикой и претензии объединить семиотику с направленным на выявление политических отношений критическим дискурс-анализом. В роли «классика» Бахтина – Волошинова заменяет Хэллидей, роль которого в формировании социальной семиотики с течением времени все более возрастает (см., например, ряд интервью, собранных в книге: Andersen et al. 2015); а пафос создания новой всеобъемлющей теории сменяется уточнением процедуры анализа мультимодальных текстов и умножением *case studies*³¹. Собственно социальные категории (власть, солидарность, контроль над контекстом, манипуляции посредством знаков и т. п.) заменяются образовательными задачами (мультимедийное обучение, эффективность коммуникации и т. п.).

Впоследствии и сам Кресс, говоря о книге «Social Semiotics», самым важным в ней считал только реинтерпретацию понятия знака:

When we wrote *Social Semiotics* (Hodge & Kress, 1988) we took the notion of agency, power and representation developed in the theory of Language as Ideology as the agency of anyone who makes any kind of sign. But this was more than just a choosing from existing resources; it was actively making signs <...>. I had written something in 1977 on the non-arbitrariness of signs, but it now became the idea that signs are made and motivated; so agency was in the making of signs. The sign and the meanings that a sign-maker makes are an expression of their

³¹ Если обратиться к вышедшей недавно «International Handbook of Semiotics», то можно заметить, что социальная семиотика, в отличие от других разделов науки о знаках, представлена в книге как анализ различных, не связанных между собой кейсов (см. Trifonas 2015: 1213–1224).

disposition, habitus, identity – of their interest. We applied that understanding to lots of things – sculptures, photographs, children’s drawings, pages from books, newspapers and so on. It was a social semiotics. Unlike existing semiotics which says signs are used – a notion take over from Saussure – we said signs are made and signs, therefore, are always newly made (Lindstrand 2008: 62–63).

Иными словами, знак – это ἐνέργεια, а не ἔργον в гумбольдтовском смысле. Или, говоря словами кэрролловского Шалтая-Болтая: «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше» (перевод Н. Демуровой; в оригинале «“When I use a word,” Humpty Dumpty said, ...“it means just what I choose it to mean – neither more nor less”»).

К сказанному следует добавить и другое положение: объект семиотики – это не знак, а семиозис: в формировании смысла принимает участие не только говорящий, но и слушающий. После книги Ходжа и Кресса, положения которой были дополнены модифицированной теорией мультимодального текста Хэллидея, социальная семиотика стала скорее прикладной, а не теоретической дисциплиной. Именно так, например, она трактуется в работах (van Leeuwen 2005) и (Bezemer, Jewitt 2009), где в систематизированном виде даны основные понятия и инструментарий, а «социальная семиотика» определяется не как теория, а «как изыскание» («enquiry»):

Social semiotics is not “pure” theory, not a self-contained field. It only comes into its own when it is applied to specific instances and specific problems, and it always requires immersing oneself not just in semiotic concepts and methods as such but also in some other field <...>. Social semiotics is a form of enquiry. It does not offer ready-made answers. It offers ideas for formulating questions and ways of searching for answers (van Leeuwen 2005: 2).

Из исследовательского аппарата социальной семиотики наиболее востребованной оказалась категория мультимодальности, что во многом объясняется развитием новых информационных технологий, кардинально изменивших характер коммуникации и понятие сообще-

ния (текста) (ср. Кресс 2016). Однако и эта категория стала трактоваться крайне узко. Первоначально модальность определялась как отношение текста к внетекстовой реальности, но не как объективное отношение, а как конструируемое и репрезентируемое знаком, текстом и жанром: «Modality refers to the status, authority and reliability of a message, to its ontological status, or to its value as truth or fact» (Hodge, Kress 1988: 124). Так, «истинность» определяется не как объективное отношение, а скорее как перформатив (вспомним отношение «истинности» в теории текста Лотмана – Пятигорского), она конструируется в процессе семиозиса:

A social semiotic theory of truth cannot claim to establish the absolute truth or untruth of representations. It can only show whether a given “proposition” (visual, verbal or otherwise) is represented as true or not. From the point of view of social semiotics, truth is a construct of semiosis, and as such the truth of a particular social group, arising from the values and beliefs of that group (Kress, van Leeuwen 1996: 154–155).

В этом смысле не только тексты, но и отображаемые ими «реальности» имеют автора.

В процессе анализа модальность (modality) сменяется модусом, который принято трактовать как «семиотический ресурс»: это знаковая система (или код), используемая коммуникантами для построения комплексного, или «мультимодального», сообщения, основанного на взаимодействии различных по характеру знаков (вербальных, иконических, музыкальных и т. п.):

Multimodality asserts that “language” is just one among the many resources for making meaning. That implies that the modal resources available in a culture need to be seen as one coherent, integral field, of – nevertheless distinct – resources for making meaning. The point of a multimodal approach is to get beyond approaches where mode was integrally linked, often in a mutually defining way, with a theory and a discipline (Kress 2011: 38).

A mode is often defined as a set of socially and culturally shaped resources for making meaning <...>. Multimodal research attends to the

interplay between modes to look at the specific work of each mode and how each mode interacts with and contributes to the others in the multimodal ensemble (Bezemer, Jewitt 2009: 5–6).

Описание мультимодальных взаимодействий становится, пожалуй, основным направлением социальной семиотики (см. Кресс 2016), и полученные результаты могут существенно уточнить и конкретизировать высказанные Лотманом идеи о тексте как о феномене, порождаемом посредством взаимодействия (перевода, трансформации, дополнения) между различными семиотическими системами (кодами, языками).

При всех достаточно значимых отличиях налицо некоторый параллелизм между двумя не зависимыми друг от друга линиями развития социальной семиотики. Это, в первую очередь, акцентирование динамического характера смыслообразования: в процессе коммуникации существенна не только передача информации, но и ее порождение. При этом не только автор, но и адресат участвует в процессе со-творения значения (ср. Лотман 1977б). Дальнейшее развитие этих идей приводит Лотмана к концепции текста как самовозрастающего Логоса.

Никак не декларируя разрыва с сосюринанской традицией, Лотман вместо изучения знаковых систем «в себе и для себя» предлагает совершенно иную перспективу рассмотрения. Можно указать на следующую точку соприкосновения лотмановских идей с изложенной выше концепцией Ходжа – Кресса: динамический характер (историческая динамика вместо застывшей синхронии), особая организация означаемых и их связь с внесемиотичным миром (связь сигнификативной и референциальной семантики). Достаточно близок к лотмановской проблематике и вопрос мультимодальности – у Лотмана он приобретает форму «многоязычия» текста и культуры (см. Лотман 1981а; 1992). Основанная на этих положениях программа «новой семиотики» в концентрированном виде представлена во введении к книге «Культура и взрыв»:

Коренными вопросами всякой семиотической системы являются, во-первых, отношение к вне-системе, к миру, лежащему за ее предела-

ми, и, во-вторых, отношение статики к динамике. Последний вопрос можно было бы сформулировать так: каким образом система, оставаясь собой, может развиваться <...>. Пространство, лежащее вне языка и за его пределами, попадает в область языка и превращается в «содержание» только как составной элемент дихотомии содержания-выражения. Говорить о невыраженном содержании – нонсенс. Таким образом, речь идет не об отношении содержания и выражения, а о противопоставлении области языка с его содержанием и выражением вне языка лежащему миру. Фактически этот вопрос сливается со второй проблемой: природой языковой динамики <...>. План содержания в том виде, в каком это понятие было введено Ф. де Соссюром, представляет собой конвенциональную реальность. Язык создает свой мир. Одновременно возникает вопрос о степени адекватности мира, создаваемого языком, и мира, существующего вне связи с языком, лежащего за его пределами <...>. Одним из центральных вопросов окажется вопрос перевода мира содержания системы (ее внутренней реальности) на внележащую, запредельную для языка реальность. Следствием будут два частных вопроса: 1. Необходимость более чем одного (минимально двух) языков для отражения запредельной реальности; 2. Необходимость того, чтобы пространство реальности не охватывалось ни одним языком в отдельности, а только их совокупностью <...>. Представление об оптимальности модели с одним предельно совершенным языком заменяется образом структуры с минимально двумя, а фактически с открытым списком разных языков, взаимно необходимых друг другу в силу неспособности каждого в отдельности выразить мир (Лотман 1992: 7–10).

В таком виде программа «новой семиотики» выглядит не только академичнее, но и убедительнее.

Социальная семиотика как семиотика социального действия (поведения)

Поведение как текст: социальная семиотика Московско-тартуской школы

Завершить эту главу мы намерены рассмотрением проблематики, которая не имеет аналогий в концепции Хэллидея – Кресса. Между тем именно она, на наш взгляд, должна составить концептуальную основу новой версии социальной семиотики, что позволит вывести ее из нынешнего застойного состояния. Речь идет об аспектах, связанных с семиотикой социального действия. Как видно из приведенной в начале настоящей статьи цитаты, для Лотмана социальная семиотика связана именно с поведенческими типами и структурами.

Такая трактовка поведения возникает еще в конце 1960-х годов, когда исследователи Московско-Тартуской школы начинают рассматривать поведение как текст, что хорошо соотносится с «текстоцентризмом» данного научного направления. Такой подход естественным образом в дальнейшем приводит к вопросу об описании, с одной стороны, его языка и грамматики, с другой – смысла. Впервые подобную постановку мы встречаем в статье Лотмана «К проблеме типологии культуры» (1967а) и в совместной работе А. М. Пятигорского и Б. А. Успенского (оба они впоследствии неоднократно выступали в качестве соавторов Лотмана; см. Пятигорский, Успенский 1967). Хотя последняя статья посвящена вопросам персонологии, психологическим типам личности, предлагаемая авторами типология основывалась на характере семиотизации или десемиотизации поведения, его осмысления и планирования:

Говоря о семиотичности поведения, мы можем иметь в виду, с одной стороны, порождение некоторого текста поведения, который выступает как знаковый по отношению к некоторому другому тексту, или, с другой стороны, осмысление каких-то явлений действительности

(вообще – явлений окружающего мира) как знаковых – в частности, как принадлежащих к некоторой условной знаковой системе или же соотносимых с некоторой иной действительностью, которая и обуславливает значение данных явлений (Пятигорский, Успенский 1967: 11).

Поведение рассматривается соавторами как следующее определенному порядку, если оно может быть преобразовано в текст:

Под *порядком* поведения понимается создание личностью текста своего поведения, либо текста текста и т. д. Иначе говоря, порядок поведения предполагает возможность описания наблюдателем такого поведения личности, которое включает в себя описание внешнее (актуализированный текст) либо внутреннее (текст сознания) своего поведения (Пятигорский, Успенский 1967: 28).

И. А. Чернов, не ограничиваясь констатацией того, что поведение можно рассматривать как текст, ставит вопрос о семиотических механизмах организации такого текста, их специфики:

Если поведение личности рассматривать как «говоренье» на разных языках, то кодом этих языков является механизм запретов. Правила кода определяют все нормированное поведение человека: код функционирует по принципу – «нельзя, ибо невозможно», норма употребления кода – «нельзя, хотя возможно». Правила кода регулируют поведение, реальные потенции человека (Чернов 1967: 45).

Десять лет спустя эти идеи были расширены и уточнены Черновым вместе с автором этих строк в работе, основанной на экспликации возможных аналогий между правилами поведения и правилами языка и метаязыками их описания (грамматиками). Грамматика запретов предполагает одновременное существование и грамматики норм:

В системе культуры функционируют многочисленные тексты, экстраполирующие и эксплицирующие компетенцию социума (система норм и запретов). Механизм, порождающий такие тексты, называем грамматикой. В принципе, возможно построение двух типов грамматик – нормоустанавливающих, функционально направленных на выполнение правил, и грамматик, ориентированных дисфункцио-

нально, описывающих поведение через нарушение правил. Эти два типа грамматик можно обозначить как грамматику норм и грамматику запретов (т. е. потенциальных нарушений), причем, в качестве регулирующей может быть выбрана любая из них; противонаправленной грамматике в этом случае будет приписана отрицательная ценность (Золян, Чернов 1977: 155).

Индивид рассматривается как владеющий несколькими языками поведения «полиглот», способный к усвоению новых языков, при этом разграничиваются глубинный и поверхностный уровни описания поведения. Принципиальный характер имело разграничение между собственно невербальным текстом поведения и его описанием, вербализованной рефлексией над поведением:

Рефлексия над поведением, как правило, имеет языковой характер и выражение. Реализации всех видов рефлексии в естественном языке мы будем называть метаязыками. Они представляют обобщение данной конкретной ситуации и связаны (достаточно часто имплицитно) с ее оценкой. Одним из важных свойств метаязыка в организации поведения является его способность позволять проигрывать ситуации в уме, производить «мысленные эксперименты», где метаязыковая репрезентация поведения рассматривается как реальное поведение, которое можно всесторонне описать (оценить) в рамках языка более высокого порядка. Метаязык, оказывается, таким образом, инструментом прогнозирования поведения (Золян, Чернов 1977:154).

Эта статья стала первой (и, как впоследствии оказалось, единственной) попыткой совмещения семиотической теории поведения с социологической – в данном случае с концепцией Бергера – Лукмана о конструируемом характере социальной реальности (1966; см. русский перевод: Бергер, Лукман 1995).

Указания на все эти работы имели целью продемонстрировать актуальность подобной проблематики для исследователей Московско-тартуской школы. Содержащиеся в них теоретические положения раз-

делялись Лотманом, хотя сам он в большей мере ориентировался не на язык и лингвистику, а на художественные тексты. К поведенческим текстам он приходит «от противного», рассматривая, каким образом тексты культуры (живопись, театр, литература) оказывают влияние на поведение. В ряде случаев поведение исторических лиц строится чуть ли не как цитирование художественных прототипов: не искусство подражает жизни, а наоборот (см., например, Лотман 1973б: 42–89). После этого вполне логичным оказывается рассмотрение и самого поведения как автономного текста. Как и в других случаях, Лотмана интересует прежде всего динамика его создания и становления:

Иерархия значимых элементов поведения складывается из последовательности: жест – поступок – поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом. В реальном поведении людей – сложном и управляемом многочисленными факторами – поведенческие тексты могут оставаться незаконченными, переходить в новые, переплетаться с параллельными. Но на уровне идеального осмысления человеком своего поведения они всегда образуют законченные и осмысленные сюжеты. Иначе целенаправленная деятельность человека была бы невозможна. Таким образом, каждому тексту поведения на уровне поступков соответствует определенная программа поведения на уровне намерений (Лотман 1975а: 38–39).

Лотман не останавливается на общих семиотических характеристиках поведения, хотя именно при помощи этих схем и понятий (таких, как текст, язык, код, уровни, оппозиции) он описывает их конкретные проявления. Ключевыми оказываются понятия, с одной стороны, «смысла» и «кодовых структур», а с другой – «нормы» и «узуса» (последнее можно описать и как различие между уровнем наблюдения (или самонаблюдения) и уровнем описания и (само-)описания, обрисованные Лотманом еще при первом подходе к проблеме:

Так, например, идеальные нормы поведения рыцаря и монаха в рамках средневековой культуры (для ее историка текстами будут и

реальные, графически зафиксированные памятники, и идеальные, реконструируемые нормы; вероятно, здесь будет иметь смысл говорить о текстах разных уровней) будут различными. Поведение их будет казаться осмысленным (мы будем понимать его «значение») только при применении особых для каждого кодовых структур (всякая попытка применить другой код представляет это поведение «бессмысленным», «абсурдным», «лишенным логики», т. е. не дешифрует его) (Лотман 1967а: 32).

В 1970-е годы следует целая серия лотмановских работ по поведению: «О Хлестакове», «Декабрист в повседневной жизни», «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века», «Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII века». В них явственно вырисовывается теория, хотя ее положения даны не как тезисы и дефиниции, а как обобщение рассмотренных случаев. Так, в этих статьях появляются, хотя и остаются без пояснений такие понятия, как «иерархия социальных норм», «социальный код», «правила поведения», «социальное поведение», «социальный сценарий». В присущей ему манере Лотман щедро разбрасывается терминологией – при том, что каждое из приведенных словосочетаний могло бы стать основой специального исследования. В лотмановском же научном творчестве вводимые термины совмещаются с тонким анализом конкретного историко-культурного материала. Именно этот анализ, а не теоретические построения приводит к выводу: поведение организуется не только как удачное или неудачное воспроизведение системных эталонных текстов; действует разветвленная система социальных регуляторов. Возникает диалог, который ведут между собой личность и общество, прибегая к различным языкам и создавая новые тексты, а также и различные интерпретации одних и тех же текстов:

...под воздействием исключительно сложных социально-исторических процессов складываются специфические формы исторического и социального поведения, эпохальные и социальные типы реакций, представления о правильных и неправильных, разрешенных и

недозволенных, ценных и не имеющих ценности поступках. Возникают такие регуляторы поведения, как стыд, страх, честь. К сознанию человека подключаются сложные этические, религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на фоне которых складывается психология группового поведения (Лотман 1975а: 25).

Сами по себе поступки индивида не образуют поведенческого текста, он рождается как результат своеобразного соавторства индивида и общества, вследствие которого поступки индивида начинают интерпретироваться в соответствии с действующими социальными кодами:

...практически для общества существуют совсем не все поступки индивида, а лишь те, которым в данной системе культуры приписывается некоторое общественное значение. Таким образом, общество, осмысляя поведение отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими социальными кодами. Одновременно личность как бы доорганизовывает себя, усваивая себе этот взгляд общества, и становится «типичнее» не только для наблюдателя, но и с позиции самого субъекта (Лотман 1975а: 26).

При этом возможны интерпретации, ориентированные на различные социальные коды и сценарии – как на принятые, так и нарушающие признанные нормы. С одной стороны, личное поведение может сливаться с тем амплуа, которое было задано жесткими социальными нормами:

То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по ту сторону семиотики. Человек, которого наблюдал Гоголь, был включен в сложную систему норм и правил. Сама жизнь реализовывалась, в значительной мере, как иерархия социальных норм <...>. В этом смысле сама действительность представляла как некоторая сцена, навязывающая человеку и амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был человек, тем ближе к социальному сценарию оказывалось его личное поведение (Лотман 1975б: 20).

В этом случае осмысление такого поведения как текста также

оказывается тривиальной операцией. С другой стороны, сложный и «многоязычный» характер социальной семиотики позволяет «недужинным» личностям варьировать различные роли, в том числе строя многозначные (амбивалентные) тексты, допускающие различные интерпретации, в том числе и зашифрованные, понятные только для «избранных» или «своих»:

...реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет – как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл (Лотман 1975а: 47).

Понятие смысла и здесь оказывается определяющим. Уже позднее, в предисловии к вышедшему в Польше сборнику статей по семиотике истории (1993), Лотман так обобщает цели и задачи изучения поведения:

Обращение к культуре как семиотическому объекту ставит исследователя перед исключительно сложной ситуацией: он изучает семиотические модели, определяющие круг представлений и действий людей в потоке их исторического существования. Культура в семиотическом аспекте предстает как некоторый континуум языков, которыми пользуется самосознающее мышление человека, а действия, как вербальные, так и совершаемые с помощью разнообразных поступков, могут быть истолкованы как тексты на некоторых языках. Понять смысл исторических поступков людей, их поведения и их сочинений означает овладеть языками их культур (Лотман 2008: 510).

Социальная семиотика как семиотика социального действия

Как видим, характеризуя культуру как семиотический объект, Лотман останавливается прежде всего на таких понятиях, как, с одной стороны, язык, смысл, текст, а с другой – поступки (действия) и поведение. «Язык культуры» связывается с пониманием смысла че-

ловеческих действий (акцентирование исторических аспектов в данном случае объясняется спецификой сборника работа Лотмана на польском языке; о его появлении см. Жилко 2008).

Возникает возможность построения такой теории социальной семиотики, в которой получило бы экспликацию соотношение между действиями и заложенными в них смыслами. Не столь важно, что Лотман и в данном случае выступает как семиотик культуры: объектом его теории является объяснение поведения. Но именно этот теоретический фокус мог бы составить трансдисциплинарное единство с так называемой «понимающей социологией» Макса Вебера и ее продолжением в работах Толкотта Парсонса и Никласа Лумана.

Напомним, что понятие «смысла» является основополагающим в социологической теории Вебера, а предмет социологии – понимание «смысла поведения»:

Социология <...> есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. «Действием» мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится к невмешательству или терпеливому принятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный *смысл*. «Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием *других* людей и ориентируется на него.

«Мотивом» называется некое смысловое единство, представляющее действующему лицу или наблюдателю достаточной причиной для определенного действия.

Следовательно, в науке, предметом которой является смысл поведения, «объяснить» означает постичь смысловую *связь*, в которую по своему субъективному смыслу входит доступное непосредственному пониманию действие (Вебер 1990: 611).

Уже в конце XX века понятие смысла и коммуникации становится

стержнем социологической концепции Никласа Лумана: «Общество – это система, конституирующая смысл» (Луман 2004: 54). Заметим, однако, что говоря о смысле, знаках и коммуникации, классики социологии не утруждали себя их анализом. Осмысленность поведения и коммуникации предстает у них как нечто данное и самоочевидное. Обращение к смысловым аспектам были произведено уже в несколько иной области, в философии языка – это теория перформативов и речевых актов Джона Остина (Austin 1962), затем – Джона Серля (1969; и особенно Searle 1995). Однако поведение в этих теориях ограничивается вербальными высказываниями, что, конечно же, ограничивает сферу их применимости. В социальной же семиотике связь с теоретической социологией практически отсутствует; заявленные исследовательские программы³² осталась лишь благим пожеланием.

Между тем, если воспользоваться определением социологии Вебера – Лумана, то можно увидеть основы трансдисциплинарного симбиоза вокруг изучения проблемы смыслов и их манифестации: предмет социологии – изучение самой системы «конституирования смыслов» и ее механизмов, тогда как изучение смыслов и их конструирования станет уделом лингвистической семантики, общей семиотики, семиотики культуры и социальной семиотики. Разумеется, здесь требуется как дифференциация, так и учет того, что между этими дисциплинами будет множество пересекающихся исследовательских сфер. В данном случае может оказаться плодотворной лотмановская концепция семиосферы, предполагающая взаимодействие и пересечение различных подобластей и языков (см. Лотман 1984).

Подход Лотмана к проблемам социальной семиотики представляет интерес не только как факт истории науки. Стоит напомнить слова Мандельштама из эссе «Слово и культура» (1921): «Часто при-

³² «The same applies to the “social” in “social semiotics”. It can only come into its own when social semiotics fully engages with social theory. This kind of interdisciplinarity is an absolutely essential feature of social semiotics» (Leeuwen 2005: 2).

ходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился» (Мандельштам 1987: 40–41). Совмещение исследовательских ипостасей историка русской культуры и семиотика-теоретика позволило Лотману наметить основные точки новой версии социальной семиотики, в которую, естественным образом оказались включены достижения предшественников, в том числе идеи Малиновского, а также Бахтина и его последователей. Однако лотмановское научное наследие может дать импульс принципиально новым трансдисциплинарным направлениям исследований, объектом которых будут не знаки и тексты, а действия и события, описываемые как обладающие социальным смыслом знаки, тексты и – добавим – коммуникативные акты.

Литература

1. Бергер Питер, Лукман Томас. *Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания*. Москва: Медиум, 1995.
2. Вебер Макс. «Основные социологические понятия». Вебер Макс. *Избранные произведения*. Москва: Прогресс, 1990: 602–643.
3. Волошинов В. Н. *Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке*. Издание 2-е. Ленинград: Прибой, 1930.
4. Ельмслев Луи. «Пролегомены к теории языка»[1943]. Звегинцев В. А. (ред.). *Новое в лингвистике*. Вып. 1. Москва: Издательство иностранной литературы, 1960: 264–389.
5. Гаврилова М. В. «Социальная семиотика: Теоретические основания и принципы анализа мультимодальных текстов». *Политическая наука* 3 (2016): 101–118.
6. Жилко Богуслав. «История одного текста Ю. М. Лотмана». *Sign Systems Studies* 36–2 (2008): 513–514.
7. Золян С. Т. «Между взрывом и застоём: пост-советская история как культурно-семиотическая проблема». *Логос* 9 (1999): 80–86.
8. Золян Сурен. «О непредсказуемости прошлого: Ю. М. Лотман об

истории и историках». Пильщикова И. А. (ред.). *Случайность и непредсказуемость в истории культуры: Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллинском университете*. Таллинн: Издательство ТЛУ, 2013: 31–77.

9. Золян Сурен. «Юрий Лотман о тексте: идеи, проблемы, перспективы». *Новое литературное обозрение* 139 (2016): 63–96.

10. Золян С. Т., Чернов И. А. «О структуре языка описания поведения». *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 411 (*Труды по знаковым системам VIII*). Тарту: ТГУ, 1977: 151–163.

11. Кресс Гюнтер. «Социальная семиотика и вызовы мультимодальности». *Политическая наука* 3 (2016): 77–100.

12. Лотман Ю. М. «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры». *Вопросы языкознания* 3 (1963): 44–52.

13. Лотман Ю. М. «К проблеме типологии культуры». *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 198 (*Труды по знаковым системам III*). Тарту: ТГУ, 1967[а]: 30–38.

14. Лотман Ю. «Литературоведение должно быть наукой». *Вопросы литературы* 1 (1967[б]): 90–100.

15. Лотман Ю. М. *Семиотика кино и проблемы киноэстетики*. Таллин: Ээсти раамат, 1973[а].

16. Лотман Ю. М. *Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы*. Вып. 2. Тарту: ТГУ, 1973[б].

17. Лотман Ю. М. «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)». Базанов В. Г., Вацура В. Э. (ред.). *Литературное наследие декабристов*. Ленинград: Наука, 1975[а]: 25–74.

18. Лотман Ю. М. «О Хлестакове». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 369. Тарту: ТГУ, 1975[б]: 19–53 (= *Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение*. Вып. XXVI).

19. Лотман Ю. М. «Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в.». Базанов В. Г. (ред.). *Культурное наследие древней Руси: Истоки. Становление. Традиции*. Москва: Наука, 1976: 292–297.

20. Лотман Ю. М. «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 411 (*Труды по знаковым системам VIII*). Тарту: ТГУ, 1977[а]: 65–69.

21. Лотман Ю. М. «Текст и структура аудитории». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 422 (*Труды по знаковым системам IX*). Тар-

ту: ТГУ, 1977[6]: 55–61.

22. Лотман Ю. М. «Семиотика культуры и понятие текста». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 515 (*Труды по знаковым системам*XII). Тарту: ТГУ, 1981[а]: 3–7.

23. Лотман Ю. М. «Текст в тексте». *Ученые записки Тартуского государственного университета*. Вып. 567 (*Труды по знаковым системам*XIV). Тарту: ТГУ, 1981[б]: 3–18.

24. Лотман Ю. М. 1984. «О семиосфере». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 641 (*Труды по знаковым системам*XVII). Тарту: ТГУ, 1984: 5–23.

25. Лотман Ю. М. *Культура и взрыв*. Москва: Гнозис, 1992.

26. Лотман Ю. М. *Непредсказуемые механизмы культуры*. Подготовка текста и примечания Т. Д. Кузовкиной при участии О. И. Утгоф. Таллинн: TLU Press, 2010.

27. Лотман Юрий. «Несколько вводных слов». *SignSystemsStudies* 36/2 (2008): 509–511.

28. Лотман Ю. М., Пятигорский А. М. «Текст и функция». Лотман Ю. М. (ред.). *III летняя школа по вторичным моделирующим системам: Тезисы: Кязэрику 10–20 мая 1968*. Тарту: ТГУ, 1968: 74–88.

29. Луман Никлас. *Общество как социальная система*. Перевод с немецкого А. Антоновского. Москва: Логос, 2004.

30. Малиновский Бронислав. «Проблема значения в примитивных языках» [1923]. Перевод с английского В. Н. Поруса. *Эпистемология и философия науки* V/3 (2005): 199–233.

31. Мандельштам О. «Слово и культура» [1921]. Мандельштам О. *Слово и культура: Статьи*. Составление П. Нерлера. Москва: Советский писатель, 1987: 39–43.

32. Пятигорский А. М., Успенский Б. А. «Персонологическая классификация как семиотическая система». *Ученые записки Тартуского гос. университета*. Вып. 198 (*Труды по знаковым системам* III). Тарту: ТГУ, 1967: 7–29.

33. Соссюр Фердинанд де. «Курс общей лингвистики». Перевод с французского А. М. Сухотина, переработанный А. А. Холодовичем. Соссюр Фердинанд де. *Труды по языкознанию*. Под редакцией А. А. Холодовича. Москва: Прогресс, 1977: 31–273.

34. Чернов И. А. «О семиотике запретов». *Ученые записки Тартуского*

зос. университета. Вып. 198 (Труды по знаковым системам III). Тарту: ТГУ, 1967: 45–60.

35. Andersen Thomas Hestbæk, Boeriis Morten, Maagerø Eva, Tønnessen Elise Seip. *Social Semiotics: Key Figures, New Directions*. London; New York: Routledge, 2015.

36. Austin John L. *How to Do Things With Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955*. Edited by J. O. Urmson and Marina Sbisa. Oxford: Clarendon, 1962.

37. Bezemer Jeff, Jewitt Carey. “Social Semiotics”. Östman Jan-Ola, Verschueren Jef, Versluys Eline (eds.). *Handbook of Pragmatics: 2009 Installment*. Amsterdam: John Benjamins, 2009: 1–13.

38. Copley Paul, Randviir Anti. *Introduction: What is sociosemiotics?* // *Semiotica* 173–1/4 , 2009: 1–39.

39. Halliday M. A. K. *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. Baltimore: University Park Press, 1978.

40. Halliday M. A. K. “Language as Social Semiotics: Towards a General Sociolinguistic Theory” [1975]. Halliday M. A. K. *Collected works*. Edited by Jonathan J. Webster. Vol. 10: Language and Society. London: Bloomsbury, 2009: 169–203.

41. Halliday M. A. K., Hasan Ruqaiya. *Cohesion in English*. London: Longman, 1976.

42. Hodge Bob (Robert). “Social Semiotics”. *Semiotics Encyclopedia Online*. Editor in chief Paul Bouissac <https://semioticon.com/seo/S/social_semiotics.html#> (датаобращения 03.09.2017).

43. Hodge Robert, Kress Gunther. *Language as Ideology*. London; Boston; Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979.

44. Hodge Robert, Kress Gunther. *Social Semiotics*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.

45. Kress Gunther. “Multimodal discourse analysis”. Gee James Paul, Handford Michael (eds.). *The Routledge Handbook of Discourse Analysis*. London; New York: Routledge, 2011: 35–50.

46. Kress Gunther, van Leeuwen Theo. *Reading Images: The Grammar of Visual Design*. London – New York: Routledge, 1996.

47. Leeuwen Theo van. *Introducing Social Semiotics*. London – New York: Routledge, 2005.

48. Lemke Jay L. "Towards a Social Semiotics of the Material Subject". Threadgold T. (ed.). *Working Papers*. Vol. 2: Sociosemiotics. Sydney: Sydney Association for Studies in Society and Culture, 1988: 1–17.
49. Lindstrand Fredrik. "Interview with Gunther Kress". *Designs for Learning* 1/2 (2008): 60–71.
50. Searle John R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
51. Searle John R. *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press, 1995.
52. Trifonas Peter Pericles (ed.). *International Handbook of Semiotics*. Dordrecht: Springer, 2015.

ЧАСТЬ 2

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРФОРМАТИВОВ

Этот раздел включает материалы исследовательского начинания, в основу которого был заложен образовательный проект 2016 года для студентов второго курса НИУ ВШЭ (руководитель М.В.Ильин). Этот учебный проект быстро перерос в более серьезное научное исследование, к нему присоединились отдельные магистранты и аспиранты НИУ ВШЭ. Он вышел и за пределы университета. Его внешним рецензентом стал Гюнтер Кресс, крупнейший исследователь социальной семиотики и основатель научного направления мультимодального анализа.

Несмотря на молодость основной части участников и относительно короткий срок реализации проекта были опробованы нетривиальные подходы к анализу перформативов и получены существенные научные результаты. Об этом в основных чертах говорится в заметке руководителя проекта М.В.Ильина. Кроме того, в рубрике публикуются три короткие статьи о перформативах сецессии оспариваемых государств (И.В.Фомин), об анализе начала Первой мировой войны (Е.А.Ефимова, Н.А.Конюхов, Д.А.Панфилов) и завершения Второй (Д.В.Алексеев, А.М.Ильин, М.В.Ильин).

М.В.Ильин

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ГОСУДАРСТВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРФОРМАТИВОВ

Михаил В. Ильин, Андрей М. Ильин

Вступление семиотиков, лингвистов и логиков, занимающихся перформативными высказываниями, в сферу политических исследований не только оправдано, но даже крайне необходимо. Признано, что функциональное предназначение политики состоит в целедостижении (goal-attainment). Она пронизана целенаправленным осуществлением человеческих устремлений и желаний, намерений и ожиданий людей. Политические действия заряжены смыслами от эмоциональных и волевых до интеллектуальных и рациональных. Эпизоды политики предстают как осмысленные дискурсы и отчетливо сопряжены с реализацией некоего замысла.

Действенность политики выражается в способности фактического самоосуществления того, что предписывается и утверждается в декларациях, приказах, резолюциях. Это перформативы (performatives) или такие речевые акты (speechacts), которые начинают самоосуществляться с момента своего провозглашения. Речевые акты подобного рода включают, например, оглашение брака или развода, декларация государственной независимости и т.п. Их впервые выделил по контрасту с констативами (constatives) – описаниями положения дел – великий британский философ Джон Лэнгшоу Остин³³. Название его замечательного труда «Как творить дела словами?» как нельзя лучше выражает смысл перформативности. Перформативы – своего рода квинтэссенция политического начала. Политологам пристало самым активным образом заниматься перформа-

³³J.L. Austin, *How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Ed. J.O. Urmson, Oxford: Clarendon Press 1962.

тивами, а лингвистам и логикам делиться своим опытом изучения перформативных высказываний (performativeutterances).

Что такое перфоматив?

Архетипический перформатив предельно ярок и очевиден. Его выражают слова Творца «Да будет свет!» –Fiatlux!– $\gamma\epsilon\nu\eta\theta\acute{\eta}\tau\omega\phi\acute{\omega}\varsigma$ – יְהיִ אֵר . Ближайший земной аналог – это учреждающий речевой акт, становящийся отправным моментом создания государств или иных политических образований и порядков. Это вполне естественно. Недаром Томас Гоббс называл государство, Левиафана то смертным божеством (mortalGod), торукотворным человеком (artificialman). Как и во всех прочих созданиях, в левиафанах-государствах заново и частично воспроизводится первоначальное сотворение мира.

Ясно, однако, что подобное сотворение не сводимо только к авторитетному слову, хотя сами понятия авторитета и авторитетности прямо содержат в себе указание на чудесный акт творения³⁴, а значит насыщены перформативностью. Всякий учреждающий речевой акт по определению авторитетен и действителен.

Подлинная действенность учреждающего речевого акта создается не только и не столько самими словами – какая бы сакральная сила ни приписывалась им, – а также сопутствующими действиями и высказываниями всех тех, кто оказался вовлечен в еще более масштабный коммуникативный акт учреждения нового политического образования. Иль даже в еще более масштабное историческое событие возникновение нового политического порядка или переутверждения старого.

Подобного рода подход к перформативамкак к масштабным, многообразным и многосоставным явлениям политики и жизни не

³⁴Э. Бенвенист, *Словарь индоевропейских социальных терминов*, Москва 1995, с. 329–330; М.В. Ильин, *Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий*, Москва: РОССПЭН 1997, с.203–210.

слишком типичен для научной литературы. Существует обширная литература по перформативным высказываниям, однако актам учреждения государств или еще более масштабным историческим и политическим событиям формирования новых политических порядков уделяется куда меньшее внимание. Иначе говоря, куда больше охотников проанализировать фразу Адама, обращенную к Еве – «Я беру тебя в жены!», – чем выяснить ее следствия в их совместной жизни и в конечном счете понять, что все их супружество стало большим перформативом, развернувшимся из одной фразы. Равным образом все развертывание вселенной после гипотетического Большого Взрыва становится продолжением, расширением и усложнением исходного перформативного акта творения, выраженного формулой «Да будет свет!».

Перформативы меняются и превращаются из первоначальных высказываний в масштабные свершения. Пристало, однако, начать их рассмотрение *ab ovo*, с самого простого и первоначального высказывания. Это к тому же и рационально. Как уже отмечалось, в логике и лингвистике существует обширная литература, связанная с анализом перформативных высказываний. Путем ее обобщения можно охарактеризовать так называемое эксплицитное перформативное высказывание³⁵. Для такого эксплицитного перформативного высказывания характерны:

- 1) *эквивалентность*, то есть равнозначность действию (ключевой признак перформативов);
- 2) *неверифицируемость*, то есть неприменимость к перформативам критериев истинности и ложности;
- 3) *логическая автореферентность* (перформативное выска-

³⁵В.В. Богданов, *Перформативное предложение и его парадигмы*, [в:] *Прагматические и семантические аспекты синтаксиса*, Калинин 1985, с. 19; В.В. Богданов, *Речевое общение: прагматические и семантические аспекты*, Ленинград 1990, с.59–61; М.Л. Макаров, *Основы теории дискурса*, Москва: Гнозис 2003, с.164–165.

зывание обращено само на себя);

4) *языковая автономинативность* (перформативный речевой акт фиксирует, «именует» сам себя);

5) *авторитетность*, то есть наличие у говорящего полномочий и возможностей осуществить декларируемое действие.

Кроме того, в чисто лингвистическом плане для перформативов характерна отчетливая *лексическая и грамматическая выраженность*. Это означает, что ключевой глагол перформатива должен предпочтительно стоять в первом лице – в идеале также единственного числа настоящего времени, а подлежащее, отправной актанта выражаться местоимением первого лица единственного числа или иным равнозначным дейктическим элементом.

Наконец, перформативам свойственна *эквитемпоральность*, что лингвистически предполагает совпадение времени перформативного глагола с моментом речи, а в более широком смысле целостность темпорального континуума действия-высказывания, совпадение момента и протяженности, Кайроса и Хроноса. Обзор всех этих свойств эксплицитного перформативного высказывания позволяет Михаилу Львовичу Макарову сделать вывод: «Перформатив, обладающий всеми перечисленными выше признаками, можно считать идеальной формой эксплицитного перформативного высказывания. Но такая форма довольно редко встречается в реальной практике языкового общения»³⁶.

Разумеется, имплицитные перформативные высказывания, перформативные высказывания в рамках не прямых речевых актов существенно отличаются от лингвистически «идеальных» перформативных конструкций. Контексты – как вертикальные, так и горизонтальные, фактура речи и ее модальности (письменная, звуковая, визуальная и т.п.), наконец, сами по себе действия людей, их перемещения, движения и прочие проявления деятельности получают

³⁶ М.Л. Макаров, *Основы теории дискурса*, Москва: Гнозис 2003, с.164.

смысловую нагрузку и в свою очередь включаются в производство смыслов, семиозис. Подобного рода расширение, выход за пределы высказывания не просто типичен для перформативов, но является проявлением перформативности.

Для лингвистов и логиков перформативное высказывание в центре, «само действие» всего лишь контекст. Однако иным будет восприятие политолога, экономиста или представителя иных социальных наук. Они поставят в центр само действие, а высказывание будут воспринимать как контекст, в лучшем случае как форму.

От высказываний к деяниям и от них к событиям

Что же взять за точку отсчета? Отдельное перформативное высказывание – Быть отныне Новому Левиафану в семье суверенных государств! И подставить Соединенные Штаты Америки, Королевство Бельгию, Финляндскую республику, государство Израиль или Ливийскую арабскую социалистическую джамахирию.

Или действительной точкой отсчета является само событие появления (зарождения, вынашивания, рождения) и вступления того или иного левиафана в сообщество подобных себе? Такое событие порой растягивается на годы. От созыва Первого Континентального конгресса в сентябре 1774 года до признания Великобританией независимости США в сентябре 1784 года прошло целое десятилетие. Почто столько же длительным оказался период между оперной революцией 25 августа 1830 года в Брюсселе и окончательное признание Нидерландами независимости королевства Бельгии в 1839 году. Впрочем, обретение независимости может занять считанные недели и дни, как это было в случае с Финляндской республикой. Как бы то ни было, само обретение независимости, отправной факт политической истории того или иного государства явно не сводится к провозглашению независимости в той или иной форме, в том или ином

месте, в тот или иной день и час. Чем же разъединяются и чем же соединяются словесные декларации независимости и ее фактическое утверждение? Чем они подобны друг другу и чем различны? Из одного ли момента или, лучше сказать, мгновения вырастает грандиозное событие? Или в этом событии можно найти множество моментов, какие-то из которых оказались по-своему решающими? Из Кайроса появляется Хронос? Или ли внутри себя Хронос находит Кайрос? Из единичного слова выстаивается высказывание? Или существование высказывания как фундаментальной единицы общения предполагает чисто «служебное» существование слов, морфем, фонем и т.п.?

Легко понять, что сами эти вопросы определяют различные ответы. Многое, если не все, зависит от подхода и исследовательских задач. Возможно, однако, осуществить комплексный подход и в его рамках последовательно или параллельно решать самые различные задачи. Именно такой подход был использован в рамках исследовательского проекта НИУ ВШЭ³⁷. Он позволил дифференцировать различные по масштабам перформативы от перформативных высказываний до перформативных событий, проследить их взаимное наложение, а также образование больших и обобщающих перформативов. Тем самым была преодолена характерная для логической и лингвистической литературы редукция перформативов к высказываниям. Однако при этом было установлено, что некоторые перформативные высказывания способные выступать в качестве отправного момента построения большого и обобщающего перформатива.

Пойдем, однако, по порядку и начнем с высказываний. Нередко считается, будто «речевой акт фактически не оправдывает претензий на статус «элементарной» или «минимальной» единицы общения — это все же «элементарная единица сообщения»³⁸, что «в его струк-

³⁷Мультиmodalный анализ политических перформативов, «Политическая наука», 2016, № 4.

³⁸Сусов И.П., *Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы*, [в:] *Прагматика и семантика синтаксических единиц*, Калинин 1984, с. 5.

туре не отражена специфика общения как взаимодействия, речевой акт по определению однонаправлен и изолирован»³⁹.

Конечно, радикальная «редукция до элементарности» имеет смысл только теоретический смысл. На практике и в эмпирических исследованиях всякий элемент обретает как внутреннюю структуру, так и связи с более широкими явлениями. Вся ядерная физика построена на движении внутрь атома как элементарной частицы и на изучении явлений ядерного распада и синтеза в масштабах, намного превосходящих масштаб одного атома, например, происходящих в звездах превращений, ядерных взрывов и т.п.

Редукция речевого акта к элементарному высказыванию была бы возвращением к доостиновским временам, а редукция перформативов к перформативным высказываниям – резким ограничением их фактического смысла и социальной значимости. Нельзя, конечно, недооценивать того, что уже сделано в изучении перформативных высказываний. Совершенное Дж.Остиным открытие нового предмета изучения – речевых актов и, в частности, перформативов стало крупнейшим вкладом в науку вообще и в семиотику в частности. Трудно переоценить это достижение британского философа и его последователей. Оно было столь масштабным, что даже очертить возможное поле изучения было крайне затруднительно. В силу данного обстоятельства и сам Остин, и его последователи вполне естественно сосредоточили внимание на логическом анализе единичных или даже элементарных перформативных высказываний (*performative utterances*). Неизбежным следствием стало то, что многие явления перформативности за пределами высказываний остались не только не изучены, но даже не замечены. Теперь настают времена приступить к восполнению данного пробела, точнее пробелов. Одним из весьма подходящих путей для этого является изучение того, в каких формах и масштабах осуществлялась независимость новых государств, как проявлялся перформа-

³⁹ М.Л. Макаров, *Основы теории дискурса*, Москва: Гнозис 2003, с. 170.

тивный потенциал высказываний и действий участников событий, как эти высказывания и действия, а также сами целостные исторические события связаны с ключевыми высказываниями или текстами типа деклараций независимости.

Для этого, однако, требуется вернуться к поставленной выше проблеме взаимодействия и взаимного включения различных по масштабу явлений перформативности. Трудность заключается в том, что обычно перформативы переплетаются с другими речевыми актами и действиями. К тому же перформативные высказывания в узком смысле или единичные реплики-действия изолируются с большим трудом, поскольку их границы условны, а фактическое развертывание зачатую растянуто и многоэтапно. Равным образом расплывчаты и условны границы перформативных действий и событий. Приходится учитывать, что в политической и, шире, жизненной практике перформативы различных масштабов, как правило, динамично развертываются, как в разных фактурах или модальностях речи (звуковой, визуальной, тактильной, мотильной и т.п.), так и во времени.

В случае провозглашения независимости нового государства перформатив не ограничен моментом произнесения текста декларации. Фактически перформатив начинается раньше, хотя бы в ходе подготовки данного текста, а нередко еще значительно ранее. Он также продолжается и после произнесения текста, например, в виде создания печатной версии текста, ее подписания, тиражирования, рассылки и, что особенно важно, получения подкрепляющих реакций в виде новых перформативов. Возникает как будто более широкий и длительный перформатив, однако это всего лишь расширение все то же исходного перформативного высказывания.

Можно ли считать данный расширившийся перформатив высказыванием? Для определенных целей его можно так охарактеризовать, но это будут весьма специфические цели и типы исследования. В подавляющем большинстве случаев ясно, что изменение охвата и масштаба перформатива изменяет и его характер. Это уже не выска-

зывание, а расширенный политический факт – провозглашение независимости. В политике и политической науке такие факты в силу их перформативности обычно именуют актами.

Однако и акт не остается предельным выражением перформатива. Ясно, что переход от момента принятия текста американской декларации независимости 4 июля 1776 года к расширенному политическому акту, охватившему период от мая (решение Континентального конгресса отказаться от верности Британской короне) до конца августа 1776 года (подписание делегатами Конгресса текста Декларации независимости), не привел еще к осуществлению независимости тринадцати колоний и превращению их в суверенные соединенные штаты. Понадобилось получить хотя бы молчаливое признание некоторых европейских держав и прямую поддержку Франции. Необходима была поддержка различных сегментов американских колонистов, победы в гражданской войне и в сражениях с английскими войсками, превращение их в иностранные вооруженные силы. Словом, независимость была обретена с завершением войны и заключением мира с Британией 3 сентября 1783 года. Такой масштабный перформатив равновелик историческому событию. Его пристало считать перформативным событием.

Как связать разные слои и масштабы перформативов, сохранив при этом их самостоятельность и своеобразие? За счет последовательного различения базовых разновидностей перформатива – перформативных высказываний (*performative utterances*), перформативных актов (*performative acts*) и перформативных событий (*performative events*). Они различаются только аналитически в основном по своему относительному масштабу. В политической и коммуникативной практике они связаны и перетекают друг в друга. Более того, многосоставные перформативы во всех своих масштабах соединяются с самими разнообразными речевыми актами, символическими действиями и, естественно, коммуникативными сигналами, включая и «пустые» сигналы поддержания каналов связи.

Подобная пестрота создает, естественно, немалые трудности. Однако аналитически работать с многосоставными и расплывчатыми феноменами большого и всеохватывающего перформатива помогает наша другая новация. Это модель вложенного перформатива (nested performative). Каким образом такие составные перформативы моделируются? Требуется выделить некое отправное перформативное высказывание (performative utterance). К нему добавляются реактивные и фоновые высказывания. В результате образуется перформативный акт (performative act) большего масштаба. К этому акту добавляются новые высказывания и действия, а также реактивные и фоновые акты. В результате создается перформативное событие (performative event), которое включает как перформативы меньшего масштаба, так и различного рода сопутствующие им результаты общего смыслообразования или семиозиса. Действительно, смысл крупных политических событий складывается постепенно, а его разворачивание представляет самостоятельный научный интерес.

Структуру вложенного перформатива, связь между различными масштабами, слоями и составными частями совокупного процесса политического семиозиса удобно представить с помощью так называемой воронки причинности⁴⁰, на основании которой участники проекта предложили новый инструмент – воронку перформативности⁴¹.

⁴⁰ См.: A. Campbell, Ph. Converse, W. Miller, D. Stokes, *American Voter*, New York: John Wiley & Sons 1960; А.Ю. Мельвиль, *Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты*, Москва: МОНФ 1999; А.Ю. Мельвиль, *Внешние и внутренние факторы демократических транзитов*, Москва: МОНФ 1999; *Лаборатория*, «Полис. Политические исследования», 2002, № 5; М.В. Ильин, *Воронка причинности. От эмпирической модели к формированию парадигмы многослойной причинности*, «МЕТОД. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин», Москва: РАН ИНИОН. Центр перспективных методологий социально-гуманитарных исследований 2015, Вып. 5: *Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении*, М.В. Ильин (ред.), с. 442–451.

⁴¹ См.: *Мультимодальный анализ политических перформативов*, «Политическая наука», 2016, № 4; М.В. Ильин, *Что может дать анализ перформативов?*, «Политическая наука», Москва 2016, № 4

Другой особенностью предложенной модели стало соединение устьями двух симметричных воронок. В данном случае развивались ранее выдвинутые в научной литературе предложения о модификации воронки причинности⁴². Что же помещается в общее «горлышко» двух воронок перформативности? Некий критический политический перформатив, например, момент произнесения и одобрения текста декларации независимости, выстрел Гаврилы Принципа 28 июня 1914, а также завещание и самоубийство Адольфа Гитлера 30 апреля 1945 года, пленение Наполеона III в Седане 2 сентября 1870 года и т.п. в этом случае данные элементарные («мгновенные») перформативы становятся завершением некоего накопления удачной (happy в терминологии Остина) и неудачной (unhappy в терминологии Остина) перформативности и совокупного политического смыслообразования, но одновременно началом новой воронки проявления перформативности и развертывание политического семиозиса.

Особенности политических перформативов

Для политики с ее соревновательностью и противоборством характерно столкновение перформативов и вообще агонический дискурс. Крайне редки случаи, когда бы перформативное высказывание плавно и без препятствий самоосуществилось в достаточно полном виде. Казалось бы, очевидные примеры подобного рода, связанные с учредительской деятельностью всевластных правителей, подходят лишь для узких контекстов и ограниченных временных континуумов. За их пределами они утрачивают очевидность и порой превращаются в примеры неудач и катастроф.

Специфика политических перформативов, впрочем, как и поли-

⁴²А.Ю. Мельвиль, *Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты*, Москва: МОНФ 1999; А.Ю. Мельвиль, *Внешние и внутренние факторы демократических транзитов*, Москва: МОНФ 1999.

тических дискурсов в целом, заключается в их ярко выраженной интерсубъективности. Они всегда комплексны. У них много авторов и соавторов. Даже в тех случаях, когда перформативное высказывание провозглашается одним лицом, данное лицо выступает, как правило, чьим-то представителем или выступает в роли коллективного институционального актора – главы государства, должностного лица и т.п.

Интерсубъектность перетекает в конфликт альтернативных или антагонистических перформативов и дискурсов. Противоборство воле, интересов, политических курсов (policies) и стратегических установок создает новые и неоднородные дискурсивные, политические и коммуникативные контексты. Происходит либо хаотическое столкновение несогласованных перформативов, либо прямая коллизия противоположных по целям и интенциям перформативов. В первом случае с высокой вероятностью, а в последнем – практически неизбежно отдельные перформативы не срабатывают.

Для политических процессов и дискурсов крайне важна оценка значимости и эффективности их ключевых моментов или узлов сетей свершения действий. При этом значима – и политически, и семиотически – не только эффектов причинения тех или иных следствий, но и оценка их как перформативно удачных (функциональных, эффективных, happy) и неудачных (дисфункциональных, неэффективных, unhappy).

Различение удачных и неудачных (дисфункциональных) перформативов имеет принципиальный характер. Жизнь дает немало примеров несработавших перформативов. Достаточно вспомнить о таком амбициозном и масштабном перформативе, как попытка германских нацистов и из фюрера утвердить тысячелетнее мировое господство Третьего Рейха. Однако куда яснее и убедительнее кажется мне вымышленный литературный пример, который звучит в полном смысле архетипически. Это провалившийся перформатив, описанный «со стороны», как констатив американским поэтом Карлом Сэндбергом – «Они объявят войну, а никто не придет». Строго гово-

ря роль мудреца, формулирующего эту идеальную формулу, Карл Сэндберг дает безымянной маленькой девочке:

The little girl saw her first troop parade and asked,

„What are those?“

Soldiers.”

„What are soldiers?“

„They are for war. They fight and each tries to kill as many of the other side as he can.”

The girl held still and studied.

„Do you know ... I know something?“

„Yes, what is it you know?“

„Sometime they'll give a war and nobody will come”

Carl Sandburg

„The People, Yes” (1936)

Успех или неуспех перформативов зависит от взаимодействия людей, от их способности и готовности играть и подыгрывать друг другу. Результатом становится общий перформанс, игра. Именно такой перформанс делает нас людьми играющими, а нашу игру – подлинной и осмысленной действительностью. В конечном счете от успеха того или иного перформатива зависит судьба важнейших политических проектов, например, быть или не быть на карте мира тому или иному государству. Результат зависит от того, как и что наполнитполитическое и семиотическое пространство между исходным перформативным высказыванием и предельным раскрытием соответствующего перформативного события. И тут возможны различные варианты и типы учреждения новых государств. Рассмотрим важнейшие.

Варианты и типы учреждения новых государств

Успех или неудача в учреждении нового государства зависит не только от внутренней структуры развертывания большого или включенного перформатива, но и от общей смысловой рамки политического события. Именно тут политическая и семиотическая перспективы взаимно поддерживают и обогащают друг друга. Именно смысловая рамка политического замысла (сознательного, или непреднамеренного, или даже высшего, внечеловеческого замысла⁴³) во многом предопределяет типы и варианты возникновения государств, а также заметно влияет на удачность развертывания соответствующих перформативов.

Общая смысловая рамка учреждения нового государства существенно зависит от того, учреждается ли государство заново или происходит его восстановление его вновь, так сказать, переустройство – пусть даже с большим временным разрывом, в совершенно новых условиях и формах. Второй ключевой параметр задается тем, что лежит в основе проекта – сознательный замысел определенных политических сил или давление обстоятельств. Разумеется, это все чисто аналитические параметры. На практике аналитические континуумы между полюсами учреждения и переустройства, а также преднамеренностью замысла и давлением обстоятельств заполняются где-то в промежутке между ними. Однако в большинстве случаев можно либо зафиксировать тяготение к тому или иному полюсу, либо тренды колебаний между полюсами.

Кроме того, уже помимо привходящих параметров есть и внутренняя логика развертывания перформатива создания нового государства. Ее задает конфигурация двойной воронки причинения – по-

⁴³ Ср. афористичную формулировку В.С.Соловьева: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности» (Соловьев В. Русская идея. Пер. с фр. .А.Рачинского. М.: товарищество типографии А.И.Мамонтова, 1911, с.3). Во французском оригинале - "l'idée d'une nation n'est pas ce qu'elle pense d'elle-même dans le temps, mais ce que Dieu pense sur elle dans l'éternité» (Soloviev V. L'Idée russe. P. : Perrin et C^e, 1888, p. 5).

рождения, которая подкрепляет и уточняет общий замысел или вступает с ним в конфликт и подрывает его. В наиболее прозрачных случаях создание новых государств получает перформативное выражение в виде деклараций независимости или аналогичных текстов, а фактически речевых актов. Именно они располагаются в совместном горлышке двойной воронки. Однако случается, что горлышко как бы исчезает, а воронки прихотливо перекрывают друг друга. В этих случаях актерам приходится искать, находить и использовать перформативные высказывания разного рода, которые можно использовать как ключевой перформатив, его функциональный эквивалент. Порой новая нация может достичь формального соглашения, что же является таким перформативом и утвердить его в виде альтернативной декларации. В случае, например, с королевством Бельгия довольно долго отсутствовала общепризнанная точка отсчета национальной независимости пока 27 мая 1890 годане было принято законодательное решение объявить Днем независимости 21 июля. В этот день в 1831 году на престол вступил приглашенный и принятый король Леопольд, который тем самым «заявил» и о создании короны, и самого бельгийского государства.

Эмпирические исследования отдельных казусов показывают, что у каждого есть свой паттерн, своя конфигурация соотношения показателей учреждения заново – воссоздания вновь и преднамеренности, интенциональности–вынужденности, оппортунизма, а также наличия ключевого перформатива в виде соответствующей декларации, или ее замены, или возможных замен.

Паттерны можно условно кодировать показателями по каждой из шкал. Шкала учреждения–переучреждения будет выглядеть так: E (эксплицитное учреждение, explicitestablishment) – e (имплицитное учреждение, implicitestablishment) – 0 (неясность, нерелевантность) – r (имплицитное переучреждение, implicitre-establishment) – R (эксплицитное переучреждение, explicitre-establishment).

Вторая шкала, связанная с политическим замыслом, а именно

преднамеренности–вынужденности будет выглядеть следующим образом: I (эксплицитная интенциональность, explicitintentionality) – i (имплицитная интенциональность, implicitintentionality) – O (неясность, нерелевантность) – o (имплицитный оппортунизм, implicitopportunism) – O (эксплицитный оппортунизм, explicitopportunism).

Наконец, третья шкала наличия – отсутствия ключевого перформативного высказывания, провозглашения государства получит следующий вид: D (прямая декларация, straightforwarddeclaration) – d (функциональный эквивалент или эквиваленты декларации, functionalequivalentofthedeclaration) – O (неясность, нерелевантность) – a (функциональный эквивалент или эквиваленты альтернативного перформатива) – A (прямой альтернативный перформатив).

Шкалы можно также расположить в трехмерном пространстве трех соответствующих измерений.

Рассмотрим несколько достаточно ярких или своеобразных примеров учреждения государств как с точки зрения общего замысла (шкалы E – R и I – O), так и конфигурации двойной воронки, в горлышке которой находится или отсутствует единый ключевой перформатив декларации независимости или учреждения государства (шкала D – A). Самым простым, точнее, нормативно очевидным типом будет EID. Самым проблематичным, по крайней мере с точки зрения нормативных теорий будет ROA. Остальные варианты покажут разнообразие возможных паттернов и вариативность отклонения от нормативных требований.

Одним из наиболее близких к идеальному, нормативно убедительному паттерну (EID) является **казус создания Соединенных Штатов Америки**. Здесь налицо высокая степень интенциональности. Еще в колониальные времена сформировался политический класс со своими проектами конституционных преобразований от мягких, касающихся консолидации общего колониального и его рационализации, до более радикальных и затрагивающих отношения с метрополией. При всем проявлении спонтанных кризисных тенденций и готовности оппорту-

нистически их учитывать изначально интенсиональность оставалась неизбежной и действенной, только радикализовалась.

Сложнее выглядит ситуация с учреждением нового государства. Хотя такое учреждение стало вполне эксплицитным фактом, в самой Декларации независимости и во многих других документах учреждение дублируется и подкрепляется переучреждением исходного британского конституционного порядка. Эта особенность американского казуса сообщила ему двойную основательность: учреждалось государство, но его конституция в самом широком смысле воссоздавалась, рассматривалась как нечто более фундаментальное, чем само государство, становясь тем самым «извечной», неизбежной.

Столь же бесспорна значимость Декларации независимости Континентальным конгрессом от 4 июня 1776 года. Этот документ можно считать архетипическим не только в силу качества самого ее текста или важности исторического прецедента, но и благодаря его успешности и отчетливой связи с общим политическим процессом. Декларация четко расположена в горлышке двойной воронки и эффективно обеспечивает связь между причинением и порождением событий и действий учреждения и создания нового государства.

К числу наиболее проблематичных казусов относится **создание Турецкой республики** после Первой мировой войны. Оно произошло в ситуации, когда султан и халиф Мехмед VI и его правительство сохранили лишь видимость существования, практически прекратив свое функционирование. В ноябре 1918 года Стамбул был оккупирован Антантой. Фактически капитулировавшие власти лишь номинально продолжали свое существование.

Ни одна из политических сил от консервативных до реформаторских не могла и подумать о подобном конце Османской империи. Никаких программ и даже простейших идей восстановления государственной власти не существовало. Лишь в ответ на оккупацию Грецией в мае 1919 года Измира консолидировались очаги сопротивления, так называемые национальные силы или кива-и-милие. Возникло

формально двоевластие, а фактически война, которую можно охарактеризовать и как освободительную, и как гражданскую, поскольку национальным силам противостояли силы порядка или кива-и-инзибатие. Впрочем, фактически основная борьба разгорелась между турецкой армией и армиями Армении на востоке и Греции на западе.

Весьма показательно, что при всех своих успехах силы национального сопротивления скорее формировали прагматическую альтернативу стамбульскому призраку правительства, чем государству даже в его дискредитированной форме султаната и халифата. Политические перформативы осуществлялись не в виде деклараций, а боевых приказов и административных распоряжений.

Ситуация обострилась в связи со вступлением весной 1920 года в заключительную фазу процесса формального завершения войны между Антантой и султанским правительством. Это грозило окончательным международно-правовым закреплением раздела остатков Османской империи, включая территорию Малой Азии. В этих условиях 16 марта 1920 года был распущен старый имперский парламент – последний институт, который хоть как-то символизировал потенциальное сохранение государственности и мог бы отказаться ратифицировать фатальные договоры. В противовес этому начинается создание альтернативного парламента. Стамбульское правительство лихорадочно публикует перформативные высказывания, включая, например, указ 18 апреля о создании армии халифата. Через пять дней из Анкары следует ответный перформатив. Там 23 апреля открывает свою первую сессию Великое Национальное Собрание Турции. Действуя на опережение, Анкара объявляет 7 июня 1920 года все договоры Османской империи недействительными. Однако в Севре 10 августа марионеточное стамбульское правительство и страны Антанты подписывают договор, который узаконивал бы этот раздел страны.

Боевые и политические перформативы-действия срывают раздел. К осени 1922 года иностранные державы вынуждены вступить в прямой диалог с Анкарой. В городе Муданья на Мраморном море 11

октября Великобритания, Франция и Италия подписывают перемирие с фактическим правительством еще формально не завершившей свое учреждение Турции, а еще через три дня к перемирию присоединяется и Греция.

Фактически признанное правительство еще не существующего формально государства действует от имени народа и страны Турции. Эти новые семиотические создания становятся все более мощными опорами для политических сил, которые их представили (*imagined*), чтобы затем представлять (*represent*).

Уничтожаются помехи для консолидации новой Турции – и государства, и нации. Чтобы облегчить превращение воображаемых, но фактически, неформально действенных институтов в формально закрепленные ликвидируются институты прежней государственности: 1 ноября 1922 года был ликвидирован султанат, а 3 марта 1924 года халифат. В промежутке 29 октября 1923 года провозглашается создание Турецкой республики.

Республика создана. Однако она во многом по-прежнему остается всего лишь одним из инструментов фактической консолидации власти в руках режима освобождения и лично Мустафы Кемалю. Только к началу 30 годов окончательно формируется кемалистская программа шести стрел, которую можно считать концептуальной основой новой турецкой государственности.

Даже беглое перечисление основных фактов показывает, что создание Турецкой республики протекало в условиях прагматического и тем самым оппортунистического реагирования на вызовы кризиса. Вопрос об учреждении или переучреждении государства долго оставался открытым. Лишь стечение обстоятельств заставило провозгласить республику, а обоснование республиканизма осуществлять постфактум. Двойная воронка перформативности оказалась причудливо смята наложением двух ее частей друг на друга и исчезновением горлышка. В целом турецкий паттерн может быть представлен в виде формулы 000. Его характеризует оппортунизм и

«безразличие» к учреждению государства и его декларированию, «откладывание» государственного строительства и обоснования государственной формы на потом.

Любопытной параллелью является другой пост-османский пример – **провозглашение независимости Албании**. Это перформативное высказывание прозвучало 28 ноября 1912 года с балкона здания в городе Влёре, где проходило собрание видных представителей албанского населения османских владений на Адриатике. Это собрание, объявленное впоследствии Всеалбанским конгрессом, проходило в разгар Первой Балканской войны, когда северный Эпир и прилегающие территории оказались оторваны от Османской империи и встал вопрос об их судьбе. Перформатив сохранился в виде протокольной записи: «Во Влёре 15 / 28 ноября 1912 года под председательством Исмаила Кемалы Бей им было заявлено об обрушившихся на Албанию великих бедствиях, и делегаты единодушно решили, что Албания с сегодняшнего дня будет сама по себе, свободна и независима»⁴⁴.

Как нетрудно заметить, никакой речи об учреждении или переустройстве албанского государства и государственности не идет. Албания воспринимается как вневременное, извечное мистическое тело (*corpus mysticum* в терминологии великого юриста Бартоло де Сассоферато). Данный перформатив и последующие исключительно прагматичны и оппортунистичны, как и турецком случае. В результате получается очень сходный с турецким паттерн со сходной, хотя и отличной формулой ООа, поскольку практически каждый властный режим переустройдал под себя и свои устремления государство и его форму при сохранении мистического тела извечной Албании. Не закончен этот процесс и по сей день.

Весьма показателен уже упоминавшийся **бельгийский казус**.

⁴⁴Pollo, Stefanaq; Selami Pulaha. "175". *Akte të rilindjes kombëtare shqiptare 1878-1912 (Memorandume, vendime, protesta, thirrje)*. Tirana: Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë. 1978, p. 261.

Как уже отмечалось, тут нет документа, подобного американской декларации независимости. Однако есть с полдюжины весьма различных речевых актов от формальных законодательных решений до весьма неожиданных и спорных, из числа которых приходилось выбирать национальный день законодателям в мае 1890 года.

Наиболее ярким, пожалуй, был «оперный» речевой акт, с которого, собственно, все и началось. Это были спонтанные действия и пение зрителей оперы «Немая из Портичи» вечером 25 августа 1830 года. Они положили начало так называемой оперной революции. Однако речи о независимости еще не было. Требования сводились к отставке министра ван Маанена. Через три дня в Брюсселе был поднят флаг, ставший впоследствии государственным. Однако требования дошли лишь разделения Бельгии и Нидерландов в фискальном и административном отношении. Еще через месяц в ходе четырехдневных боев введенная в Брюссель правительственная армия была выбита из города.

Созданный в самом начале брюссельских боев 23 сентября комитет провозгласил независимость бельгийских провинций только 4 октября, а еще через два дня назначил комиссию по созданию конституции и администрации страны. К концу октября ополчение освободило уже всю территорию Бельгии, а 3 ноября были проведены выборы в Национальный конгресс. Затем последовала целая череда важнейших политических актов, связанных с созданием государственных институтов. В их числе и уже упомянутое вступление Леопольда I на престол.

Весьма интересны примеры создания **трех европейских государств-империй** в позапрошлом веке: дуалистической Австро-Венгрии, королевства Италия и второй Германской империи. Для всех этих случаев характерна ярко выраженная двусмысленность и притворное сочетание оппортунизма с интенциональностью, а также учреждения заново с переучреждением. Двойные воронки деформированы и надвинут друг на друга, хотя порой отдельные моменты мо-

гут претендовать на роль своего рода ключевых перформативов, например, провозглашение Германской империи 18 января 1871 года в Зеркальной галерее Версаля.

Существует немало других типичных паттернов или характерных особенностей различных групп стран. Так, многим постсоветским политикам свойственны повторные декларации независимости или суверенитета. В некоторых случаях, например, Нагорного Карабаха или Приднестровья подобные декларации или их функциональные эквиваленты, да еще и подкрепленные референдумами многочисленны.

Изучение этих и подобных казусов создания новых государств, структуры вложенных перформативов такого создания, ключевых перформативных высказываний находится только в самом начале. Однако уже полученные результаты весьма содержательны. Остается надеяться, что к подобного рода исследованиям присоединятся коллеги различных специальностей и отраслей знания.

Библиография

1. Austin J.L., *How to Do Things with Words. The William James Lectures Delivered at Harvard University in 1955*, Ed. J. O. Urmson, Oxford: Clarendon Press 1962.
2. Campbell A., Converse Ph., Miller W., Stokes D., *American Voter*, New York: John Wiley & Sons 1960.
3. Benveniste E. *Le vocabulaire des institutions indo-européennes*. 2 vols. P.: Les Éditions de Minuit. 1969
4. Pollo, Stefanaq; Selami Pulaha. "175". *Akte të rilindjes kombëtare shqiptare 1878-1912 (Memorandume, vendime, protesta, thirrje)*. Tirana: Akademia e Shkencave të RPS të Shqipërisë. 1978.
5. Soloviev V. *L'Idée russe*. P. : PerrinetCie, 1888
6. Бенвенист Э., *Словарь индоевропейских социальных терминов*, Москва 1995.
7. Богданов В.В., *Перформативное предложение и его парадигмы, [в:] Прагматические и семантические аспекты синтаксиса*, Калинин 1985, с. 18–28.

8. Богданов В.В., *Речевое общение: прагматические и семантические аспекты*, Ленинград 1990.
9. Ильин М.В., *Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий*, Москва: РОССПЭН 1997.
10. Ильин М.В., *Воронка причинности. От эмпирической модели к формированию парадигм многослойной причинности*, «МЕТОД. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин», Москва: РАН ИНИОН. Центр перспективных методологий социально-гуманитарных исследований 2015, Вып. 5: *Методы изучения взаимозависимостей в обществоведении*, М.В. Ильин (ред.), с. 442–451.
11. Ильин М.В., *Что может дать анализ перформативов?*, «Политическая наука», Москва 2016, № 4 (в печати).
12. *Лаборатория*. (Рубрика о «воронке причинности» с введением от редакции и статьями Е.Ю.Мелешкиной, А.Ю. Мельвиля и М.М. Лебедевой), «Полис. Политические исследования», 2002, № 5.
13. Макаров М.Л., *Основы теории дискурса*, Москва: Гнозис 2003.
14. Мельвиль А.Ю., *Методология воронки причинности как промежуточный синтез структуры и агента в анализе демократических транзитов*, «Полис», 2002, №5, с. 54–58.
15. Мельвиль А.Ю., *Сергеев В.М. От метафоры к объяснительной модели: волны демократизации и воронка причинности*, [в:] *Принципы и направления политических исследований. Сборник материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН*, Москва 2001, с. 263–267.
16. Мельвиль А.Ю., *Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты*, Москва: МОНФ 1999.
17. Мельвиль А.Ю., *Внешние и внутренние факторы демократических транзитов*, Москва: МОНФ 1999.
18. *Мультимодальный анализ политических перформативов*, «Политическая наука», 2016, № 4.
19. Остин Дж.Л., *Слово как действие*, «Новое в зарубежной лингвистике», Вып. 17: *Теория речевых актов*, Москва 1986, с. 22–130.
20. Соловьев В. Русская идея. Пер. с фр. Г.А.Рачинского. М.: товарищество типографии А.И.Мамонтова, 1911.
21. Сусов И.П., *Коммуникативно-прагматическая лингвистика и ее единицы*, [в:] *Прагматика и семантика синтаксических единиц*, Калинин 1984, с. 3–12.

ПЕРФОРМАТИВЫ ОСПАРИВАЕМЫХ СЕЦЕССИЙ: ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, АБХАЗИЯ, КОСОВО

Фомин И.В.

В современной политической науке много внимания уделяется исследовательской проблематизации различных аспектов государственности и суверенитета. Обсуждаются вопросы о возможностях уточнения и операционализации таких категорий, как государственная статусность, государственная состоятельность и эффективность государства [Nettl, 1968; The formation... 1975; Krasner, 1999; Суверенитет... 2008; Асимметрия... 2011; Мелешкина, 2011; Мельвиль, 2012 и др.]. Рассматриваются вопросы о том, каковы механизмы закрепления за государствами определенного статуса (великой державы, региональной державы и т.п.) [Major Powers... 2011; Volgy, Mayhall, 1995 и др.]. Изучаются коммуникативные аспекты формирования и бытования наций [Anderson, 1991; Fox, 2008; Krzyżanowski, 2010; Wodak, 2015 и др.]. Представленное в настоящей статье исследование во многом может рассматриваться как продолжение указанных исследовательских направлений. Его особенностью, однако, является использование несколько непривычного для магистральной политической науки, но, как можно надеяться, перспективного подхода к исследованию социальной действительности — мультимодального перформативного анализа.

В предметном плане настоящая статья посвящена изучению актов сецессии трех государств: Абхазии, Косова и Южной Осетии. Во многих отношениях эти кейсы сходны. Во всех трех случаях речь идет о спорных государствах, возникших в 1990-х годах на обломках социалистических империй и ставших эпицентрами вооруженных конфликтов. Кроме того, во всех трех ситуациях существенный вклад в прекращение острой фазы конфликтов внесла третья сила:

Россия — в случаях Абхазии и Южной Осетии, и НАТО — в случае Косова. В 2008 г. все три государственных образования получили частичное признание. Признанию Косова предшествовало повторное провозглашение независимости в феврале 2008 г., признанию Южной Осетии и Абхазии — повторное обострение вооруженных конфликтов. На сегодняшний день Косово признано 108 государствами-членами ООН, Южная Осетия — 4, Абхазия — 5. Однако даже при таком существенном количественном разрыве, все три политики находятся в сходном положении с той точки зрения, что имеют государство-патрон, способное предоставлять необходимые политические, экономические, военные и культурные ресурсы: Косово поддерживают большинство членов ЕС и США, Абхазию и Южную Осетию – Россия [Мелешкина, Кудряшова, 2015].

Возможности перформативного анализа

Исследуя казусы Абхазии, Косова и Южной Осетии, мы предпримем попытку рассмотреть их акты сецессии в качестве политических *перформативов*, то есть коммуникативных высказываний, которые сами по себе являются действиями [Austin, 1986; Остин, 1962; Ильин, б.г.]. Обращаясь к изучению трех указанных выше случаев сецессии, мы ставим перед собой задачу определить оспариваемую сецессию как один из типовых перформативных политических сценариев, описав ее через инвариантный набор перформативных актов.

Если вести речь о сецессиях Южной Осетии, Абхазии и Косова как об отдельных речевых актах перформативного характера (декларациях независимости), то в качестве таковых можно рассматривать целый ряд текстов, которые появлялись при разных обстоятельствах и в разные моменты времени. Так, например, для Южной Осетии новейшую историю попыток сецессии можно рассматривать начиная с 10 ноября 1989 г., когда Совет народных депутатов Юго-Осетинской ав-

тономной области принял решение о преобразовании региона в автономную республику. Через год за этим последовало провозглашение Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР. А 21 декабря 1991 г., в день подписания Алма-атинской декларации, Верховный Совет Южной Осетии принял Декларацию о независимости республики. После чего, в начале 1992 г. состоялся референдум, в ходе которого свыше 98% принявших участие в голосовании высказались в поддержку независимости, и 29 мая Верховный Совет республики принял документ, закрепляющий этот статус — Акт о государственной независимости [Конфликты... 2008].

В случае Абхазии можно проследить похожий процесс, взяв в качестве начальной точки 18 марта 1989 г., когда в деревне Лыхны на 30-тысячном сходе абхазского народа было выдвинуто предложение о выходе Абхазии из состава Грузии и восстановлении ее в статусе союзной республики. Через полтора года, в августе 1990 г., Верховный Совет Абхазии принял Декларацию о суверенитете Абхазской АССР, а 23 июля 1992 г. — постановление о прекращении действия конституции Абхазии 1978 г. и введении в действие конституции 1925 г., фиксирующей договорные отношения между Абхазией и Грузией. В 1999 г., после состоявшегося в республике референдума по вопросу об отношении к новой, принятой в 1994 г. конституции, был обнародован документ под названием «Акт о государственной независимости Республики Абхазия», закреплявший статус республики как самостоятельного государства [Конфликты... 2008].

В случае Косова мы также можем обратить внимание на несколько заявлений, претендующих на роль вербального перформатива сецессии. Заявление о провозглашении Республики Косово в составе Югославии было принято албанскими членами краевой ассамблеи Косова 2 июля 1990 г. А через год, после прошедшего «подпольного» равендука, состоялось провозглашение Республики Косово в качестве независимого государства и признание его Албанией. Состоявшееся же 17 февраля 2008 г. провозглашение независимости

Косова было, таким образом, уже повторным декларирования независимости [Elsie, 2010].

Как можно понять из представленных выше перечислений, политические перформативы имеют своеобразный характер: они не свершаются моментально (в отличие от актов божественного творения), а осуществляются как серии попыток свершения — удачных или неудачных (happy или unhappy в терминологии Дж. Остина) [Austin, 1974, p. 12-24]. При этом для удачности перформатива, по Остину, требуется соблюдение 6 условий:

1. Должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенный конвенциональный эффект. Такая процедура должна включать использование определенных выражений при определенных обстоятельствах.

2. Определенные лица и обстоятельства должны быть подходящими для обращения (appropriate for the invocation) к такой процедуре.

3. Процедура должна осуществляться всеми ее участниками корректно.

4. Процедура должна осуществляться полностью.

5. Если процедура предназначена для использования определенными людьми, обладающими определенными мыслями или чувствами и является началом определенного последующего поведения ее участников, тогда лицо, участвующее в процедуре и, таким образом, обращающееся к ней, должно фактически обладать соответствующими мыслями и чувствами, а участники — иметь намерения применительно к соответствующему определенному поведению.

6. Участники должны впоследствии действительно должны проявлять определенное поведение. [Austin, 1974, p. 14-15]

В случае с политической действительностью вступающие во взаимодействие перформативы зачастую оказываются противоположно направленными, что придает политическому дискурсу агонистический характер. При этом, однако, даже агонистические пер-

формативные акты могут быть успешными в случае, если существуют специальные процедуры для такого рода взаимодействия. Неконсенсусные сецессии, однако, к этим случаям не относятся. Они обычно могут быть охарактеризованы как перформативные *осечки* (misfires), а точнее — как *мисинвокации* (misinvocations)⁴⁵, то есть как случаи нарушения 1-го или 2-го условий удачности.

Важным дополнением к анализу речевых перформативов может стать исследование перформативов, представленных в других модулях: звуковом, визуальном, тактильном, мотильном и т.д.⁴⁶ Ведь, например, анализ одних только заявлений и деклараций, составляющих событие перехода Южной Осетии из статуса автономной области в составе Грузии к статусу частично признанного государства, едва ли может быть адекватно представлен через рассмотрение одних только текстов документов. Все вербальные перформативные шаги в этом процессе были сопряжены с рядом невербальных силовых перформативов, которыми грузинская и осетинская стороны интенсивно обменивались. Свою роль также сыграли, в частности, и мотильные перформативы, осуществляемые потоками людей — беженцев и внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома. И даже если мы обратим внимание на одни только вербальные перформативы, нам необходимо будет рассмотреть не только югоосетинские речевые акты сецессии, но и речевые акты грузинского руководства, нацеленные на конструирование альтернативной действительности, в которой Южная Осетия продолжала оставаться частью Грузии [Markedonov, 2008].

⁴⁵ Адекватным образом перевести на русский используемое Дж. Л. Остином слово *misinvocation* непросто. В существующих изданиях используется либо описательное выражение «Нарушение правил обращения к процедуре» [Остин, 1986], либо не вполне соответствующее сути термина слово *невостребованность* [Остин, 1999].

⁴⁶ Подробнее о совмещении различных модусов коммуникации см.: [Kress, 2010; Кресс, 2016 и др.].

Для эффективного анализа комплексных мультимодальных перформативов удобно воспользоваться моделью *вложенного перформатива* (nested performative). Для работы с этой моделью требуется выделить некое отправное *перформативное высказывание* (performative utterance), к которому затем добавляются реактивные и фоновые высказывания, что всё вместе образует *перформативный акт* (performative act). К этому перформативному акту могут добавляться новые высказывания и действия, а также новые реактивные и фоновые акты, в результате создается *перформативное событие* (performative event). [Ильин, б.г.] При этом важно оговориться, что отнесенность к уровню высказываний, актов или событий является для каждого конкретного перформатива не абсолютным свойством, а релятивным. И, например, при укрупнении масштаба анализа, то что рассматривалось как перформативное событие может быть перформативировано в перформативное высказывание по отношению к более крупным событиям. Используя такого рода инструментарий, мы можем составить описания перформативных событий сессии, а также составляющих их перформативных актов и высказываний.

Сецессия в шести актах

Во всех трех исследуемых перформативах сессии развитие события начинается с *акта накопления противоречий*. Высказывания, производимые участниками коммуникации в рамках этого акта носят преимущественно конфронтационный или конкурентный характер — происходит конструирование социальных миров, не совместимых друг с другом и друг друга отменяющих. Примеры обмена такого рода высказываниями в трех проанализированных случаях представлены в Табл. 1, 2, 3 (после двоеточия в каждом высказывании указаны положения вещей, перформативно им утверждаемые). Стоит обратить внимание, что к набору высказываний при анализе

отнесены не только речевые акты, но и целенаправленные силовые действия, также являющиеся попытками утвердить то или иное положение вещей. Их можно рассматривать как последствия мисинвокативных актов, происходящих с обеих сторон при попытках изменить социальную действительность посредством вербальных перформативов. В первую очередь — актов сецессии.

Таблица 1.

Акт накопления противоречий (1989-1992): Южная Осетия.

Южная Осетия	Грузия
Ноябрь 1989. СНД ЮО: Официальный язык ЮО — осетинский	4 апреля 1989. Митинг в Тбилиси: Ликвидировать ЮОАО Август 1989. ВС ГССР: Официальный язык ГССР — грузинский
Ноябрь 1989. СНД ЮО: Преобразование ЮОАО в автономную республику	Ноябрь 1989. ПВС ГССР: Отмена преобразования ЮОАО в республику Ноябрь 1989. Поход на Цхинвали; Гамсахурдиа: «Пусть осетины либо станут грузинами, либо уходят в Россию»
Сентябрь 1990. СНД ЮО: На территории ЮО действует Конституция и законы СССР	Март 1990. ВС ГССР: Постановление «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии»
Сентябрь–декабрь 1990. СНД ЮОАО: Провозглашение Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР, Декларация о суверенитете. Выборы	Ноябрь 1990. Отменить преобразование ЮОАО в ЮОСДР Декабрь 1990. ВС Грузии:

в ВС ЮО	Аннулирование результатов выборов в ЮОАО и упразднение осетинской автономии
1991-1992. Силовые акции: Сохранение самостоятельности, выживание людей	1991-1992. Силовые акции: Восстановление контроля над ЮО
17 марта 1991. Всесоюзный референдум в ЮО: Сохранение СССР	28 февраля 1991. ВС Грузии: Не проводить в Грузии референдум о сохранении СССР Март-апрель 1991. Референдум и Акт о независимости: Грузия — независимое государство
4 мая 1991. Собрание народных депутатов всех уровней: Возврат к статусу автономной области	7 мая 1991. ПВС Грузии: Решение о возврате ЮО к статусу автономной области не имеет юридической силы
1 сентября 1991. СНД ЮО: Возврат к статусу республики Ноябрь 1991. СНД ЮО: Обращение к ВС РСФСР с просьбой о присоединении Декабрь 1991. ВС РЮО: Декларация независимости Январь 1992. Референдум: Независимость и воссоединение с Россией Май 1992. ВС РЮО: Акт о независимости РЮО	Сентябрь 1991-декабрь 1993. Силовые акций противоборствующих сторонников и противников Гамсахурдиа Март 1992. Военный совет: Шеварднадзе — глава государства

Таблица 2.

Акт накопления противоречий (1989-1993): Абхазия

Абхазия	Грузия
Март-июль 1989. Сход в Лыхны, митинги, силовые акции: Выход Абхазии из ГССР	Март-июль 1989. Митинги, открытие филиала ТГУ в Сухуми, силовые акции: Сохранение Абхазии в составе Грузии
25 августа 1990. ВС Абхазии: Декларация о суверенитете Абхазской АССР: Абхазия — суверенное государство, находящееся в союзных отношениях с ГССР и СССР	Март 1990. ВС ГССР: Постановление «О гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии»: Грузия — суверенное унитарное государство
17 марта 1991. Всесоюзный референдум в Абхазии: Негрузинское население: Сохранение СССР Грузинское население (бойкот): Выход из СССР	28 февраля 1991. ВС Грузии: Не проводить в Грузии референдум о сохранении СССР
31 марта 1991. Референдум о независимости Грузии: Грузинское население: Грузия — независимое государство Негрузинское население (бойкот): Абхазия — часть СССР	Март-апрель 1991. Референдум и Акт о независимости: Грузия — независимое государство
23 июля 1992. ВС Абхазии: Восстановление конституции Абхазии 1925 г.	21 февраля 1992. Военный совет: Восстановление конституции Грузии 1921 г.
1992-1993. Силовые акции: Независимость Абхазии	1992-1993. Силовые акции, формирование прогрузинского Кабинета министров АР Абхазия: Сохранение Абхазии в составе Грузии

Таблица 3.

Акт накопления противоречий (1981-1999): Косово.

Косово	Сербия
<p>1981. Демонстрации: Косово — республика в составе Югославии</p> <p>1988-1989. Демонстрации косовских албанцев: Против урезания автономии Косова</p>	<p>1986. Меморандум Сербской академии наук и искусств: Остановить геноцид сербов, отменить автономию Косова</p> <p>1987. Речь Милошевича на Косовом поле: Сербия не отпустит Косово</p> <p>1988-1989. Силловые акции против косовских албанцев: Урезание автономии Косова</p> <p>1989. Референдум, новая конституция: Урезание автономии Косова</p>
<p>2 июля 1990. Декларация независимости Республики Косово: Косово — независимое государство в составе СФРЮ</p> <p>7 сентября 1990. Принятие Конституции Косова: Косово — суверенное государство в составе Югославии</p> <p>1991. Декларация независимости Косова, «подпольный» референдум: Косово — независимое государство</p>	<p>22 марта 1990. Сербская скупщина принимает Программу развития Косова: Сохранение целостности Сербии</p> <p>Июль-сентябрь 1990. Разгон краевых органов власти Косова и албанских СМИ: Сохранение Косова в составе Сербии</p>
<p>1996-1999. Силловые акции: Косово — часть Сербии</p>	<p>1996-1999. Силловые акции: Косово — независимое государство</p>

Второй акт, который мы можем очертить в рамках каждой из анализируемых сецессий, можно назвать актом *иллокутивного прорыва*. Предложенное нами имя акта связано с введенным Дж. Остином термином *иллокутивная сила*. Обычно иллокутивной силой называют характеристику перформативного акта, определяющую его с точки зрения интенсивности выражения перформативного намерения, способа осуществления свершения и характера отношений между адресантом и адресатом. Соответственно, в рамках акта *иллокутивного прорыва* происходит существенное изменение этих параметров во взаимодействии ключевых участников.

Конкретные высказывания, образующие акт иллокутивного прорыва могут различаться. Так, например, в случае с югоосетинской и косовской сецессией иллокутивный прорыв был осуществлен через вмешательство третьей стороны. В 1992 г. вмешательство России в югоосетинский кризис, а в 1999 г. — вмешательство НАТО в Косове оказались актами, существенным образом изменившими конфигурацию отношений между взаимодействующими сторонами. В случае с абхазским кейсом введение миротворческого контингента из российских военнослужащих также стало одним из элементов иллокутивного прорыва, но к нему стоит отнести также и успехи абхазских вооруженных формирований, захват ими Сухуми, массовый отток грузинского населения. Все эти действия вместе привели к изменению иллокутивной силы перформатива абхазской сецессии.

За актом *иллокутивного прорыва* следует акт *частичной стабилизации*. Разумеется, ни в одном из трех обсуждаемых случаев речь не шла о полном консенсусе между сторонами, но и в случае Южной Осетии и Абхазии, и в случае Косово, после иллокутивного прорыва можно зафиксировать целый ряд высказываний, ориентированных на консенсусное конструирование действительности. К числу таких высказываний относятся соглашения о прекращении огня, заявления о мерах по политическому урегулированию и укреплению доверия, встречи, переговоры, предоставление возможности бе-

женцам вернуться в свои дома. Также стоит обратить внимание, что в рамках акта *частичной стабилизации* могут продолжаться высказывания, предполагающие несовместимые версии социальной действительности, как и в фазе накопления противоречий, но при этом могут происходить изменения в самом формате такого рода коммуникации. Заявление противоречащих позиций может становиться синхронным, встроенным в формат переговоров, и в таком случае изменяется его иллокутивный аспект. Синхронно и регулярно повторяя свои позиции, стороны перформативно утверждают наличие вербального контакта как альтернативы силовому противодействию.

В случае Южной Осетии фаза *частичной стабилизации* продолжалась с 1992 по 2004 г., в случае Абхазии — с 1994 по 1997. Далее произошел переход ко второму акту *накопления противоречий*. В Абхазии это было выражено в виде новых силовых акций в 1998 и 2001 г., а также с последовавшими за этим референдумом и принятием Акта о государственной независимости республики. Особенно интенсивно накопление противоречий стало происходить после Революции роз в Грузии, когда последовала серия перформативных осечек со стороны Грузии: учреждение Временной администрации Южной Осетии, обустройство прогрузинского правительства АР Абхазия в Кодорском ущелье, заявлен курс на вступление Грузии в НАТО.

Второй *иллокутивный прорыв* в абхазской и югоосетинской сессии произошел в 2008 г. Вновь он был проявлен в виде силового вмешательства России, но на этот раз сопровождаемого признанием независимости двух отколовшихся от Грузии республик. При этом сами попытки грузинских властей изменить после Революции роз формат отношений с Россией, заручиться поддержкой Запада и посредством силовой акции восстановить целостность страны можно также рассматривать как попытку осуществления иллокутивного прорыва, который, однако, не состоялся. В случае Косова частичное признание его независимости также стало актом *иллокутивного прорыва*, которому предшествовал акт *накопления противоречий*,

проявившийся в виде кризиса переговорного процесса в 2007 гг. в рамках обсуждения Плана Ахтисаари, закончившегося принятием в 2008 г. новой косовской декларацией независимости.

Подводя итог можно отметить, что для всех трех проанализированных случаев, перформативное событие сецессии может быть описано следующим перформативным сценарием:

Таблица 4.

Перформативные акты, образующие событие сецессии (на основе кейсов Абхазии, Южной Осетии, Косова).

Перформативные акты	Описание
Акт 1. Стабильность	Сосуществование в рамках одного государства
Акт 2. Накопление противоречий	Обострение: Попытка сецессии, имеющая характер перформативной осечки (мисинвокация) и провоцирующая силовое взаимодействие
Акт 3. Иллокутивный прорыв	Интервенция и заморозка: Нивелирование осечки интервентом
Акт 4. Частичная стабилизация	Переговоры: Восстановление режима удачных перформативных взаимодействий
Акт 5. Накопление противоречий	Кризис: Новые мисинвокативные попытки изменить ситуацию
Акт 6. Иллокутивный прорыв	Признание: Преобразование мисинвокативной осечки в удачный перформатив

Вербальные перформативы сецессии, осуществляемые в рамках акта 2, имеют характер мисинвокативных осечек и провоцируют переход коммуникации в силовой модус. Впоследствии это ведет к иллокутивному прорыву (акт 3), отчасти нивелирующему мисинвокативный характер сецессии. Возникают условия для частичного восстановления режима удачных перформативных взаимодействий

(акт 4), нарушенного мисинвокацией. Затем в рамках повторного этапа накопления противоречий (акт 5) совершаются новые мисинвокации, после чего происходит новый иллокутивный прорыв, осуществляемый интервентом, на этот раз уже направленный не на то, чтобы нивелировать мисинвокативную сецессию, а на то, чтобы преобразовать сецессию из осечки в удачный перформатив. Таким образом, представленный здесь сценарий демонстрирует общую структуру развития перформативного события сецессии из мисинвокативного акта сецессии.

Что касается использованной методологии, то приемы мультимодального анализа перформативов безусловно являются продуктивным способом исследования социальной действительности и требуют дальнейшего развития и уточнения. Главным достоинством при работе с такого рода инструментами видится возможность использования оптики, допускающей одновременное существование различных социальных миров и позволяющей анализировать агонистическую динамику взаимодействия социальных акторов, утверждающих те или иные версии социальной действительности. При использовании такого подхода у исследователя есть возможность избежать константивного понимания действительности и увидеть социальный мир как пространство мультимодальных перформативных взаимодействий, в котором факты и положения вещей существуют не как нечто раз и навсегда случившееся, а скорее как результат непрерывающегося взаимодействия конфронтационно сталкивающихся, консенсусно сливающихся и реактивно соотносящихся свершений. Кроме того, данный инструментарий позволяет одновременно принимать во внимание и стратегическую целенаправленность действий социальных акторов, и то, в какой мере каждое следующее социальное взаимодействие определяется результатом предшествующего.

Список литературы

1. Асимметрия мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности: монография / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. Каф. сравнит. политологии. — М.: МГИМО-Университет, 2011. — 248 с.
2. Ильин М.В. Что может дать анализ перформативов? // Наст. изд.
3. Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: документы 1989-2006 гг. / Составление и комментарии М.А. Волхонский, В.А. Захаров, Н.Ю. Силаев. — М.: НП ИД «Русская панорама», 2008. — 496 с.
4. Кресс Г. Социальная семиотика и вызовы мультимодальности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. — М., 2016. — N 3. — в печати.
5. Мелешкина Е.Ю. Исследования государственной состоятельности // Политическая наука / РАН. ИНИОН. — М., 2011. — N 2. — С. 9-27.
6. Мелешкина Е.Ю., Кудряшова И.В. Сецессии на постимперском пространстве: Косово, Абхазия, Южная Осетия // Актуальные проблемы Европы. — М., 2015. — N 1. — С. 56-80.
7. Мельвиль А. Ю., Миронюк М. Г., Стукал Д. К. Государственная состоятельность, демократия и демократизация (На примере посткоммунистических стран) // Политическая наука / РАН. ИНИОН. — М., 2012. — N 4. — С. 83-105.
8. Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Избранное / Пер. с англ. Л.Б. Макеевой, В.П. Руднева - М.: Идея-Пресс: Дом интеллектуальной книги, 1999. - С. 13-135.
9. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике / Пер. с англ. — М., 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. — С. 22—130.
10. Суверенитет. Трансформация понятий и практик: монография / Под ред. М.В. Ильина, И.В. Кудряшовой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России Каф. сравнит. политологии. — М.: МГИМО-Университет, 2008. — 228 с.
11. Anderson B. Imagined communities. — N. Y.: Verso, 1991. — 224 p.
12. Austin J. L. How to do things with words. The William James lectures delivered at Harvard University in 1955 / J.O. Urmson (ed.). — Oxford: Clarendon press, 1962. — 166 p.
13. Elsie R. Historical dictionary of Kosovo. — Lanham: Scarecrow press, 2010. — 452 p.

14. Fox J., Miller-Idriss C. *Everyday nationhood // Ethnicities*. — Bristol, 2008. — N 8. — P. 536-563
15. Krasner S. *Sovereignty: Organized hypocrisy*. — Princeton: Princeton univ. press, 1999. — 280 p.
16. Kress G. *Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication*. — N.Y.: Routledge, 2010. — 212 p.
17. Krzyżanowski M. *The discursive construction of European identities*. — Frankfurt am Main: Peter Lang, 2010. — 232 p.
18. *Major powers and the quest for status in international politics: global and regional perspectives / T. J. Volgy (ed.)*. — N.Y.: Palgrave Macmillan, 2011. — 242 p.
19. Markedonov S. *Regional conflicts reloaded // Russia in global affairs*. — M., 2008. — N 4. — Mode of access: http://eng.globalaffairs.ru/number/n_11893 (Датапосещения: 10.06.2016).
20. Nettl J.P. *The state as a conceptual variable // World politics*. — Cambridge, 1968. — Vol. 20, N 4. — P. 559–592.
21. *The formation of national states in Western Europe / Ch. Tilly (ed.)*. — Princeton: Princeton univ. press, 1975. — 771 p.
22. Volgy T.J., Mayhall S. *Status inconsistency and international war // International Studies Quarterly*. — L., 1995. — N 39. — P. 67-84.
23. Wodak R., Boukala S. *European identities and the revival of nationalism in the European Union: a discourse-historical approach // Journal of language and politics*. — Amsterdam, 2015. — Vol. 14, N 1. — P. 87-109.

КТО И КАК НАЧАЛ ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ: ПЕРФОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Е.А. Ефимова, Н.А. Конюхов, Д.А. Панфилов

«Маленькая вырезка из газеты, напечатанная без комментариев секретной ячейкой террористов в Загребе, столице Хорватии, для их товарищей в Белграде, была факелом, который разжег огонь войны в 1914 году. Этот кусок бумаги сокрушил старые и гордые империи. Он дал родиться новым, свободным нациям», — пишет в своих воспоминаниях Боривой Евтич, один из заговорщиков «Народной обороны» [Hart, 2013, p. 23]. Упомянутая записка была получена в конце апреля 1914 г. и содержала сообщение об ожидаемом приезде в Сараево Франца Фердинанда. Именно в этом клочке бумаги усмотрел критический момент начала войны Евтич, ставший видным сербским литератором.

Когда берешься распутывать хитросплетения действий и событий, вылившихся в Первую мировую войну, возникает соблазн вслед за Евтичем установить то мгновение, которое мы можем назвать началом грандиозного исторического потрясения. Мы же предлагаем посмотреть на все это «с высоты птичьего полета», чтобы не подменять целостный смысл отдельными яркими деталями, чтобы деревья не заслоняли леса. Но и отдельные детали, отдельные «деревья» не должны исчезнуть из поля зрения.

Чтобы охватить все смысловое, семиотическое пространство, мы обращаемся к модели вложенного перформатива (nested performative). Ее образует соединение перформативного высказывания (performative utterance) или высказываний, а также реактивных и фоновых высказываний в перформативный акт (performative act), этого акта и новых высказываний, а также реактивных и фоновых актов в перформативное событие (performative event).

Начало войны, тем более начало мировой войны, нельзя свести к одному действию. Это всегда кризис, двусмысленно отделяющий и в то же время соединяющий предшествующее состояние мира и последующее состояние войны. Однако в данном случае трудно выделить один-единственный кризис. Первая мировая война не начиналась как мировая, она не начиналась даже как война вообще, если опираться на обычное представление о войне как вооруженной борьбе одного государства против другого. Промежуток между миром и войной распадается на три следующих друг за другом кризиса. У каждого из них был свой вход (entrance), свои участники и проблемы, свой выход (exit). В каждый из кризисов включались новые агонисты, а противостояние сторон принимало качественно новый характер. По сути, речь идет о трех последовательно усложнявшихся формах войны — это война человека против государства, государства против государства и всех против всех.

В каждом кризисе есть что-то, что является центром, главным перформативом, главной темой всех остальных высказываний. Эти критические перформативные моменты становятся своего рода смысловыми фокусами, к которым стягиваются линии перформативного причинения и из которых разворачиваются линии перформативных следствий. Так, для первого кризиса это убийство Франца Фердинанда, для второго — вмешательство Австрии во внутренние дела Сербии, равносильное объявлению войны, для третьего – разворот на запад, приведший к всеобщему падению косточек домино.

Между тремя этими кризисами нет четкой границы. Поле нашего зрения заполнено множеством высказываний, действий и взаимодействий. Конкретные высказывания, акты и даже события растягиваются в пространстве-времени и накладываются друг на друга. Когда в одном месте еще вспоминают убийство эрцгерцога, в другом уже обсуждают австрийский ультиматум, а в третьем вспоминают о взятых на себя обязательствах.

Объявление войны в узком и четком смысле прототипически

можно свести к вызову на поединок. Однако это не только вызов, но также изменение статуса отношений. Это изменение не происходит мгновенно, и формальный текст объявления может на самом деле только подтверждать уже случившийся факт и быть лишь одним из множества высказываний. В какой момент совершается это изменение — когда министр отправляет телеграмму или когда на другом конце Европы ее получают? Когда объявляется мобилизация или когда войска пересекают границу? Приходится признать, что объявление войны — это протяженная цепь фактов, писем и обсуждений, которые сводятся к одному — к претензии на суверенитет.

Нас будет особенно интересовать последняя форма — война всех против всех, которая подразумевает, конечно, не гоббсовское естественное состояние, а новое явление в международной политике — тотальную мировую войну. Ее особенность не просто в количестве участников, а во всеобъемлющем характере: весь мир находится теперь в состоянии войны, любая территория является потенциальным театром военных действий, любой человек — ее потенциальной жертвой. Изменяется и характер объявления войны, так как он перестает быть адресным: по сути не важно, объявляет страна войну Австрии или Германии, важен сам факт выбора одной из сторон, символический выбор «друзей» и «врагов» в этом новом состоянии. Не менее важно объявление нейтралитета как отказ от выбора; однако этот отказ не выключает страну из состояния мировой войны, что явно видно на примере Бельгии и Италии.

Мы представим анализ трех взаимосвязанных вложенных перформативов в виде драматургической конструкции трех актов. Такая конструкция станет своего рода связкой между исследуемым нами комплексным перформативом начала войны и привычным историческим нарративом.

Первый акт драмы. «Боснийский кризис».

Вызов человека государству

28 июня 1914 г. произошло убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола, и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараево. Убийство было совершено гражданином Сербии Гаврилой Принципом, одним из шести участников террористической группировки «Млада Босна». Согласно его показаниям в окружном суде в Сараево, Принцип задумал покушение в апреле 1914 г., во время пребывания в Белграде.

Мы не знаем, сопровождал ли Гаврила Принципа свой выстрел словами. Однако звук этого выстрела был ясным перформативным высказыванием. Смысл этого высказывания можно передать примерно таким образом: «Я не признаю монополию Австро-Венгрии на принуждающее насилие надо мной и моей землей. Я сам, своей волей осуществляю предельное насилие. Я убиваю тебя, Франц-Фердинанд, как символ ничтожных австрийских притязаний». И смертоносная пуля подтвердила это высказывание.

Подобное перформативное высказывание вполне укладывается в прототипическую форму вызова на поединок. Однако это вызов далеко не равных соперников. С одной стороны, это молодой человек, который не достиг еще совершеннолетия, за которым маячит «Млада Босна», с другой – государство, огромная империя, издавна входящая в число великих держав. Возможен ли поединок между такими соперниками?

Принцип и его друзья считают, что бросили вызов Австро-Венгерской империи. Та же в свою очередь их как соперников не замечает, не хочет услышать сопровождающего выстрел высказывания — возникает своего рода когнитивный диссонанс. Однако при этом Империя вызов ощущает. Она пытается понять, кто его бросил, в доступной ей логике. Естественно, ищется если и не равновеликий, то, по меньшей мере, равнозначный контрагент. Его быстро находят

(он уже давно заримечен) в лице Сербии. Если просмотреть первоначальный отчет, представленный австро-венгерской комиссией, то можно обнаружить нивелирование роли личности убийцы с помощью смещения акцента на определенную атмосферу в сербском обществе, создаваемую именно правительством, которое, в конечном счете, и мотивировало заговорщиков. *«Радикально революционные взгляды убийцы вкупе с влиянием его окружения в Белграде и чтением сербских газет вдохновили его на ту же степень ненависти к монархии и привели его к пропаганде своего плана,»* — так звучит фраза в разделе документа, где установлены мотивы совершенного деяния. *«Принцип — это типичный пример молодого человека, школьные дни которого были отравлены доктринами Народной обороны»*, — такую характеристику получил главный фигурант дела. Кроме того, не менее отчетливо выявляется один из главных тезисов всего отчета — о несостоятельности убийц в финансовом компоненте, что доказывает зависимость их действий от Сербии: *«Принцип и Карбинович (его главный сообщник-исполнитель) закупили бомбы и оружие, необходимые для исполнения акта, у сербского майора, поскольку сами по себе террористы не обладали средствами для их приобретения»* [Horne, 1923]. В совокупности такого рода дискурс со стороны Австро-Венгрии обозначил в социальном пространстве событие — Боснийский вопрос, который необходимо было решать. Он был поддержан другими реактивными высказываниями — со стороны Германии, выразившей однозначную солидарность с Австрией. Фоновые высказывания других государств, включая Сербию, и попытки переопределить содержание акта оказались безрезультатными.

Таким образом, первоначальный акт — убийство — был по своей природе ничем иным, как персонифицированным актом несогласия Гаврилы Принципа и узкого круга его единомышленников с захватчиками. Однако для геополитической ситуации, в которой находилась австро-венгерская корона, было гораздо выгоднее интерп-

ретировать и обозначить в социальном пространстве произошедшее событие так, чтобы противостояние «человек против государства» растворилось, отошло на второй план, а на его месте появилась борьба «государства против государства», соответствующая логике суверенных государств.

Структурно перформатив сараевского покушения можно рассматривать как горлышко двойной воронки перформативности. Данный ключевой перформатив является результатом стяжения цепочек перформативного причинения, включая такие перформативы, как упомянутая Боривоем Евтичем записка, как аннексия Боснии 7 октября 1908 г., создание «Народной обороны» 8 октября 1908 г. и «Черной руки» 22 мая 1911 г. и как ряд множества других действий, нагруженных смыслами.

Тот же самый ключевой перформатив стал исходным моментом воронки перформативных следствий. При этом, как уже отмечалось, резко обозначилось расхождение следствий и ожиданий. Заговорщики из «Млады Босны», сочувствовавшие им политики и обыватели пытались развернуть цепочку перформативных следствий в логике вызова молодых националистов-ирредентистов империи Габсбургов. Эта линия игнорировалась Веной. Вызов со стороны сербских ирредентистов перетолковался в другой - вызов со стороны Сербии. Тем самым Вена выстраивала свою цепочку перформативных следствий в логике сербского вызова. Сербия со своей стороны предлагала собственную цепочку – довольно двусмысленную, подчеркнута дистанцированную как от младобоснийской, так и от имперской, но при этом невольно переключавшуюся то с одной, то с другой.

Одновременно со всеми этими цепочками – то параллельно, то пересекаясь – стали формироваться самостоятельные линии поведения других государств. Такое ветвление спутывало логику следствий и в то же время заставляло каждого из основных действующих лиц намечать свою собственную колею перформативности.

Переход к новому акту политической драмы и формирование

следующей двойной воронки перформативности были связаны с новым ключевым перформативом, который структурно был заложен в перформативной логике Вены. Это был ответ на вызов Сербии и принятие этого вызова.

Второй этап. Война государства против государства

Вена демонстративно не замечала вызова, брошенного ей «Младой Босной». Она не хотела и не могла видеть и слышать ничего, кроме вызова дерзкой и агрессивной Сербии. Для Империи не имело большого значения, действовали ли террористы независимо от правительства Сербии или под его эгидой; важно лишь то, что теперь появился повод обвинить Сербию если не в убийстве напрямую, то в создании условий для этого убийства. Австро-Венгрия действует так, будто вызов ей брошен был со стороны Сербии. Но Сербия посылает сигналы, что сама никакого вызова не бросала; напротив, она всеми силами доказывает, что деятельность террористов никак не связана с государством и не имеет ничего общего с целями сербского правительства. Австро-Венгрия не могла увидеть деятельность террористов отдельно от правительства Сербии, притязавшей на оспаривание политики и власти Империи на Балканах.

7 июля 1914 г. в Вене Советом министров по делам государства было проведено заседание для формирования стратегии дальнейших действий против Сербии. Большая часть делегатов пришла к выводу, что мирное дипломатическое урегулирование вопроса не решит проблему, так как это покажет политический кризис, возникший в Австро-Венгерской Империи, а также поставит под удар репутацию страны на мировой арене и создаст угрозу восстания в южных славянских провинциях государства. Учитывая и более ранние конфликты с Сербией, делегаты отмечают: *«Мы уже пренебрегли двумя возможными решениями Сербского вопроса и отложили решение в обоих случаях. Если*

бы мы сделали это снова и не обратили внимание на последнюю провокацию, это было бы воспринято как признак слабости во всех южных славянских провинциях, и мы должны были бы подготовиться к росту агитации против нас» [Horne, 1923].

Единственным возможным исходом и решением кризиса делегация видит вооруженные действия против Сербии, в результате которых будет аннексирована часть территорий Королевства, сербские войска будут переподчинены к Австро-Венгерскому военному министерству, а корона будет передана другой европейской династии (последний пункт был спорным). Кроме того, делегация планировала провести мобилизацию в стране так, чтобы к моменту вступления в конфликт России (это было гарантировано, учитывая отношения России к Сербии) австро-венгерские войска были готовы дать русским отпор. Для этого они также заручились поддержкой в союзе; Германия недвусмысленно выразила готовность поддержать напарницу по Тройственному Союзу: *«Император Франц-Иосиф, однако, будьте уверены, будет верно помогать Австро-Венгрии, как это требуется в соответствии с обязательствами своего союза и его древней дружбы»* [World War I, 2006, p.1369].

Ключевым решением Совета стало планирование дипломатической игры, в ходе которой ультиматум к Сербии обязательно приведет к войне (так как Сербия не сможет и не должна выполнить всех требований), но при этом сам текст будет составлен таким образом, чтобы интенция вынудить Сербию вступить в войну не была такой очевидной, и, следовательно, не повела бы за собой политическую и дипломатическую дискредитацию перед остальными европейскими державами, в частности, перед Россией.

Следует учесть, что Сербия еще 24 июня, то есть за четыре дня до объявления войны Австро-Венгрией, запросила военной помощи у императора России и незамедлительно получила положительный ответ. Данное событие позволяет нам дать такую интерпретацию отказа принять один лишь пункт ультиматума. Получив российскую

поддержку и осознавая неизбежность военного конфликта, сербское правительство стремится создать наиболее привлекательный образ для дальнейшей дипломатической игры. Отклонение лишь одного пункта ультиматума играет ключевую роль. Ведь, отклонив только один пункт, в военном конфликте Сербия будет представлена как сторона, желавшая мирного урегулирования потенциального конфликта. В противном случае ярлык “непримиримого провокатора” преследовал бы ее.

Получается, что Австро-Венгрия и Сербия использовали одинаковые стратегии в своей дипломатической игре. Австро-Венгрия решила предъявить ультиматум Сербии для формализации своих действий и поддержания дипломатического авторитета; Сербия же попробовала показать, что пытается найти способ мирного урегулирования конфликта путем соглашения с большим количеством пунктов ультиматума, хотя на самом деле готова была вступить в войну в любом случае. Более того, перед этим и Австро-Венгрия, и Сербия обзаводятся своего рода секундантами, в роли которых с готовностью выступают их два давних союзника – Германия и Россия соответственно.

Таким образом, решения, принятые на Совете, предполагают военный конфликт, в котором будут участвовать всего четыре государства: Австро-Венгрия при поддержке Германии и Сербия при поддержке России. И хотя звучали мнения о том, что такое развитие событий повлечет за собой глобальную европейскую войну, предполагалось, что эта война не будет сильно отличаться по масштабам от, например, предыдущих Балканских войн недавнего времени. На данном этапе для всех участников это представляется как война государства против государства или противостояние нескольких национальных государств; о мировом, структурно новом характере конфликта еще нет и речи.

Ключевым перформативным высказыванием в данном казусе становится ультиматум от Австро-Венгрии к Сербии, переданный с

помощью телеграммы министром иностранных дел Австро-Венгрии к премьер-министру Сербии 28 июля 1914 г. В тексте телеграммы говорится: *«Королевское Сербское правительство не ответило согласием на требования, высланные в ультиматуме 23 июля 1914 года, переданным Австро-Венгерским министром в Белграде, Имперское и Королевское правительство вынуждены принять меры для защиты своих прав и интересов, а именно прибегнуть к силе оружия. Австро-Венгрия отныне считает себя находящейся в состоянии войны с Сербией»* [Collected documents... 1915, p. 392]. Это высказывание выражает интенцию австрийского правительства, является результатом всех предшествовавших ему обсуждений. Это высказывание «обрастает» реактивными и фоновыми высказываниями: вступлением в события других акторов (на уровне своеобразных секундантов и сторонних наблюдателей), мобилизацией войск стран и т. д., которые вместе складываются в перформативный акт — объявление Австро-Венгрией войны Сербии.

Цепь реакций, составивших основу этого акта, можно хронологически свести к следующей цепочке: ультиматум от Австро-Венгрии к Сербии – де-факто непринятие этого ультиматума Сербией – объявление войны Империей Сербии – поддержка союзной балканской страны Россией – ответная защитная реакция Германии в поддержку Австро-Венгрии. В итоге в войну вступают Россия, Германия и Черногория, что создает еще более широкий вложенный перформатив в виде войны двух коалиций – результат, явно превосходящий исходные намерения имперского правительства в Вене. Фоновые высказывания от лица Англии, Франции и других держав «подливают масла в огонь», добавляя конфликтные нотки и без того напряженной ситуации на востоке Европы. И хотя на этом этапе главным актором является Австро-Венгрия, ее изначальный план укрепить свое положение на Балканах при помощи локальной войны выходит из-под контроля. К определенному моменту усложнение перформативного акта приводит к возникновению принципиально новой ситуации на карте.

Изначальная интенция Австро-Венгрии решить свой «Боснийский кризис» в форме поединка с Сербией обернулась сражением трех мощных милитаризованных имперских держав при участии двух балканских стран. Однако в сложившихся условиях сохранить противостояние на этом уровне уже было невозможно.

Третий акт драмы. Все против всех. Вызов мировому и мирному порядку

Каждая из будущих стран-участниц преследовала свои цели. У каждой были свои ограничения. И, несомненно, у каждой были свои наборы готовых клише и фреймов: все акторы предполагали участие в чуть ли не «рыцарских» поединках с противником, где они вступают в эти состязания, руководствуясь союзническими договоренностями и выполняя дипломатические обязательства. Ни одна из стран не предполагала (и не хотела) разворачивания и своего участия в глобальном вооруженном и экономически затратном конфликте. Например, звучали мнения, что даже при полноценных военных действиях между Россией и Германией это не будет чем-то большим по масштабам, чем относительно недавняя франко-прусская война. Однако общая сумма всех единичных и зачастую независимых друг от друга фактов привела к формированию «снежного кома», где события сливаются в единый нераспутываемый клубок.

Процесс переплетения различных линий поведения и действия множества действующих лиц можно проследить с помощью двойной воронки перформативных причинений и следствий, а также перехода от одной двойной воронки с ее критическим перформативом в общем «горлышке», ко второй со своим критическим перформативом, а затем и к третьей. При этом во всех переходах сохраняется единый динамичный, но также и стабильный контекст. Этот контекст существует всегда и имеет свойство расширяться или сужаться. На первых двух

этапах можно было проследить его расширение: на первом контекст из личного действия Принципа перерос в дипломатическую игру, в которой стали участвовать Сербия и Австро-Венгрия; на втором эти державы продолжили действовать согласно своим ожиданиям, что привело к привлечению сторонних акторов (Германии и России), а также развязало вооруженный конфликт между ними.

Скорость расширения контекста росла непрерывно. В конечном счете количество акторов увеличивалось, и все их действия и ожидания все меньше соотносились с реальным ходом вещей; таким образом, высказывания и акты совершались (страны объявляли друг другу войны, продолжали состоять в союзнических организациях и блоках или меняли свою сторону) каждым актором в соответствии с его видением контекста, но последний успевал претерпеть достаточно изменений для поворота хода событий в другую сторону. В конечном счете, само событие, которое должно сформировать перформатив, не успевает сложиться вплоть до стабилизации контекста. Этот момент наступает лишь тогда, когда большинство стран уже вступило в вооруженные конфликты с другими, приняв одну из двух сторон (сторон двух блоков). И лишь здесь можно зафиксировать мировой характер войны, так как в течение достаточно короткого времени и непрерывного расширения контекста конфликт вылился в глобальную войну всех против всех.

Что же стало критическим перформативом для третьей двойной воронки, для третьего акта драмы втягивания в мировую войну? Обратимся к ходу событий. Сразу после объявления войны Австро-Венгрией Сербии 28 июля 1914 г. в других державах начались реакции на это событие. В течение нескольких дней такие державы, как Германия, Россия и Франция начинают отзывать отпусков военных и проводить частичную мобилизацию. Германия предъявляет России ультиматум: прекратить призыв в армию, или Германия объявит войну России. Этому предшествовала фоновая серия телеграмм между императорами Николаем II и Вильгельмом II: так, 29 июля Николай II

отправил немецкому императору телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге), но адекватного ответа на эту телеграмму не последовало. Была реакция и Вильгельма, и всех остальных протагонистов драмы начала войны на все новые детали взаимных упреков, опасений, предложений и почти ультимативных требований.

В этих условиях критический перформатив оказался рассредоточенным. Возможно, сама его рассредоточенность и послужила эскалации. Этим перформативом стали передвижения германских вооруженных сил на границах своей империи, а затем и за границами в первые дни августа. Германия объявила войну России и начала продвигаться на запад в сторону Франции через Люксембург и Бельгию. 4 числа Россия вторглась в восточную Пруссию, а Германия – в Бельгию (после отказа последней пропустить немецкие войска), в ответ на что Великобритания направила в Берлин ультиматум: либо Германия выводит войска из Бельгии, либо Великобритания объявляет ей войну. События развивались по второму сценарию.

Мировая война стала фактом, пусть даже этого еще не осознавали. Началось развертывание перформативных следствий. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России, а Сербия – Германии. Таким образом, первоначальные источники конфликта вступили в войну с противоборствующими секундантами друг друга лишь почти спустя неделю после начала сражений между самими этими секундантами. Это интересно потому, что теперь характер войны не выглядел как локальное противоборство, где поединок ведется как бы “двое на двое” - изначально великие империи вступили в схватку друг с другом, не начиная ее с первоисточниками конфликта. Можно сделать вывод, что вся предыдущая ситуация была лишь поводом для разрешения накопившихся между ними конфликтов, или же тут как раз проявляется этот “снежный ком”, когда секунданты начали сражаться почти сразу, не особо занимаясь истоками проблемы.

К 12 августа все ключевые империи уже были втянуты в войну друг с другом; таким образом, лишь за две недели война захватила не только восток Европы, но и запад и центр стратегической карты этой части света. 20 августа пограничные бои уже начались на франко-бельгийской границе, а на восточном фронте вовсю велись боевые действия.

Таким образом, можно увидеть, что изначально почти каждое объявление войны другой державе было скорее индивидуальным дипломатическим шагом с целью поддержать союзное государство: страны коалиции не «выступали единым фронтом», не объявляли войну все сразу, а приходили к этому решению постепенно. Тем не менее они неизменно к нему приходили, вынуждены были приходиться. Мощный акт — начало войны — захватывал их и втягивал в гущу событий, и дипломаты были перед ним бессильны.

Заключение

Ускоряющееся развитие событий, истории, технологий и мира в целом довольно явно выразились в процессах, происходивших в период 1914-1918 годов. В тексте было показано как постепенно разные интенции и действия приводили к расширению контекста через «воронку перформативности». На каждом из этапов перформативная модель «высказывание-акт-событие» проявлялась по-разному: если на первом этапе структура была достаточно четкой, то на последнем событие было масштабным и не так легко идентифицируемым ввиду комплексности перформативного контекста. Каждый из акторов, не имевший до этого опыта таких глобальных конфликтов, действовал лишь в своих интересах, не подозревая о реакциях остальных. Как результат - многие акторы начали действовать вслепую и наперед, пытаясь получить выгоду в этих быстро развивающихся реалиях, но в итоге оказались ввязаны в боевые действия со множеством других акторов.

Сам процесс развития событий связан с несколькими переходами между разными уровнями перформативов и контекста. Как оказалось, ответственным за дальнейшее расширение контекста всегда был тот, кому это развитие событий было выгодно: либо для дальнейшего улучшения свои позиций на стратегической и дипломатической картах мира, либо для возвращения себе авторитета и статуса. Например, Австро-Венгрия инициировала расширение контекста после первого перформативного акта, стремясь добиться большего контроля на Балканах, а Германия с Россией старались укрепить свои лидирующие позиции в Европе с помощью поддержки своих союзников и сокрушения противников (хотя изначально и не запланированного). Как итог - все эти стремления добиться своих интересов привели страны к ситуации, когда миллионы людей погибли ради почти невидимых и уже устаревших целей. Но это расширение контекста и цепь перформативов уже не позволяли остановить действие воронки, что и привело к той самой, великой войне.

Список литературы

1. Collected documents relating to the outbreak of the European war. — L.: H.M. Stationery Office: Harrison and Sons Printers, 1915. — 598 p.
2. Hart P. The Great War: A combat history of the First World War. — Oxford univ. press, 2013. — 522 p.
3. Horne C.F. Source records of the Great War. — N.Y.: National Alumni, 1923. — Vol. 1. — 496 p.
4. World War I / S. Tucker, P.M. Roberts (eds). — Westport, Conn.: Greenwood Press, 2006. — xviii, 217 p.

КТО И КАК ЗАКОНЧИЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ: ПЕРФОРМАТИВНЫЙ АНАЛИЗ

Д.В. Алексеев, А.М.Ильин, М.В.Ильин

«Мне пришло в голову, что сейчас я стану единственным человеком на Земле, который узнает, почему же все это случилось. Он должен был сказать что-то, что объяснило бы все происшедшее, что научило бы нас чему-то. Он должен был что-то нам оставить. Но когда он начал диктовать - Боже мой, этот длинный список министров, которым он намеревался завещать руководство страной... это было настолько гротескно... Я подумала - да, именно тогда я подумала: как все это выглядит недостойно. Те же самые фразы, тот же тихий голос, и потом, в конце, те же самые отвратительные слова про евреев. После всего этого разочарования, после всех страданий, которые мы пережили, он не произнес ни одного слова сожаления, ни намека на сострадание. Я помню, как тогда мне подумалось, что он не оставляет нам ничего» [цит. по: Кун, 2016].

Это слова Юнге Траудль, которой Адольф Гитлер продиктовал свое завещание. Свидетельства одной из секретарш фюрера позволяют максимально полно представить, что произошло в бункере Райхсканцелярии, реконструировать мультимодальность последнего перформатива Гитлера. Именно данный перформатив – завещание фюрера германской нации вкупе с его самоубийством и всеми сопутствовавшими модальностями единого политического и «речевого» акта – стал наиболее ярким и ясным знаком завершения мировой войны, конца Третьего Рейха и его фюрера. Точнее, Гитлер претендовал на то, чтобы своим физическим концом, дополненным символическими действиями, включая завещание, завершить и весь проект Третьего Рейха – во всяком случае здесь и сейчас в начале четвертого 30 апреля 1945 г.

Таков был замысел человека по имени Адольф Гитлер. Не вызывает споров, что выстрелом из пистолета он убил себя. Перформатив, казалось бы, удался. С завещанием сложнее. Оставался ли фюрер германской нации тем же могущественным институтом, как некогда? Или стал его бледной тенью, чей конец уже не зависел от нее самой? И тем более не от нее зависел уже конец войны. Его предопределяли солдаты и полководцы держав-победительниц.

Данные обстоятельства заставляют взглянуть на вопрос, кто и как завершил Вторую мировую войну, под разными углами зрения. Ответов может быть огромное множество. Каждый будет по-своему справедлив и по-своему ограничен и частичен. Соотнести друг с другом некоторые из наиболее значимых помогает общий символический момент – перформативный речевой акт фюрера германской нации в виде самоликвидации этого уникального института и всего Третьего Рейха вместе с ним.

В этой главе рассматриваются несколько вопросов. Что и в какой мере делает завещание Гитлера перформативом? Как соотносится перформативный акт самоубийства Гитлера с другими актами покушения на его жизнь? Чем был перформатив завещания и конца фюрера в рамках общего включенного перформатива, связанного с созданием и крахом Третьего Рейха? Равнозначен ли акт самоубийства Гитлера капитуляции Третьего Рейха? Какого рода перформативные акты завершили войну?

Завещание А.Гитлера как перформатив

Завещание или осуществление последнейприжизненной и одновременно посмертной воли по самой своей природе является ясным и недвусмысленным перформативом. Завещание создает новый порядок вещей – уже без завещающего, но при явном осуществлении его воли. В какой мере завещание Гитлера отвечает этому архе-

типу и в какой отклоняется от него? Что дает анализ и интерпретация текста завещания как перформативного высказывания?

Сам по себе анализируемый текст и вся его коммуникативная и прагматическая перспектива в полной мере соответствуют архетипу. Данный текст в целом можно рассматривать как перформативное высказывание (*performative utterance*), так как оно является письменным выражением последней воли Гитлера и последних его *указаний* и *приказов*.

Вместе с тем и текст, и вся ситуация, увиденные непосредственно и как бы «изнутри», показались Юнге Траудль в чем-то ущербными («как все это выглядит недостойно») и даже бессмысленными («он не оставляет нам ничего»). Текст предстает еще более «неадекватным» при учете событий за пределами Рейхсканцелярии, то есть других альтернативных перформативов, прежде всего – действий войск и командования антигитлеровской коалиции, а также общего политического и смыслового (семиотического) контекста.

Самое сильное, пожалуй, несоответствие завещания архетипическому утверждению последней воли заключается в том, что у Гитлера не остается действительного выбора, свободной воли. Обстоятельства и действия других акторов оставляют лишь перспективу бесславной и унижительной сдачи в плен. Ее можно избежать лишь одним способом – путем самоубийства. Это выбор вынужденный, можно сказать, навязанный обстоятельствами, а отнюдь не результат изъявления собственной воли.

Фальшивый и дисфункциональный характер последнего решения фюрера, его завещания и самого самоубийства отразились в тексте. Завещание А. Гитлера можно условно разделить на три части.

Первая часть представляет собой обращение к будущим поколениям. Формально – это констатив, заряженный весьма слабой иллюкутивной силой и напоминающий, скорее, экспрессивы (*expressives*) по Джону Серлю [Searle, 1975] или признания (*acknowledgements*) по Кенту Баху и Майклу Харнишу [Bach, Harnish, 1979]. Содержательно

это весьма слабая и даже неуверенная попытка оправдать себя за счет ухода от разговора по существу, перенос акцента с проблем политики и истории на эмоциональные и даже личностные оценки. Налицо попытки завещателя отдалить от себя и как роль фюрера германской нации, так и вопрос о судьбе Третьего Рейха. В каком-то смысле это даже понятно и даже по-своему честно, если это слово тут применимо. Гитлер невольно признает, что и фигура фюрера, и структуры нацистского господства уже утратили свой смысл.

Фюрер начинает завещание с краткого обзора своей жизни и говорит о том, что верой и правдой служил Германии практически всю жизнь (начиная с 1914 г.). Он оправдывается, принижает свою роль в развязывании Второй мировой войны. Он констатирует, что принял решение о добровольном уходе из жизни, в связи с тем, что не готов покинуть столицу Третьего Рейха: *«... я решил остаться в Берлине и здесь по собственной воле избрать смерть в тот момент, когда увижу, что резиденция фюрера и рейхсканцлера удержана больше быть не может. Я умираю с радостным сердцем, зная о неизмеримых деяниях и свершениях наших солдат на фронте, наших женщин в тылу...»* [Гитлер, 1945].

Вторая часть завещания – это наставления фюрера на будущее для немецкого народа. Тут можно найти намек на перформатив и заряженность илокутивной силой, однако он очень расплывчат и смазан. Если вновь обратиться к более дробной классификации речевых актов Джона Серля, то тут, пожалуй, расплывчатые пожелания формально не дотягивают даже до мягких директив (*directives*) или пожеланий, а содержательно оказываются всего лишь репрезентативами (*representatives*), выражениями веры в некое будущее состояние.

Основным наставлением фюрера нынешним и будущим поколениям содержит одновременно благодарность за верность и призыв к продолжению борьбы: *«То, что всем им я выражаю идущую от всего сердца благодарность, столь же само собою разумеется, как и мое желание, чтобы они ни в коем случае не прекращали борьбы, а*

всюду продолжали вести ее против врагов фатерланда, оставаясь верны заветам великого Клаузевица» [Гитлер, 1945].

Третья часть завещания содержит волю фюрера по распределению должностей в правительстве Третьего Рейха. Лишь только тут наличествуют перформативы или директивы.

Последняя часть завещания посвящена преимущественно кадровым вопросам. Фюрер отвечает на вопрос: кто будет управлять Третьим Рейхом после его смерти? В завещании содержится информация о всех министерских назначениях, однако более любопытным представляется изгнание из партии двух людей близкого круга А.Гитлера за измену Третьему Рейху и лично фюреру – Г.Геринга и Г.Гимmlера. Два абзаца, в которых заключены перформативы отставки двух виднейших государственных деятелей тогдашней Германии, начинаются абсолютно идентично: *«Перед своей смертью я изгоняю бывшего...»*.

В данном пассаже проявляется важная особенность жанра завещания и лежащего в его основе перформатива. С одной стороны перформатив концентрирует в себе различные побудительные моменты – будь они также перформативами или иными типами речевых актов. Образуется воронка причинности [Campbell, 1960]. В то же время завещание предписывает будущие действия. Тем самым оно становится точкой выстраивания другой воронки, симметричной первой, но обращенной в будущее, воронки следствий [Мельвиль, 1999а; 1999b; Ильин, 2015].

Предложивший соединить две воронки «горлышками» А.Ю. Мельвиль рассматривает критическое событие – у него это выборы – как своего рода катализатор, «очаг возмущения» [Мельвиль, Сергеев, 2002]. Аналогичным образом можно рассмотреть завещание А.Гитлера как своего рода «очаг возмущения, обратную воронку следствий. Самым ближайшим оказывается выстрел самоубийцы. Другим важным следствием было открытие возможности для капитуляции. Однако длительных политических последствий и перформати-

вов, на которые рассчитывал сам Гитлер, его завещание не вызвало.

В целом и политическое завещание А.Гитлера, и его самоубийство – две стороны одной медали. Первое можно считать аналогом *перформативного высказывания (performative utterance)*, в то время как второе является *перформативным действием (performative act)*. Совокупно они образуют интегральный перформатив, поскольку, как было показано выше, и действие, и высказывание подкрепляют друг друга и хотя бы в личном, эмоциональном плане нацелены на самооправдание фюрера – действительную его цель, которую только ему и остается достичь.

В более широком контексте, за пределами личных намерений Гитлера перформатив самоубийства фюрера и главы Рейха окончательно ознаменовал конец германского государства, сделал капитуляцию вопросом лишь нескольких дней, а денацификацию – делом самого ближайшего времени.

Смерть А.Гитлера

При всей своей вынужденности самоубийство Гитлера вызвало большой резонанс. Оно показало, что само существование этого человека было тесно связано с институтами нацистского господства, а сама его фигура олицетворяла порядки и мощь германской империи. Конечно, фактический крах Третьего Рейха к весне 1945 г. делал фюрера все менее значительным политическим институтом и все более слабым актором. Однако символическое, а с ним политическое, перформативное значение гибели фюрера и биологического носителя этой роли даже в дни штурма Берлина было велико. Возникает вопрос о потенциальном значении попыток покушения на Адольфа Гитлера в развертывании (и свертывании?) дискурса тысячелетнего господства Третьего Рейха. Подобных попыток известно несколько,

равно как еще большее число заговоров с целью его устранения [Berthold,1981; Бертольд, 2002].

Покушение на жизнь политически значимой фигуры неизбежно становится перформативом и читается как перформативное высказывание. Значительный интерес в данном отношении имеют два подобных перформатива. Наиболее известна предпринятая Клаусом фон Штауффенбергом попытка уничтожения Гитлера в его ставке 20 июля 1944 г. Она была частью заговора генералов, стремившихся к выходу Германии из войны и ликвидации гитлеровской диктатуры. Неудачное покушение сопровождалась действиями заговорщиков. Образовался перформативный акт большего масштаба и дисфункциональное перформативное событие разгрома заговора и репрессий против антифашистов.

Другое покушение было осуществлено 8 ноября 1939 г. антифашистом-одиночкой Иоганном Георгом Эльзером вскоре после начала войны. Замысел сложился у него еще накануне войны. Эльзер надеялся, что устранение верхушки нацистской партии, триады Гитлер – Геринг – Геббельс приведет к отказу от агрессивной политики подготовки войны. Эльзер решил осуществить свой теракт в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер», где каждый год 8 ноября в годовщину «Пивного путча» Гитлер выступал перед ветеранами своей партии. Подготовка началась загодя, а непосредственное создание взрывного устройства – в начале августа 1939 г., то есть до начала войны. Взрывной механизм был установлен на двадцать минут десятого, но за несколько минут до этого Гитлер в сопровождении партийной верхушки покинул пивную. Взрыв убил нескольких «старых бойцов» и кельнершу. Покушение оказалось дисфункциональным. Гитлер поспешил выдать неудачу попытки убить его за веление судьбы продолжить свою миссию утверждения превосходства германской нации и Третьего Рейха.

Нацистская пропаганда и сам Гитлер связывали его жизненное предназначение с миссией фюрера и судьбой Третьего Рейха. Имен-

но это акцентировало значение как покушений на жизнь Гитлера, так и его самоубийства. Однако подобного рода перформативы – удачные и неудачные, дисфункциональные – были далеко не равнозначны. Три хронологических момента – 8 ноября 1939 г., 20 июля 1944 г. и 30 мая 1945 г. – приходятся на разные фазы существования гитлеровской диктатуры.

Взлет и падение Третьего Рейха

Начало войны и победоносная кампания против Польши приходится на самый взлет проекта Третьего Рейха. Он был начат с приходом на пост канцлера Адольфа Гитлера. Именно тогда начинается внутренняя метаморфоза германского государства. В общем понимании и согласно конституции Веймарской республики Германия была и оставалась империей. В первой же статье конституции (*Die Verfassung des Deutschen Reichs*) прямо сформулировано: «Германская империя является республикой (Das Deutsche Reich ist eine Republik)».

Нацисты формально не отменяют конституцию и ничем пока не заменяют. Однако с приходом к власти они развертывают включенный перформатив. Его начальными точками становятся поджог Рейхстага и начало репрессий. Происходит только изменение режима, правда, весьма радикальное. После поджога Рейхстага и принятия «Указа рейхспрезидента о защите народа и государства» (*Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat*) в феврале 1933 г. режим становится чрезвычайным, а ряд статей конституции объявляются временно недействительными.

После принятия в марте 1933 г. закона о чрезвычайных полномочиях (*Ermächtigungsgesetz*) – официальное название «*Закон о преодолении бедственного положения народа и государства*» (*Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich*) – правительство полу-

чает широкие полномочия вплоть до законодательных. С их помощью режим начинает натягивать на себя государственные институты. Параллельно режим правительственный срачивается с режимом партийным.

Без учета конституции, но и без ее отмены, принимаются органические законы. Исчезают важные институты, включая Рейхстаг. Усиливаются притязания, приобретают все более ярко выраженный имперский характер. Они подкрепляются символическими актами, имеющими почти конституционного значение: замена государственного флага, герба и т.п. Это 1935 год. В политическом дискурсе, в нацистской пропаганде уже появляется Третий Рейх, правда, официально государство называется просто Германской империей.

Начинаются «возвращения домой» (Heimkehr) утраченных территорий. Это завершается Аншлюсом весной 1938 г. Осенью Мюнхенское соглашение легитимирует новый статус Третьего Рейха. Мировые державы соглашаются с претензиями Третьего Рейха на «естественную» (для него) экспансию.

Это пик консолидации нового порядка, нового государства, новой роли именно Третьего Рейха, а не Германии вообще в европейских и мировых делах. С семиотической точки зрения в Мюнхене осуществлен комплексный, коллективный перформатив. Четыре державы согласились с тем, что отныне Третий Рейх из идеологической конструкции превращается в политический факт, становится имперским гегемоном. Это пик консолидации Третьего Рейха. Выше только – да и то скорее по инерции – первые победоносные кампании.

Третий Рейх не долго продержался на достигнутой высоте. Уже в 1940 и 1941 гг. появляется все больше признаков того, что преувеличенные претензии нацистов и их фюрера не слишком реалистичны и практически недостижимы. Все больше фактов, начиная с героического сопротивления поляков подтверждает, что есть силы и воля, способные вступить в борьбу с Третьим Рейхом.

Поворот в войне намечился ещё в 1943 г. после Сталинградской

битвы. Однако в тот момент казалось, что всё ещё может быть изменено, а наступление Великой армии Третьего Рейха лишь немного затормозилось. Ужасные последствия для нацистского режима тогда ещё никто не мог предвидеть. Свидетельством тому стала речь Й. Геббельса «О тотальной войне». *«Если даже сильнейшая военная мощь в мире не может уничтожить угрозу большевизма, кто тогда сможет это сделать?»*, - последовал ответ всего зала хором, - *«Никто!»* Победа в тот момент казалась неизбежной, а трудности временными. Перформатив речи Геббельса о непобедимости Третьего Рейха оказался дисфункциональным, так как не достиг того конечного запланированного эффекта в виде консолидации нации и победы над Советским Союзом.

Однако и Геббельса, и всех остальных далеко превосходил сам Гитлер. Он множил дисфункциональные перформативы, выдвигал требования и отдавал приказы, которые оказывались провальными. Фюрер, чем дальше и чем хуже шли дела, совершенно перестал слушать советников и, к тому же, безвылазно сидя в своём бункере, он совершенно не осознавал действительную обстановку на фронте. Это фатальным образом сказывалось на управлении войсками, тем более что он решительно не хотел слушать своих лучших генералов. Командующий Восточным фронтом генерал Гудериан вспоминает: *«Гитлер... окончательно потерял самообладание... заявив, что карты и схемы «абсолютно идиотские», и приказал, чтобы я посадил в сумасшедший дом человека, подготовившего их.* Тогда я вспылил и сказал: *«Если вы хотите направить генерала Гелена в сумасшедший дом, тогда уж отправляйте и меня с ним заодно»* [Ширер, 1991].

Германия, ее армия и администрация держалась за счет действий профессионалов, а сам Гитлер и вся его нацистская гарнитура множили дисфункциональные перформативы. Арденнская операция стала последним большим крупномасштабным наступлением, «последней авантюрой Третьего Рейха» [Ширер, 1991]. Амбициозный план не внушал особый оптимизм, особенно у военачальников Глав-

ного Штаба. У Третьего Рейха уже было слишком мало сил для контрнаступления, которое могло бы переломить ход войны. По приказу А.Гитлера для «решающего» контрнаступления собирались лучшие силы, что значительно ослабляло оборону и Восточный фронт, где активно наступала Красная армия. Генерал Рунштедт так сказал о плане, уже после окончания войны: *«Когда я получил этот план в начале ноября, я был ошеломлен. Гитлер не потрудился проконсультироваться со мной... Для меня было совершенно ясно, что наличных сил явно недостаточно для осуществления такого самоуверенного плана»* [Ширер, 1991]. Само решение фюрера о проведении Арденской операции можно считать *перформативным актом* (*performative utterance*). В данном случае субъект коммуникативного действия (фюрер) имеет власть над объектом (командующий состав, немецкая армия). Приказ фюрера был исполнен настолько, насколько это возможно.

Однако наступление застопорилось. Более того, в начале января появилась угроза того, что большая группа немецких войск окажется окружена со всех сторон. Несмотря на явную угрозу окружения возможно наиболее боеспособной части немецкой армии на тот момент, А.Гитлер наотрез отказался отступить с занятых позиций: *«Тогда мы... полностью сокрушим американцев... И тогда вы увидите, что произойдет. Я не верю, что в конечном счете враг устоит перед 45 немецкими дивизиями... Мы еще одолеем судьбу!»* Приказ фюрера о недопустимости отступления также является *перформативным актом* (*performative utterance*), так как приказ (коммуникативный акт) фюрера является действием (однако в данном случае акт ведёт к отсутствию действия: войска не отступают). Этот перформатив обернулся ужасными последствиями для немецкой армии – 120 тыс. чел. были убиты и ранены, 1200 самолётов было потеряно [Ширер, 1991]. Так провалилась последняя попытка переломить ход Второй мировой войны.

К 21 апреля 1945 г. русская армия вышла к пригородам Берли-

на. Город оказался полностью окружён войсками союзников, а Гитлер оказался отрезан в своём бункере, в столице Третьего Рейха. У него не осталось возможностей уйти из города. Однако Гитлер всё ещё верил, что Третий Рейх удастся спасти в последний момент. 21 апреля им был отдан приказ об ударе по русским войскам, которые были уже в южном пригороде Берлина: *«Каждый командир, который уклонится от выполнения приказа и не бросит в бой свои войска, поплатится жизнью в течение пяти часов. Вы лично головой отвечаете за то, чтобы все до последнего солдата были брошены в бой»* [Ширер, 1991]. Однако ВВС у Германии фактически уже не было, и авиаудар по факту не состоялся. Приказ о наступлении и угроза расстрела тех, кто будет саботировать удар по русским войскам можно назвать *перформативной конструкцией* (*performative utterance*), потому как он являет собой одновременно действие и коммуникативный акт. Однако в данном случае хоть *высказывание и было перформативным (в той или иной степени все приказы и повеления можно назвать перформативными коммуникативными актами), но фактически оно не стало действием, так как удар Штейнера по русским войскам так и не состоялся.* Эта ситуация, несомненно, уникальна.

После того, как контрудар Штейнера не возымел эффекта стало ясно, что конец Третьего Рейха – дело времени. Более того, из-за оттягивания оставшихся групп войск для этого последнего контрудара был оголён Южный фронт и русским удалось прорваться в город. «Это конец. Все меня покинули. Кругом измена, ложь, продажность, трусость. Все кончено. Прекрасно. Я остаюсь в Берлине. Я лично возьму на себя руководство обороной столицы Третьего рейха. Остальные могут убираться куда хотят. Здесь я и встречу свой конец», - именно с такими словами фюрер фактически признал поражение. Его кончина оказалось неизбежной.

Перформативный акт капитуляции

В последние дни жизни А.Гитлер активно предпринимал попытки заключить сепаратные соглашения с западными державами против Советского Союза, а также с французами против англосаксов и СССР. Однако союзники не пошли на контакт с Гитлером. Иные варианты, кроме безоговорочной капитуляции, не рассматривались.

4 мая Г.Фридебург подписал в британской ставке в Люнебурге акт о капитуляции немецких войск на Северо-западном фронте. Этот акт можно назвать лишь частичной капитуляцией, так как Г. Фридебург не имел юридических полномочий на подписание полной капитуляции, кроме того, генерал-адмирал хотел капитулировать лишь перед западными союзниками, но не перед Советским Союзом [Кынин, 2000]. Командующий союзными силами Д.Эйзенхауэр был готов принять сепаратную капитуляцию, но только всех немецких войск, что подрывало планы Фленсбургского правительства (а Г. Фридебург был его членом) по поводу заключения союза с западными странами против СССР.

7 мая в 2 часа 34 минуты в штабе Эйзенхауэра в присутствии стран-победителей (в том числе и Советского Союза) состоялось подписание акта о капитуляции Германии. Со стороны Германии акт подписал А.Йодль. После подписания акта он произнёс слова, которые можно рассматривать, как дисфункциональное перформативное высказывание: *«Генерал, этой подписью германский народ и германские вооруженные силы полностью отдают себя на милость победителей. В этой войне, продолжавшейся более пяти лет, германский народ и его вооруженные силы осознали и пострадали может быть больше, чем любой другой народ мира. В этот час я могу лишь выразить надежду, что победитель отнесется к ним с великодушием»* [Кынин, 2000]. В этой фразе содержится сразу несколько перформативов. Это подпись, которой А.Йодль закрепил поражение Германии, а также выражение надежды о милости победи-

телей к побеждённым. Последний дисфункционален, поскольку от перформативного субъекта исход событий и действий победителей не зависит. Отметим также фактически мгновенную потерю власти Фленсбургским правительством сразу после подписания акта. Из перформативного субъекта (источника перформативных актов и высказываний), они превратились в объект.

Однако И.Сталин не согласился с тем, что документ о капитуляции был подписан не в Берлине. При этом он заявил, что не имеет претензий к генералу Сулопарову, то есть у него нет существенных нареканий к тексту акта. Несмотря на это, 8 мая был подписан ещё один акт о капитуляции, уже в Берлине (на подписании председательствовал Г.Жуков). По тексту он практически полностью аутентичен подписанному днём ранее Реймскому акту за исключением фрагмента о том, что немецким войскам необходимо разоружиться: *«...разоружиться, передав всё их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителям Союзного Верховного Командования...»*. Перформатив разоружения можно назвать уточняющим, поскольку безоговорочная капитуляция подразумевает разоружение по определению.

Реймский и Карлсхорстский акты довольно краткие и состоят всего из пяти пунктов. Первый пункт является констатацией того, что немецкое командование соглашается на безоговорочную капитуляцию своих вооружённых сил, войскам союзников и советской армии. Второй пункт наиболее интересен и неоднозначен с точки зрения теории политических перформативов: *«Германское Верховное командование немедленно издает приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23.01 час. по центральноевропейскому времени 8 мая и остаться на своих местах, где они находятся в это время...»* [Кынин, 2000]. Данное перформативное высказывание можно трактовать как дисфункциональное, так как это перформатив

добровольной сдачи позиций на милость победителю. Не совсем ясным является субъект перформативного высказывания, так как, с одной стороны, приказ о прекращении военных действий немецких войск будет отдан германским верховным командованием, с другой стороны, очевидно, что приказ этот отдаётся не по инициативе германского командования, а под давлением стороны, принимающей капитуляцию.

В третьем пункте Акта говорится о безоговорочной капитуляции о немедленном выделении соответствующих командиров, которые обеспечат выполнение пунктов Акта, а также *«...обеспечат выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным командованием Союзных Экспедиционных сил и Советским главнокомандованием»*. То есть немецкая армия более не подчиняется германскому командованию, а выполняет приказы стран-победительниц. Поражение как перформативное событие (performative event) как раз и заключается в том числе и в подобной «замене» политического субъекта, смены «того, кто приказывает». Это свидетельствует о деконсолидации политического субъекта как о свершившемся факте. Политическим субъектом в данном случае выступает немецкое командование, а его распад произошёл в момент самоубийства А.Гитлера. Именно фигура фюрера была ключевой во всей системе управления Третьим Рейхом, и она объединяла всё руководство вокруг себя. Не будет преувеличением сказать, что перформативный акт (performative act) самоубийства фюрера ускорил поражение Третьего Рейха (performative event), которое закреплено в Акте о безоговорочной капитуляции (performative utterance).

По настоянию И.Суслопарова в документ был добавлен четвёртый пункт о том, что подписание Реймского акта не является препятствием для замены его другим актом о капитуляции. В пятом пункте мы можем видеть столкновение, противоборство сразу двух перформативов. С одной стороны, в документе говорится о том, что Германия потенциально может не выполнить требования союзников

и СССР: *«В случае, если немецкое Верховное Командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции...»*. С другой стороны, перформативное высказывание союзников: *«...Верховное командование Союзных Экспедиционных сил и Советское главнокомандование предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми»*. Налицо дисфункциональность первого перформативного высказывания (если не выполнят обязательства) и эффективность и действенность второго (...то предпримем карательные меры). Лексическая рамка («если... то») подчёркивает это правило. Гипотетическое перформативное действие со стороны германского верховного командования будет встречено перформативным действием в виде карательных мер со стороны союзников и советских войск.

Таким образом, капитуляцию можно считать как перформативным действием, так и перформативным высказыванием. Действием является сам факт подписания и капитуляция немецкой армии (подписание, прибытие основных участников «театра действий» на место, факт подписания двух актов вместо одного). Зафиксирована же капитуляция (а также прописаны её условия) в текстах Реймского и Карлсхорстского актов. Это и есть важнейшее перформативное высказывание, которое вместе с самим фактом её подписания имеет решающее значение как составляющая перформативного события поражения Германии во Второй мировой войне.

Кто и как завершил Вторую мировую войну

Равнозначен ли акт самоубийства Гитлера капитуляции Третьего Рейха? Какого рода перформативные акты завершили войну?

Можно утверждать, что война была завершена без Германии в качестве политического субъекта. Масштабное отступление немецких

войск, подписание актов о капитуляции поведение генералов, подписанных документы с немецкой стороны (так, не последовало ни единого слова от представителей немецкой стороны, за исключением фразы А.Йодля после подписания Реймского акта, о которой было сказано выше; ратификация Карлсхорстского акта прошла в молчании). Подтверждением того, что Германия, особенно в ходе последних месяцев войны, а также в мае 1945 г., когда Фленсбургское правительство ещё было на свободе, стала скорее объектом для перформативных высказываний и действий, мы находим в самих текстах актов о капитуляции (об этом см. выше подраздел «Перформативный акт капитуляции»).

Германия, немецкое командование и Третий Рейх не могут считаться и не могли быть субъектами завершения войны ещё и потому, что к моменту подписания актов о капитуляции субъекты уже фактически отсутствовали как таковые. На протяжении нескольких лет Германия как субъект последовательно деконсолидировалась, что в конечном счёте привело к капитуляции, а после и к разделу страны на две части: ГДР и ФРГ. Об окончательном развале субъекта можно говорить после самоубийства А.Гитлера, так как именно он являлся важнейшей фигурой, которая объединяла вокруг себя немецкий народ, немецкую армию, Германское Верховное командование. Несмотря на то что фактически капитуляция Германии состоялась лишь в мае, самоубийство Гитлера можно считать действием, которое окончательно сделало её неизбежной. Фленсбургское правительство едва ли можно назвать представителями всей немецкой нации. Достаточно сказать, что под его контролем находились лишь пригороды и сам город Фленсбург. Само правительство в какой-то момент было признано союзниками лишь для того, чтобы его представители подписали акт о капитуляции, так как это прибавило ему легитимности (Реймский акт подписал исполняющий обязанности начальника Верховного командования А.Йодль, Карлсхорстский акт подписали Кейтель, Фридебург и Штумпф). После непродолжительного промежутка времени после под-

писания акта о капитуляции Фленсбургское правительство было арестовано в полном составе. Наиболее заметным его действием стала попытка оттянуть время подписания капитуляции с целью сдаться именно западным союзникам, а не советским войскам. А.Йодль напрямую вышел с таким предложением, однако оно было отвергнуто в довольно резкой форме Д.Эйзенхауэром (американский генерал даже угрожал закрыть фронт) [Кынин, 2000]. Здесь можно говорить о столкновении перформативных воронок: немецкой с одной стороны и союзников – с другой. Обе воронки замыкаются на перформативном событии (*performative event*) поражения Германии, перформативных высказываниях двух акторов (при этом высказывание представителей союзников явно стоит в более сильной позиции, а перформатив Фленсбургского правительства, как следствие, оказался дисфункциональным).

Вполне вероятно, что любая ситуация политического конфликта является ничем иным, как суммой перформативных действий и высказываний, которые складываются в две противостоящие друг другу воронки (это видно в том числе и на примере кейса окончания Второй мировой войны, рассмотренного в рамках данного исследования). В процессе конфликта становится ясно, что совокупность перформативов одной из сторон конфликта является функциональной (потенциальный победитель), а второй – дисфункциональной (потенциальный проигравший). Иными словами, двигателем конфликта, а также его наиболее значимым внешним проявлением становится именно перформативные воронки, а также включенные в них перформативные события, действия и высказывания (*performative events, acts and utterances*). Впрочем, эта тема весьма сложна, не разработана и требует пристального внимания со стороны исследователей.

Список литературы

1. Bach K., Harnish R.M. Linguistic communication and speech acts. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1979. – xvii, 327 p.
2. Berthold W. Die 42 Attentate auf Adolf Hitler. München: Blanvalet, 1981. – 255
3. Campbell A. The American voter. – N.Y.: Wiley, 1960. – viii, 573 p.
4. Searle J.R. A taxonomy of illocutionary acts // Language, mind, and knowledge (Minneapolis studies in the philosophy of science) / K. Günderson (ed.). – Cambridge: Cambridge univ. press, 1975. – P. 344-369.
5. Бертольд В. 42 покушения на Адольфа Гитлера. – М.; Смоленск: Изд. Русич, 2002. – 352 с.
6. Ильин М.В. Воронка причинности. От эмпирической модели к формированию парадигм многослойной причинности // МЕТОД. Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М., 2015. – Вып. 5. – С. 442-451.
7. Кынин Г. П. Германия капитулирует безоговорочно. – М., 2000. – Режим доступа: http://www.idd.mid.ru/inf/inf_25.html (Дата посещения: 16.06.2016.)
8. Мельвиль А.Ю. Методология воронки причинности как промежуточный синтез структуры и агента в анализе демократических транзитов // Полис: Политические исследования. – М., 2002. – N 5. – С. 54–58.
9. Мельвиль А.Ю., Сергеев В.М. От метафоры к объяснительной модели: Волны демократизации и воронка причинности // Принципы и направления политических исследований: Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН. – М., 2001. – С. 263–267.
10. Мельвиль А.Ю. Опыт теоретико-методологического синтеза структурного и процедурного подходов к демократическим транзитам // Полис: Политические исследования. – М., 1998. – N 2. – С. 6–38.
11. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты: Теоретико-методологические и прикладные аспекты. – М.: МОНФ, 1999а. – 108 с.

12. Мельвиль А.Ю. Внешние и внутренние факторы демократических транзитов. – М.: МОНФ, 1999б. – 58 с.

13. Мельвиль А.Ю., Сергеев В.М. От метафоры к объяснительной модели: «волны демократизации» и «воронка причинности» // Принципы и направления политических исследований: Сб. материалов конференций и мероприятий, проведенных РАПН в 2001 году / Под ред. М.В. Ильина. – М., 2002. – С. 74-82.

14. Мельвиль А.Ю., Сергеев В.М. «Воронка причинности» и волны демократии // Россия. Политические вызовы XXI века. Второй всероссийский конгресс политологов. 21-23 апреля 2000 г. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2002. – С. 223-225.

15. Гитлер А. Политическое завещание. – Б.г. – Режим доступа: <http://doc20vek.ru/node/1382>(Дата посещения: 13.05.2016.).

16. Ширер У. Взлёт и падение Третьего Рейха: В 2 т.– М.: Воениздат, 1991. – Т.2. – 526 с.

17. Кун И. Неизвестный Гитлер: Интервью с Траудль Юнге, личным секретарем Гитлера, записанное Гиттой Сирени // People.ru. – 2016. – Режим доступа: <http://www.peoples.ru/state/statesmen/yunge/> (Дата посещения: 21.05.2016.).

ЧАСТЬ 3.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И КОММУНИКАЦИЯ МЕТАМОРФОЗЫ КОММУНИКАЦИИ В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ

В.Э. Согомонян

«Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения и предназначения, они вступают на путь бесконечного самопроизводства. Все сущее продолжает функционировать при полном безразличии к собственному содержанию».

*Жан Бодрийяр, «Прозрачность зла»
[Бодрийяр, 2014, с. 11]*

В контексте рассматриваемых в этой статье научных проблем хотелось бы прежде всего обратить внимание на следующие три метаморфозы, что произошли с обществом (среди большого множества гидденсовских «последствий современности» [Гидденс, 2011, с. 118-164]) за несколько прошедших лет нового тысячелетия. Коротко: это, во-первых, разрушение замкнутости локальных обществ и их поступательная интеграция в глобальное общество; во-вторых, это пересмотр института традиции, в терминах Мишеля Фуко – упразднение «основополагающего прошлого»; и, наконец, в-третьих, это актуализация большого множества экспертных (или абстрактных) систем, среди которых оказалась и власть вкупе с ее знаковыми системами. С учетом именно этих изменений и только с применением инструментария семиотики становится возможным обозначить наблюдаемую в сегодняшнем мире политологическую проблему **конфликта интерп-**

ретаций [Рикер, 1995] в публичном дискурсе. Ее суть заключается в том, что в силу целого ряда вызванных современностью изменений в системе общества и, конкретно, в ее коммуникативной системе, конвенциональность по поводу отдельных знаков «языка» власти оказалась утерянной. Однако некоторые интеракции продолжают осуществляться властью при помощи тех же знаков так, как будто никаких изменений не происходило. Наиболее ощутимым следствием этого явилось то, что закладываемые властью в те или иные акты публичности смыслы остаются непонятыми, и, таким образом, ряд актов публичности власти трансформируется в череду коммуникативных несоответствий.

Для того чтобы продемонстрировать проблему в полной мере, вначале обратимся к семиотическим схемам, через которые осуществляются подобные интеракции, а затем попытаемся определить характер метаморфозкоммуникации в публичном дискурсе.

Барт сегодня

В 2015-м году третий ноябрьский номер журнала «The Economist» [How to fight back, 2015] вышел в свет с обложкой, на которой был изображен французский триколор с характерными пятнами крови посередине флага, на белом. «How to fight back?» - гласил заголовок, кроме которого на обложке не было других текстов, каким-либо образом упоминающих террористические акты, совершенные накануне в Париже. Тем не менее понятно, что в те дни вряд ли кому-либо из читателей понадобились объяснения по поводу того, о чем и о каких конкретно событиях повествовала главная страница британского журнала.

Эта обложка – наглядный пример актуализации вторичной семиологической системы, существование которой постулировал Ролан Барт в статье «Миф сегодня». «В мифе мы обнаруживаем ту же тре-

хэлементную систему (...): означающее, означаемое и знак. Но миф представляет собой особую систему и особенность эта заключается в том, что он создается на основе некоторой последовательности знаков, которая существует до него; **миф является вторичной семиологической системой** (выделено автором – В.С.). Знак (то есть результат ассоциации, концепта и акустического образа) первой системы становится всего лишь означающим во второй системе» [Барт, 1989, с. 78]. Так, в случае с обложкой «The Economist» мы имеем дело с неким сообщением (**мифом** в бартовской терминологии – словом или символом, наделенным определенным социальным узусом), интерпретируя который, мы воспринимаем конституирующие его элементы в качестве целостных составных частей этого сообщения, игнорируя их обособленный смысл. Кроме того, продолжая интерпретировать, мы соотносим факт появления этого сообщения в данный момент времени на значимой общественной (информационной) площадке с общими для нас знаниями актуальных событий в мире, или, как это называет сам Барт, с «представлениями о реальности» [там же, с. 84]. В итоговой же интерпретации, декодируя передаваемое журналом сообщение «здесь и сейчас», мы видим не различные элементы рисунка в разрозненности, с их дискретными описаниями и функциями (три разных цвета, их размер и последовательность, значение каждого из цветов, красные пятна, их происхождение, значение и др.) в общем историческом и культурном контексте, а целостный портрет «раненой Франции» как одно означаемое (в терминах Барта – концепт), создаваемое из сочетания ряда знаков первичной семиотической системы в контексте конкретного момента истории⁴⁷.

Представленные Бартом еще в 1956 году, эти семиологические

⁴⁷Для большей образности здесь имеет смысл отдать дань физикализму и представить эту систему в виде «маятника Ньютона», где знаки первичной системы являются шарами, через которые потенциальная энергия отдельных смыслов этих знаков преобразуется в кинетическую энергию концепта вторичной системы в целом.

системы процессируют в огромном множестве; именно в них реализуется одна из основных форм социального бытования знаков. По сути, любой вид коммуникации, в котором фигурируют не менее двух символов или сообщений одновременно⁴⁸, и при этом коммуникация направлена на взаимопонимание между большим количеством участников с предполагаемым наличием общих конвенций, достигает успеха именно благодаря их функционированию. Известно, что попытки описания такой особенности семиозиса знаков в речи (теория так называемых логических знаков) совершались еще во времена стоиков и Секста Эмпирика, к ним обращался и Аристотель. «В языковом знаке (слове или предложении) означающее непосредственно вызывает представление об означаемом; в логическом же знаке антецедент (целостный знак или совокупность знаков – В.С.) как некий речевой отрезок имеет собственный смысл, который сохраняется в составе суждения и только вторичным образом вызывает представление о чем-то другом, а именно о консеквенте (концепте – В.С.)», – цитирует Секста Эмпирика Цветан Тодоров [Тодоров 1998, с. 14].

Однако есть все основания полагать, что сегодня, вместе с принесенными современностью изменениями в структуре социальной коммуникации (и, соответственно, изменениями в характеристиках понятия «социальный узус»), изменился и характер конструирования/функционирования вторичных семиологических систем в публичном пространстве. Так, вместе с тотальным распространением Интернета (наиболее объемный и точный термин для сегодняшнего Интернета – «Internet of Everything») в значительной степени изменилось количество участников любой публичной информационной ком-

⁴⁸Здесь для ясности дальнейших подходов к терминам, по-видимому, следует повторить вслед за Бартом: «В дальнейшем мы будем называть речевым произведением, дискурсом, высказыванием и т.п. всякое значимое единство независимо от того, является ли оно словесным или визуальным; фотография будет для нас таким жесообщением, что и газетная статья; любые предметы могут стать сообщением, если они что-либо значат» [Барт, 2014, с. 74].

муникации, которым для правильного декодирования концепта любой вторичной семиологической системы необходимо иметь идентичные общие «представления о реальности». При этом различного рода социальные статусы этих участников – возраст, образование, профессия и др. – подверглись беспрецедентной поляризации. Приведу в качестве примера тот же «The Economist»: если в 1920-м году тираж журнала составлял 6 тысяч экземпляров и распространялся в основном среди аграриев и торговцев в Великобритании, то к 1970-му году тот же журнал выходил тиражом в 100 тысяч экземпляров, а в 2012-м году его тираж составлял более полтора миллиона экземпляров, половина которых была продана в США [About Us... Б.г.], плюс через Интернет и мобильные приложения журнал сегодня читают еще несколько миллионов человек. Для редакции журнала все это означает, что, выражаясь научным языком, используемые им вторичные семиологические системы должны быть сконструированы из элементов, конвенциональность которых не будет подвергаться сомнениям подавляющим большинством гипотетических адресатов всей многомиллионной и многонациональной аудитории, а концепт не будет нуждаться в дополнительных комментариях ни для молодого лондонского бизнесмена, ни для стареющего учителя химии из Альбуркерке. Таким образом, «фундаментальное свойство мифологического концепта» [Барт, 1989, с. 84] по Барту – предназначенность, т.е. строгая адресность концепта, предполагающая ограниченность его целевой аудитории по некоему социальному признаку, практически полностью теряет свое значение; ведь в плане глобальной коммуникации более не существует «определенного круга читателей» в принципе, если не брать в счет аспекты коммуникации, связанные с рекламным таргетированием. Обозначая фактор предназначенности мифов, Барт фактически постулирует существование некоего конкретного адресата, обладающего известными характеристиками и представлениями о реальности (Умберто Эко называет его «М-Читателем», т.е. Модельным Читателем [Эко, 2007, с. 17]), что позволяет

конструировать сообщения в плане вторичных семиологических систем таким образом, чтобы именно этот адресат смог бы гарантированно интерпретировать их в нужном автору ключе. Но в условиях современного публичного пространства М-Читателем гипотетически является любой среднестатистический человек, а **конвенция относительно смысла того или иного концепта является продуктом наиболее широкого компромисса, так как число участников конвенции как никогда велико**. Именно по этой причине в наши дни, осознанно или неосознанно, глобальные масс-медиа очевидно сужают ежедневно используемый «алфавит» символов языковых и неязыковых систем коммуникации, избавляются от сложных элементов и смещаются (хотелось сказать – откатываются) в сторону архетипичности знаков, классическим и одновременно современным стержнем которой является всем понятный сегодня так называемый смайлик в его различных ипостасях.

Иными словами, вторичная семиологическая система Ролана Барта продолжает быть действенной, однако вместе с многократным расширением аудитории и значительным изменением ее качественного состава требует иных механизмов наполнения для успешного функционирования в публичном дискурсе.

Обратимся к примерам, приведенным самим Бартом, с тем чтобы показать утрату их характерности в контексте реалий современности. Текст указанного сочинения Барта широко известен, тем не менее процитирую его по необходимости длинными цитатами, чтобы проанализировать сегодняшнюю практическую-демонстрационную ценность этих примеров и представить картину произошедших метаморфоз (все курсивы цитат авторские – В.С.). «Представьте себе, что я ученик пятого класса французского лицея, я открываю латинскую грамматику и читаю в ней фразу, взятую из басни Эзопа или Федра: *quia ego pomior leo...* С одной стороны, смысл слов совершенно ясен: **потому что я зовусь львом**. С другой стороны, эта фраза приведена здесь явно для того, чтобы дать мне понять нечто

совсем иное; обращаясь именно ко мне, ученику пятого класса, она ясно говорит мне: я есмь пример, который должен проиллюстрировать правило согласования предикатива с подлежащим...Ее истинное конечное значение заключается в том, чтобы привлечь мое внимание к определенному типу согласования. Отсюда я делаю вывод, что передо мной особая надстроенная семиологическая система, выходящая за рамки языка: ее означающее само образовано совокупностью знаков и само по себе является первичной семиологической системой (**я зовусь львом**)» [Барт, 1989, с. 79].

Следующий пример Барта – обложка журнала «Пари-Матч». На ней изображен молодой африканец во французской военной форме; беря под козырек, он смотрит вверхна предположительно находящийся там французский флаг. «Я прекрасно понимаю, что хочет сказать мне это изображение: оно означает, что Франция – это великая Империя, что все ее сыны, независимо от цвета кожи, верно служат под ее знаменами и что нет лучшего ответа критикам так называемой колониальной системы, чем рвение, с которым этот молодой африканец служит своим так называемым угнетателям» [Барт, 1989, с. 80]. И в этом случае вновь функционирует надстроенная семиологическая система: есть означающее, которое само представляет собой первичную семиологическую систему (**африканский солдат отдает честь как это принято во французской армии**); есть означаемое (смешение принадлежности к французской нации с воинским долгом); наконец, есть **репрезентация** означаемого посредством означающего[там же, с. 80].

Проблематичность приводимых Бартом примеров-знаков в контексте указанных выше метаморфоз кажется очевидной: без авторских комментариев они теряют смысл и выводимый через них концепт становится непонятным, что естественно, так как «пример на грамматическое правило предназначен для определенной группы учащихся, концепт «французская империя» должен затронуть тот, а не иной круг читателей» [Барт, 1989, с. 84]. Адресаты, которых

имеет ввиду Барт, являются продуктами конкретной и конечной, известной в большинстве деталей среды (учащийся пятого класса французского лицея и среднестатистический гражданин Франции середины прошлого века); членами конкретного локального социума, обладающими некими имманентными качествами. Но, вместе с изменением аспекта предназначенности в качестве фундаментального для конструирования вторичной семиологической системы, любые знаки первичной системы оказываются сомнительными с точки зрения их наиболее общей конвенциональности. Сообщение получает некий код, правильно расшифровать который сможет лишь незначительное число из огромного количества возможных адресатов.

Барт приводит также ряд аспектов конструирования и успешного функционирования рассматриваемой системы, при которых: а) конвенция относительно базовых элементов вторичной системы является валидной, б) сама вторичная система оказывается наделенной только одним, конвенционально одобренным участниками коммуникации смыслом/концептом. «Концепт никоим образом не абстрактен, он всегда связан с той или иной ситуацией. Через концепт в миф вводится новая событийность: в примере на грамматическое правило, в котором факт именованного животного львом предварительно лишается своих конкретных связей, оказываются названными все стороны моего существования: Время, благодаря которому я появился на свет в такую эпоху, когда грамматика является предметом изучения в школе; История, которая с помощью целой совокупности средств социальной сегрегации противопоставляет меня тем детям, которые не изучают латынь; школьная традиция, которая заставляет обратиться в поисках примера к Эзопу или Федру, мои собственные языковые навыки, для которых согласование предикатива с подлежащим есть примечательный факт, заслуживающий того, чтобы его проиллюстрировали. То же самое можно сказать и об африканском солдате, отдающем честь: его смысл, выступая в качестве формы, становится неполным, бедным, лишенным конкретных связей; как концепт «французская империя»

он снова оказывается связанным со всем миром в его целостности - с Историей Франции, с ее колониальными авантюрами, с теми трудностями, которые она переживает теперь» [Барт, 1989, с. 84]. Интересно отметить, что кроме аспекта Времени все остальные аспекты очевидно потеряли свою значимость: История сегодня лишь в незначительной мере наделена инструментами социальной сегрегации, да и самой социальной сегрегации в том смысле, в котором об этом говорит Барт, сегодня не существует. Школьные традиции во многом пересмотрены; сам факт стационарной учебы как чего-то институционально необходимогостановится предметом дискуссий, еще и в контексте доступного растиражированного универсума знаний в «Интернете всего»; учеников французского лицея очевидно заменили европейцы-тинейджеры. Говоря о французе, читающем «Пари-Матч», мы скорее должны представить, во-первых, человека современного-вообще, и только потом европейца-француза. А пример с африканцем и колониализмом в контексте президентства Барака Обамы сегодня и вовсе кажется нелепым.

В то же время, как понятно, бартовская система может оставаться действенной даже в том случае, если речь идет об уже существующей, бытующей в публичной коммуникации конкретной системе, а предполагаемый автор этой системы принимает решение хотя бы в общих чертах сохранить ее концепт: нужно только лишь подобрать соответствующие базовые знаки в унисон с условиями современного публичного дискурса. Можно предположить, что если бы Ролан Барт писал «Миф сегодня» в наши дни, то он мог бы с некоторыми издержками сохранить оба концепта. Фантазируя, представим, что вместо примера на грамматическое правило из латыни в статье появилась бы фраза, например, из какого-нибудь популярного анимационного фильма как наверняка известная современным тинейджерам, а солдата-африканца заменил бы, скажем, араб в форме национальной футбольной сборной. Т.е. приблизительно в том ключе, в котором вторичные семиологические системы продолжают успешно функционировать в упомяну-

тых выше глобальных масс-медиа, освобождаясь от сложных в плане конвенции знаков локальных обществ и заменяя их архетипичными растиражированными знаками глобального общества, при этом сохраняя все основные информационные концепты.

Конфликт интерпретаций

Знаковая система власти, ее «язык» априорно «настроены» на трансляцию смыслов именно посредством вторичных семиологических систем. Даже поверхностный анализ совокупности традиционных актов публичности власти в любой стране мира покажет, какой значительный процент этой публичности составляют именно вторичные семиологические системы. «Президент выступил с обращением к Конгрессу», «глава государства посетил кафедральный собор», «правительство проведет выездное заседание», «губернатор вместе с детьми зажег огни рождественской ели» и т.д и т.п. – все эти типичные фразы из ежедневных новостей в семиологическом плане представляют из себя вторичные системы с разными, но традиционно подразумеваемыми, скажем так – исторически унаследованными институтом-властью концептами (соответственно: «глава государства совершил важный акт управления государством»; «потому что я – Божий помазанник»; «вельможи идут в народ»; «политик есть простой человек и носитель традиционных семейных ценностей»). При этом следует понимать, что именно такой *modus operandi* власти в том или ином государстве не является результатом произвольного выбора или случайностью: он исходит из определенного характера некоторых знаков «языка» института власти. Вспомним, что любой индивид, став легитимным носителем политической государственной власти, обретает в качестве инструмента осуществления власти действующую систему знаков-символов или знаков-оповещений этого «языка». Они определяют место функционирования носителя

власти (город-столица, дворец, дом, адрес, кабинет, трон), его символику (флаги, геральдику, инсигнии и т.д.), его одежду (корону, мантию, костюмы, галстуки и др.); обозначают специальные пространства для вхождения в ритуальную коммуникацию с подвластными (балконы дворцов, площади, залы, кабинеты, государственные масс-медиа и т.п.); определяют специальные коммуникативные формы-фреймы управления государством (указ, приказ, распоряжение, выступление, обращение, государственный ритуал) и т.д. [см.: Согомонян, 2012, с. 148]. Конвенциональность по поводу смыслов этих знаков (как и их сочетаний в виде тех или иных конкретных актов публичности) всего лишь несколько лет назад была настолько безусловной, что позволяла определять эти знаки в контексте социальной воображаемости общества. «Основопологающее прошлое» в целом и символически оформленная традиция осуществления публичного управления были для установленных когда-то конвенций отдельных знаков «языка» власти железными скрепами. Здесь уместно вспомнить определение традиции Клода Леви-Стросса: традиция есть агент обратимого времени, твердо связывающий длительность повседневной жизни с еще большей длительностью институтов [Giddens, 1986, p. 200]. Однако в современных обществах привычность повседневной жизни более не связана существенным образом с прошлым. «Поддержка некоей практики только потому, что она традиционна, более не приемлется; традиция может быть оправдана, но только с точки зрения знания, подлинность которого не удостоверяется традицией» [Гидденс, 2011, с. 155]. Именно поэтому традиционные концепты, создаваемые традиционными же знаками «языка» власти посредством механизма вторичных семиологических систем (т.е. по сути дела – значительное большинство сообщений, транслируемых властью в публичном пространстве) в силу «последствий современности» утратили предполагаемую конвенциональность. И все же они используются властью и в наши дни как бы по умолчанию, т.е. эти концепты продолжают функционировать *asis*, без изме-

нения их конституирующих элементов.

Выше – на примере бартовских текстов – мы уже рассмотрели возможные коммуникативные метаморфозы, которые становятся следствием этого. И, как можно было предположить, любой идентичный пример из сегодняшней политической действительности полностью повторяет картину этих метаморфоз.

Так, например, традиционное сообщение **«президент выступил сегодня с ежегодным обращением к парламенту»**, из года в год распространяемое пресс-службами глав разных государств, как понятно, преследует цель уведомить общество об очередном действии президента, при этом представляя определенную важность этого действия. Соответственно, традиционный концепт этого сообщения таков: **глава государства совершил публичный акт управления государством**. Однако сегодня это сообщение, очевидно декодируется адресатами иным образом, а именно:

А. В условиях современного информационного общества сам факт выступления главы государства перед парламентариями занимает скорее коммуникативный фрейм «обыденности», «рутинности», чем «важности». Такие обращения имеют понятную периодичность, происходят приблизительно в одно и то же время года и даже в том же месяце каждый год. Если речь идет о действующем главе государства и действующем же парламенте, а обращение все так же не предполагает каких-либо дискуссий, то сообщение и вовсе теряет соответствующую маркировку. Более того, для многих потенциальных адресатов это действие главы государства может быть расценено как не-действие, ввиду растиражированных массовой культурой представлений о критериях активной деятельности политических лидеров⁴⁹.

⁴⁹Массовое медийное тиражирование биографий популярных политиков истории и современности по понятным причинам чем дальше, тем более создает эффект стройной сюжетности и невероятной насыщенности жизни политиков, в которых нет места повседневной рутине; это своеобразная «культура highlights», которая создает весьма неблагоприятный фон для ежедневной деятельности

Б.Для современного потребителя этой информации нет какого-либо рационального объяснения тому, зачем президент выступает именно в парламенте. Это как раз тот случай, когда «требование разума вытесняет требование традиции» [Гидденс, 2011, с. 156]. Содержание выступления, как понятно, не может быть полностью сконцентрировано на деятельности парламента как института; оно скорее обращено к народу через его представителей, чем к самим представителям. То есть тематика выступления в целом не связана с местонахождением президента. Скажем, глава государства объявил о новом этапе борьбы с коррупцией. Но он мог бы сделать это с тем же успехом и с той же степенью легитимности в каком-нибудь другом выступлении в любом другом месте (перед студентами в университете, на встрече с фермерами) и даже любом формате, не предполагающем озвучивания текста перед конкретной аудиторией – например, в своем видеоблоге. Таким образом, единственным ответом на вопрос по целесообразности станет указание на существование соответствующей традиции и ритуала в данном государстве или же существование таковой в других странах и системе власти-вообще. Так, автор исследования «The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications» Коллин Шоган особо отмечает, что в процессе озвучивания ежегодного послания Конгрессу президент США имеет ввиду сразу две аудитории: самих парламентариев и народ; подразумевается, что это есть некая форма общения основного носителя власти с гражданами [см.: Shogan, 2015, p. 1]. Однако эпоху информационного общества и Четвертой промышленной революции эффективным для адресатов власти может быть только лишь общение, подразумевающее прямой контакт и интерактивность. Например, прямые линии с главой государства, когда можно звонить, писать короткие сообщения и т.д.

Кстати, здесь имеет смысл отметить, что в условиях информа-

политических лидеров современности.

ционного общества внутривполитическая компаративистика значительным образом утратила свое значение, и соотнесенность многих действий первого лица государства направлена не внутрь страны, к ее истории, к локальному прошлому, а вовне, к действиям носителей власти мирового сообщества.

В. Что касается сообщения о рабочем общении представителей различных ветвей власти «во благо государства и народа» (это значение не только имплицитно заложено в подобных сообщениях, но и явным образом обговаривается в традиции обращения главы исполнительной власти к парламенту [см.: Shogan, 2015, p. 2]), то и оно потеряло свою предназначенность и сегодня практически не имеет адресатов. Дело в том, что в современном обществе институт власти воспринимается в качестве экспертной, или в терминах Энтони Гидденса – абстрактной системы. «Человек может сесть на борт самолета в Лондоне и достигнуть Лос-Анджелеса примерно через десять часов, будучи полностью уверенным не только в том, что путешествие будет безопасным, но и в том, что самолет прибудет близко к назначенному времени. Пассажир, по всей видимости, может обладать лишь смутным представлением о том, где находится Лос-Анджелес на карте мира. Для путешествия нужно сделать лишь минимальные приготовления (действительный паспорт, виза, авиабилет и деньги) – какого-либо знания о фактическом пути не требуется» [Гидденс, 2011, с. 247]. В сегодняшнем мире с его глобальным потребительским обществом человек требует от власти такого же максимального обеспечения всего цикла своей повседневной жизнедеятельности, как требует максимальной безопасности и комфорта от какой-либо авиакомпании. Например, почувствовав для себя опасность на улице и желая устранить ее, граждане прилагают минимальные усилия – просто звонят в полицию, и их не интересует, каким образом полицейские устранят эту опасность. При этом, если абстрактная система доказывает свою действенность в этом плане, то связующим звеном между ней и человеком становится доверие. «Природа современных институтов глубоко связана с механизмами доверия к

абстрактным системам. Доверие к экспертным системам, проявляемое простыми людьми, не является, как это было характерно для досовременного мира, проявлением чувства безопасности по отношению к независимо данному миру событий. Оно порождается вычислением прибылей и рисков в обстоятельствах, когда экспертное знание не просто обеспечивает это вычисление, но в действительности создает (или воспроизводит) универсум событий в качестве результата продолжительного рефлексивного осуществления этого самого знания... Вера к таким системам поддерживается благодаря функционированию знания, в котором простой человек как правило не разбирается» [Гидденс, 2011, с. 213, 215]. Фактически вера в «помазанность» власти сменяется в современном обществе на доверие к власти как к некоей экспертной системе, которая способна обеспечить комфортную жизнедеятельность общества во всех сферах. Понятно, что при этом человек будет ждать от власти проявлений эффективного профессионализма, а не сакральности и непонятных ритуалов. Так что наблюдение за рабочим общением представителей различных ветвей власти для современного человека практически не имеет смысла; все равно, что наблюдать за совещанием экипажа самолета перед полетом.

Г. Наконец, если представить, что декодирование конституирующих знаков вторичной системы производится на абстрактном уровне, то есть адресат не владеет информацией о том, в каком государстве произошло данное событие, то достижение конвенциональности окажется возможным только теоретически. Информационные потоки современного общества существенно расширяют знания людей о вероятных формах-фреймах политики и ее возможных проявлениях, коренным образом меняют представления о тех или иных нормах. Так, сегодня фрейм «глава государства» значительно расширен в плане индивидуальности носителя этого титула: это может быть человек любой расы вне зависимости от расовой демографии страны; это может быть человек, который отказывается повязывать галстук; это может быть гомосексуалист с совершенным каминг-апом и др.

Таким образом, сообщение «президент выступил сегодня с ежегодным обращением к парламенту» фактически может рассказать нам только о том, что **государственная власть в стране продолжает нормально функционировать в соответствии с традицией** (или Конституцией, законом и т.д.). Таков новый концепт этого сообщения, именно эту информацию декодирует сегодня его адресат.

Совершенно очевидно, что здесь мы наблюдаем «конфликт интерпретаций», факт коммуникативной неудачи в интеракции между властью и подвластными. Заложенный властью (и традицией публичного дискурса) концепт остался непонятым, сведя на нет сам смысл коммуникации, ведь любая коммуникация в первую очередь предполагает «передачу, призванную переправить от одного субъекта к другому тождественность некоего обозначенного объекта, смысла или концепта» [Деррида, 2007, с. 40]. Не составляет особого труда догадаться, что с большой долей вероятности подобные результаты будут фиксироваться при рассмотрении всего комплекса тех традиционных актов публичности власти, в которых задействованы вторичные семиологические системы; рассмотренный в этой главе материал, как кажется, не оставляет в этом плане места для сомнений. В итоге ряд традиционных интеракций между властью и обществом не будет достигать поставленной цели, а сообщения власти, когда-то считавшиеся предельно важными, определяющими жизнь государства или мира политическими месседжами, «продолжат функционировать при полном безразличии к собственному содержанию» [Бодрийяр, 2014, с. 12].

Можно делать лишь гипотетические предположения по поводу того, какими могут быть политические последствия этого «коммуникативного конфликта»: базовые общественные предпосылки политических перемен в разных странах находятся на разных полюсах и редко поддаются обобщениям. В то же время можно утверждать, что правильное понимание транзитных процессов в коммуникации между властью и обществом, конструирование публичного дискурса с учетом «новых смыслов», а также совершенствование систем этой

коммуникации в целом без оглядки на традиции позволят любой власти в любой стране сконструировать эффективную и комфортную для общества коммуникативную среду.

Список литературы

1. Барт Р. Миф сегодня // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – с. 72–130.
2. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. / Пер. с фр., Л. Любарской, Е. Марковской. – М.: Добросвет, Издательство КДУ, 2014. – 260 с.
3. Гидденс, Э. Последствия современности. / Пер. с англ., Г. Ольховикова, Д. Кибальчича. – М.: Праксис, 2011г. – 352 с.
4. Деррида, Ж. Позитивизм. / Пер. с фр., В. Бибихина. – М.: Академический проект, 2007. – 160 с.
5. Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня. Неприрученная мысль. / Пер. с фр., А. Островского. – М.: Академический проект, 2008. – 520 с.
6. Рикер, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. / Пер. с фр., И. Сергеевой. – М.: Медиум, 1995. – 416 с.
7. Согомоян, В.Э. Дискурс власти и социальная воображаемость. // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН ИНИОН. – М.: 2012, вып. 3. – с. 138-158.
8. Тодоров, Ц. Теории символа. / Пер. с фр. Б. Нарумова. – М.: Дом интеллектуальной книги, Российское феноменологическое общество, 1998. – 408 с.
9. Эко, У. Роль Читателя. / Пер. с англ. и итал., С. Серебряного. – СПб.: Симпозиум, 2007. – 502 с.
10. Colleen J. Shogan. The President's State of the Union Address: Tradition, Function, and Policy Implications. – Congressional Research Service. – Federation of American Scientists, 2015. Available at: <https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R40132.pdf>
11. Giddens, Anthony. The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. – Cambridge: Polity Press, 1986. – 403 p.
12. The Economist, Nov. 21st 2015. Available at: <http://www.economist.com/printedition/covers/2015-11-19/ap-e-eu-la-me-na-uk>
13. The Economist, official site, About Us. Available at: <http://www.economist.com/help/about-us#About The Economist>

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (ПД) В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Согомонян В.Э.

Фиксирование значительных изменений, произошедших в политическом дискурсе⁵⁰ постиндустриального общества за последнее десятилетие (2007-2017), сегодня практически является общим местом научных исследований в различных смежных обществоведческих дисциплинах – в политологии, социологии, в политической лингвистике и социальной психологии. Многие авторы наблюдают и описывают существенные и во многом идентичные по сути (вне зависимости от той или иной наблюдаемой страны – от Западной Европы до Латинской Америки) изменения концепций⁵¹ участия в политическом дискурсе (ПД) его основных акторов, указывают на очевидные проблемы взаимодействия в политической коммуникации между политиками и избирателями. В частности, подчеркивается критический рост склонности граждан к позитивному восприятию очевидного популизма (подчас в самых крайних его проявлениях [см. Кузнецова, Хиамишвили]), отсутствие адекватного ответа на сущностные поли-

⁵⁰ Во избежание разночтений и перманентных оговорок по ходу изложения материала, определим, что наше понимание этого термина имеет в своей основе определение термина “дискурс”; данное С. Золяном, согласно которому дискурс – это комплексный объект, который есть взаимопроекция правил языка и поведения, социального взаимодействия [17, с. 50]. Соответственно, политический дискурс есть взаимопроекция конвенциональных для социума правил политического языка, “политического поведения” и социально-политического взаимодействия.

⁵¹ Под термином “концепция” здесь понимается совокупность форм и моделей участия в политическом дискурсе.

тические характеристики и качества действующих или потенциальных лидеров, а так же возрастающую предпочтительность электоратом либо внесистемных, либо – как с иронией называли журналисты и политологи одного из недавно избранных в Западной Европе президентов – синтетических лидеров. Действительно, принятая и понятная до недавнего времени классическая концепция (-ии) продуцирования эффективного (априорно рассчитанного на определенную, хочется сказать – традиционно-конвенциональную оценку избирателей), в каком-то смысле – профессионального ПД с одной стороны, и система измерения общественного мнения – с другой, стали давать в современных обществах серьезные сбои, самым значительным из которых можно считать историю с фиаско Хиллари Клинтон в контексте безусловной (почти что непрерывно фиксируемой различными авторитетными организациями на всем протяжении избирательной кампании 2016-го года) социологической победы над Дональдом Трампом. При этом, как известно, эта “американская трагедия” стала всего лишь вершинным моментом, венцом десятилетия политических сюрпризов. Упомянутые метаморфозы и происходящие вследствие этого исторические события еще задолго до последних президентских выборов в США уже успели сотрясти основы традиционных политических систем разных стран. Это и так называемый Brexit, и победа “безгалстучного популиста” Алексиса Ципраса в Греции, и успех партии “Пять звезд” комика Джузеппе Грилло в Италии [Нестеров, с. 291], испанской партии “Подemos” (“Мы можем”) и ее тридцатисемилетнего лидера-телеведущего Пабло Турриона и т.д.

В этом контексте примечательны практически все европейские электоральные процессы 2017-го года – парламентские выборы в Нидерландах (15-го марта), президентские выборы во Франции (в два тура, 23-го апреля и 7-го мая), выборы в германский Бундестаг (24 сентября), парламентские выборы в Австрии (15 октября), парламентские выборы в Чехии (21 октября); как известно, по результатам всех этих выборов был зарегистрирован ряд политических рекордов

и сюрпризов [см. Бершидский, Желтов, Карцев, Строганова].

Существует множество предположений и гипотез относительно того, в чем причина происходящего; расширяющаяся география и масштаб возникших проблем естественным образом стал перемещать их в центр внимания как политиков, так и ведущих политологов и социологов разных стран. Ряд авторов (в частности – Ал. Громыко [11], В. Ачкасов [4], Н. Баранов [5], Д. Зегерт [15], К. Вейланд [46], С. Левитски и Дж. Локстон [43], О. Варенцова [8] и др.) видят в основе генезиса наблюдаемых процессов коллапс партийной системы, имеющий место в некоторых странах; кризис госуправления, присущий переходным периодам отдельных государств; экономические проблемы; недовольство результатами интеграционных процессов (в частности – евроинтеграции); недовольство глобализационными процессами, которые подстегивают националистические настроения и создают наиболее благоприятные условия для разворачивания популистскими лидерами псевдоборьбы за независимость и суверенитет своих стран; неоднозначными результатами многолетних реформ, плоды которых оказались “сладкими” лишь для части населения развивающихся стран и т.д..

Еще одна гипотеза выдвинута в шестом по счету аналитическом докладе Национального Разведывательного Совета США «Глобальные тенденции: парадокс прогресса» (Global Trends: The Paradox of Progress) [см. Global Trends], который готовился широким кругом специалистов различных профессий на протяжении 4-х лет (2012-2016) и представляет тенденции мирового развития на ближайшие годы. Авторы доклада заявляют о том, что сегодня мы являемся свидетелями парадокса: *достижения научно-технического и информационного прогресса формируют во многом более опасный мир* (выделено мной – В.С.) и в то же время открывают гораздо больше возможностей для его развития. Специалисты НРС подчеркивают, что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения различных групп людей, расширение их прав и возможностей, повышение уров-

ня жизни. Однако, этот же прогресс вызывает такие потрясения, как мировой финансовый кризис 2008 г., “арабская весна”, *глобальный рост популистской, антиинституциональной политики* (выделено мной – В.С.). Эти потрясения демонстрируют всю хрупкость достижений прогресса и в то же время подчеркивают необходимость глубоких изменений в картине мира, что предсказывает нам туманное и непростое будущее. Кроме того, по мнению экспертов НРС, “материальная сила” хоть и сохранит свое важное значение в решении вопросов на геополитическом и государственном уровнях, *наиболее влиятельные акторы в целях как конкурентной борьбы, так и кооперации будут делать акцент на сетевую и информационную сферу, так же как и на область общественных отношений* (выделено мной – В.С.) [см. Global Trends].

Имеющее место в данном докладе акцентирование информационно-коммуникативных аспектов в объяснении наблюдаемых перемен в политическом бытии современных обществ в целом, и в ПД – в частности, видится нам совершенно оправданным. Ведь по сути, значительная часть тех беспрецедентных изменений, которые вошли в нашу жизнь вместе с научно-технической революцией начала XXI века⁵², в первую очередь коснулась именно сферы публичного взаимодействия – межличностной и публичной коммуникации, что уже само по себе является поводом для предположений относительно причин представленных выше изменений в ПД развитых обществ. Очевидно, что драматические изменения в общественной коммуникации привели к не меньшим изменениям в человеческой и социальной психологии, чем те, которые имели место в результате изобретения книгопечатания [Маклюэн, с. 207]. Как отмечает главный редактор российского журнала “Власть” А. Лапшин, “социокультурная образующая цивилизации оказалась неспособной адаптировать современного человека к прессу компьютерно-сетевых отношений” [Лап-

⁵² Ее называют также “Четвертой информационной революцией”.

шин, с. 16]. Именно поэтому, наряду с исследованиями экономического и институционально-политологического характера, одним из наиболее перспективных направлений исследований для выявления генезиса обозначенных проблем, на наш взгляд, может быть комплексное трансдисциплинарное изучение политического дискурса до-современного и современного (с 2007 года) постиндустриального общества, с акцентированием внимания на произошедших в результате наступления определенных усдлвий **трансформациях символического универсума ПД** как “матрицы всех социально объективированных и субъективно реальных значений” [Бергер, Лукман, с. 66] политики, а так же с параллельным исследованием **трансформаций публичного пространства**, в котором, в силу хранимых им определенных “условий мира”, смыслы данной матрицы обретают конвенциональное для участников политической коммуникации значение и которое является легитимным и единственно возможным пространством для символического обмена в рамках ПД.

Для того, чтобы выявить основные причины и проанализировать генезис трансформаций политического дискурса, а так же в наиболее полном масштабе продемонстрировать компаративную картину различий между предшествующим и нынешний современным ПД, на наш взгляд, следует в первую очередь обратиться к вопросам, касающимся его онтологии и представить некоторые сущностные характеристики ПД до настоящего времени, обозначить “исходные позиции” ПД до того момента, когда этот дискурс начал подвергаться трансформациям в силу изменившихся условий. Конкретнее, следует представить механизмы продуцирования ПД; выделить некоторые особенности “политического языка” как основного инструмента продуцирования ПД, а так же представить систему смыслов ПД, некоторые аспекты конвенциональности этих смыслов и структурированные в социуме механизмы их экстерииоризации и оценки. Такая методика исследования видится нам наиболее эвристичной в плане решения затрагиваемых научных задач. Ведь говоря об эпохе

современности мы, как понятно из вышесказанного, имеем ввиду не очередной этап эволюционного развития общества, а переживаемый сегодня период так называемого исторического “разрыва”, который отделяет как современные социальные институты от традиционных социальных порядков в целом [Гидденс, с. 117], так и ряд современных политических практик от релевантных до недавнего времени традиций осуществления политической деятельности в частности. Наличие такого “разрыва” в политической жизни сегодняшнего общества и в ПД очевидно. Например, практика неопосредованного, информативного по характеру и неритуального, при этом самостоятельно организованного ежедневного общения политического или государственного лидера с гражданами (отметим хотя бы те же периодические записи президента Трампа в своем личном аккаунте в Twitter), по целому ряду признаков не имеет аналогов в прошлом и, в силу некоторых характеристик, значительным образом девальвирует традиционные ритуалы и существующие практики подобного общения. Похожих примеров большое множество: формы и виды современной политической коммуникации со временем все меньше и меньше соотносятся с палитрой средств публичности традиционной политики. Соответственно, с учетом этих реалий, видится необходимым создание нужного компаративного контекста, базиса для представления трансформаций и процесса метаморфоз традиционного ПД; в обратном случае, на наш взгляд, истинная природа произошедших изменений останется неясной.

В первую очередь обратимся к двум аспектам “политического языка” (речь идет *и* о естественном языке, используемом в той или иной политической модальности, *и* о символическом универсуме политики в целом, включающим в себя несколько “языков” [см. Ильин, с. 12]: “язык тела”, например – публичное аутодафе, сидячую забастовку и т.д; или “язык жестов”, например – поднятые вверх указательный и средний пальцы, образующие латинскую букву V; поднятый кулак; скинутая ладонь; рука, прижатая к сердцу и т.д.; или “язык локуса”,

например – дворцовый балкон, с которого обычно выступает правитель; зал заседаний парламента; площадь, на которой обычно проходят массовые митинги; некий адрес, по которому расположена чья-то резиденция и т.д.). Во-первых, определим, что ПД в силу ряда функциональных характеристик обладает статусом институционального/профессионального дискурса. Знаки “политических языков”, способы “говорения” их посредством, как и те или иные сочетания знаков (от простых жестов и лозунгов до сложных текстов или дискурсивных фреймов), которые осмысливаются и становятся “культурными самоочевидностями” (Хабермас) в разного рода политически маркированных ситуациях, понимаются индивидами в достаточной для обеспечения успешной коммуникации мере и являются для них социальными *данностями* [см. Searle, с. 8], посредством которых в обществе перманентно осуществляется политическая коммуникация. В то же время, следует проводить разграничение между знанием системы этого языка и умением *понимать* его в полной мере и, тем более, *использовать* его в тех или иных политических целях; продуцирование ПД и участие в нем стратифицировано в силу многоуровневости этого дискурса, в котором каждый следующий уровень предполагает более подготовленное и профессиональное участие. Определить наступление коммуникативной “ситуации политики”, как и маршрутировать на митинге, умеют многие; другое дело, если индивид хочет правильно интерпретировать некую политическую ситуацию и выявить ее истинный смысл, предугадать последствия этой ситуации, или же принимает решение стать субъектом политики и намечает для себя достижение неких политических целей. Понятно, что в этих случаях приходится задействовать универсум “языка политики” в наиболее полном объеме, что требует намного большего, чем просто владение политическим “алфавитом”; это уже сфера деятельности профессиональных политологов и политиков. Если провести аналогию между универсумом смыслов ПД и филлморской “библиотекой фреймов”, то, в данном случае, речь идет о том в какой мере индивид и профессиональный по-

литик/политолог владеют “пакетами знаний, дающих описание типовых объектов и событий” [Демьянков, с. 190]. Уже в силу такой взаимосвязанности степеней политической активности с уровнями сложности понимаемого и используемого “политического языка” символический универсум ПД можно отнести к разряду профессиональных языков/символических систем – наподобие латыни в медицине или метаязыка программирования. Генезис такого статуса, помимо ряда исторических причин, очевидно находится в сложности интерпретации ПД в плане корреляции с его референтами в объективной действительности.

Во-вторых, подчеркнем институциональную, конституирующую роль “языка локуса” в ПД. По сути, объекты-знаки политического локуса обнаруживаются индивидами как данности в качестве “институциональных местоположений” (Фуко), которые являются *легитимными пространствами продуцирования* ПД. Совершенный вне этих местоположений политический акт может расцениваться обществом (оговоримся – мог расцениваться до-современным обществом) в качестве нелегитимного или, по крайней мере, неудачного; и наоборот – их актуализация в ПД в целом ряде случаев не просто легитимизирует тот или иной акт политики или акт политической коммуникации, но и обеспечивает удачные условия для реализации политических и властных перформативов. Можно с уверенностью утверждать, что именно трансформации политического локуса, разрушение его обособленности в публичном пространстве и слияние с ним, девальвация его значения в плане источника *origine legitime* политики и легитимного публичного пространства для продуцирования ПД привели к революционным трансформациям этого дискурса.

Отметим наличие еще одной существенной характеристики ПД, которая остается константной несмотря на все “разрывы” современности и играет значительную роль в эвалюации членами социума феномена ПД и политической деятельности как таковой; мы упомянули о ней только что. Это априорно объективируемые и пе-

риодически подтверждаемые социально-политическими практиками воображаемые представления о *характере политики* в плане сомнительной отнесенности (или не-отнесенности вообще) к объективной действительности ее речевых актов и иных актов политической коммуникации, проще говоря – о ее лживости. Сомнения по поводу истинности любых намерений политиков, декларируемых ими, являются постоянными спутниками любого ПД в любом обществе по той понятной причине, что референциональная пустота ПД является неизменным и общеизвестным “логическим атрибутом” (Делез) политического языка, сущностным свойством политики. “В отличие от обычного референтного высказывания, критерием (политического высказывания – В.С.) оказывается не истинность/ложность высказывания, а его успешность... Истинностная оценка высказывания оказывается либо невозможной... либо нерелевантной... Это – Речь как действие (а не просто описание действия), смыслом и значением этого действия станут не столько смысл и значение сказанных слов, сколько имевшие место последствия сказанного”, – отмечает С. Золян [Золян, 2016, с. 51]. Именно этим обусловлена ограниченность формулировок политического языка, повторяемость фраз в ПД, неоднозначность высказываемых мыслей – в точном подобии со знаменитым оруэлловским *doublespeak*; ведь, по сути, один из самых важных моментов в “профессиональной” политической риторике – по-возможности не создавать отсылки к абсолютно точному референту, при этом сохранить иллокутивную силу речи и добиться конкретных перлокутивных результатов. В работе “О популистском разуме” Э. Лакло, рассматривая механизм популизма как способ понимания онтологического строения политической сферы в целом, в качестве одной из ключевых категорий для анализа популизма указывает так называемое “плавающее означающее”, которое появляется по причине необходимости назвать объект, который одновременно невозможен и необходим [Laclau, 2005, с. 72]. Лакло также указывает и на константную, онтологическую тропологичность ПД: “Если

репрезентация чего-то нерепрезентируемого является собственно условием репрезентации как таковой, это означает, что (искаженная) репрезентация этого условия включает в себя *субституцию* (курсив автора – В.С.) – являясь, таким образом, тропологической по своей природе” [Laclau, 2014, с. 158]. “Существует искусственный семиозис вербального языка, который либо показывает себя недостаточным для того, чтобы отдавать отчет о реальности, либо хитроумно используется для того, чтобы замаскировать ее, практически всегда в политических целях”, – пишет об этом У. Эко [Эко, с. 466]. Определение постоянно актуальной коммуникационной дилеммы *истина-ложь* в ПД изначально не является предметом опыта, а познается контекстуально (объективируется как логический атрибут политики) и актуализуется сразу же, как только актуализуется ПД; эта дилемма как бы обрамляет этот дискурс и является его эксплицитной и конвенционально принятой сущностной характеристикой. При процессировании ПД ответы на вопросы по поводу истинности/ложности в силу объективных причин являются отложенными во времени, и в силу этого аспекта внимание адресатов к продуцируемым в ПД смыслам ослаблено и более направлено ко внеязыковым (паралингвистическим) атрибутам ПД, которые могут создавать определенные ожидания в плане отнесенности к действительности референтов отдельных актов ПД. Кроме того, ПД, благодаря ряду правил политического языка/речи (яркий пример – “плавающее означающее” Лакло) имеет внутреннюю “саморазрушающую” силу – этот дискурс в подавляющем большинстве случаев устремлен к презентированию в качестве не-этого-дискурса; он часто “маскируется” под другой, неполитический дискурс.

Скажем несколько слов и об аспектах смыслообразования в ПД. Здесь особого внимания заслуживает аспект соотносительности “мира”

политики с феноменом *конечной области значений*⁵³ – т.е. сферой коммуникативно-символической социальной деятельности, находящейся вне окружающей “высшей реальности” и являющейся анклавом иной действительности, отмеченным характерными для него значениями и специфическими способами восприятия [см. Бергер, Лукман, с. 20]. “Блестящая иллюстрация (феномена конечной области значения – *В.С.*) – театр. Переход из одной реальности в другую отмечен тем, что поднимается и опускается занавес. Когда занавес поднимается, зритель “переносится” в другой мир со своими собственными значениями и устройством, не имеющими ничего или, напротив, много общего с устройством повседневной жизни. Когда занавес опускается, зритель “возвращается к реальности”, вернее, к высшей реальности повседневной жизни, по сравнению с которой реальность, представленная на сцене, теперь кажется незначительной и эфемерной, сколь бы живым ни было представление несколько минут назад. Эстетический и религиозный опыт богат такого рода переходами, поскольку искусство и религия создают конечные области значений” [Бергер, Лукман, с. 20]. Соотнесенность этого феномена с ПД и политической деятельностью в целом кажется очевидной: “занавесом”, начинающим актуализацию политически маркированной ситуации в публичном дискурсе может быть, например, некий конвенциональный “стартовый” элемент политической риторики, обычно используемый субъектами дискурса (“*My fellow americans*”, “*Братья и сестры*”, “*Дорогие сограждане*” и т.п.); на политической

⁵³ Интересен целостный отрывок из произведения Шюца, впервые представившего это понятие: “Именно значение наших переживаний, а не онтологическая структура объектов, конституирует реальность. Каждая область значения – верховный мир реальных объектов и событий, в который мы можем встраиваться своими действиями, мир воображений и фантазмов, как, например, игровой мир ребенка, мир сумасшедшего, а также мир искусства, мир сновидений, мир научного созерцания – обладает своим особым когнитивным стилем. И именно этот особый стиль, характеризующий некоторую совокупность наших переживаний, конституирует их как конечную область значения. [Шюц, с. 510]

“сцене” на протяжении конкретного временного отрезка может происходить некое действие, тем или иным образом в своих конституирующих элементах подпадающее под конвенциональные для социума категории “разрешенных” или легитимных действий для разворачивания политического “спектакля” (выступления, дебаты, безмолвные акты с использованием “языка тела” и др.); политически активные граждане (“присутствующая публика”) могут принимать участие в этом действе через выражение одобрения/порицания; наконец, вместе с окончанием “спектакля”, “публика” перестанет быть таковой (сочувствующими, партийными активистами, избирателями, митингующими и т.д.) и вернется в категорию высшей реальности – в категорию граждан-обывателей, более или менее смыслящих в политике и пассивно “переживающих навязываемые трансценденции Природы и Общества” [Шюц, с. 501]. Понятно, что ряд таких аналогий можно продолжать очень долго (например – отдавая дань моде – сравнить политический процесс с телесериалом), что лишь подтверждает высказанное выше предположение об указанном характере “мира политики”. Так, конечные области значений, согласно определениям А. Шюца, характеризуются особой напряженностью сознания (более или менее постоянным процессом потребления индивидом политически значимой информации на политически значимом временном отрезке), особой временной перспективой (политический кризис, предвыборный этап, поствыборный этап), особой формой самопереживания индивида (я – гражданин, я – патриот, я – демократ) и, наконец, специфической формой социальности (участие во временных конъюнктурных группах поддержки и др.) [см. Шюц, с. 510].

Если “мир” политики, имеющий “рамку потенциальностей” и ограниченный “диапазон всех возможностей” деятельности в этом “мире” [38Шюц, с. 501] есть конечная область значений, то политический дискурс, как единственный инструмент “творения” этого “мира”, соответственно, “способен” (или “имеет право”) продуцировать лишь те смыслы, которые не выходят (не должны выходить) за

некие конвенциональные рамки; иными словами, в политике не должно совершаться некое действие, смысл которого выходит за рамки признанного обществом универсума политических смыслов; точно так же, как и на сцене театра не должно происходить нечто, что не присуще театральному искусству. Контроль за таким порядком по умолчанию устанавливает само общество посредством различных социальных институтов, этических норм и законодательных механизмов. “Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события”, – отмечает по этому поводу М. Фуко [Фуко, 1996, с. 21]. “Общество на всех стадиях своего развития... исключает действие в виде свободного поступка. Его место занимает поведение, которое в различных по обстоятельствам формах общества ожидается от всех его членов и для которого оно предписывает бесчисленные правила, все сводящиеся к тому, чтобы социально нормировать индивидов, сделать их социальными и воспрепятствовать спонтанному действию” – пишет Х. Арендт [Арендт, с. 55]. Здесь перед нами вырисовывается известный *комплекс рестрикций*, запретных установлений общества, призванных сохранить конечную область значений ПД в конвенциональном виде и социальный институт политики, скажем так, в надлежащем и приемлемом (закрепленном в социальной воображаемости данного социума) состоянии. Это, например, задержание всякого рода цензов, только при строгом соответствии которым индивид получает доступ к конвенциональным локусам политики и возможность легитимного продуцирования ПД: возрастной ценз, образовательный ценз, ценз оседлости, гражданства, ценз так называемой “карьерной (партийной, номенклатурной) проходимости” и др. Здесь важно отметить, что контроль за “соблюдением жанра”, контроль над смыслами ПД имеет два уровня: *контроль по допуску к*

пространству – это регулирование права использования легитимного авторитетного пространства-сцены, политического локуса (имеется ввиду целый ряд указанных выше цензов, а также различных процедур инициации), и *контроль над совершением действий и продуцированием смыслов* в уже достигнутом пространстве, по сути – это контроль над политическим языком (“художественная цензура”); центральными механизмами здесь, безусловно, являются политическая этика и так называемая “политкорректность”.

В контексте логики сказанного возникает необходимость сформулировать следующий вопрос: а можно ли вывести некую, хотя бы условно конечную гамму, оформленный и конечный репертуар смыслов политического дискурса? Или (если вывести вопрос к более высокому уровню обобщений): можно ли редуцировать политическую деятельность как таковую к “производству” ограниченного количества политических смыслов и оперированию ими в публичном пространстве?

В силу очевидной действенности целого ряда вышеперечисленных факторов, ответ может быть однозначно утвердительным. Как мы убедились из предыдущего анализа, репертуар результатов политической деятельности объективно ограничен, известен из над-индивидуального опыта и закреплён в социальной воображаемости. Все, что ни делали бы политики, укладывается для акторов – адресантов и адресатов – ПД в рамки уже известных ожиданий и, одновременно, исторических сюжетов. Так, в свете “Уотергейта” практически любой скандал с участием политиков получает в публичном дискурсе название-заголовок с окончанием *-гейт* и создает определенные ожидания в плане логики развития событий; более того – заверения политиков об их непричастности к конкретным событиям, связанным с нарушением действующих законов, так или иначе рассматриваются преимущественно в контексте истории с президентом Никсоном. Или: любой поствыборный митинговый “марафон” с целью оспаривания результатов подтасованных (в кавычках или без)

выборов создает ожидания по всему известному спектру развития событий – от постепенного угасания или жестокого подавления волнений до “оранжевой революции” с бескровной сменой власти или вооруженного восстания; при этом, в любом случае действующие лица автоматически ассоциируются в публичном дискурсе с наиболее известными в данном конкретном плане “персонажами” – Че Гевара, Горбачев, Саакашвили и т.д.. В этом контексте интересно вспомнить об одном из наблюдений Ю. Лотмана относительно особенностей *линейного времени культурного сознания*: “Лежащие в основе миропорядка “первые” события не переходят в призрачное бытие воспоминаний – они существуют в своей реальности вечно. Каждое новое событие такого рода не есть нечто отдельное от “первого” его праобраза – оно лишь представляет собой обновление и рост этого вечно-го “столбового” события. Каждое убийство братом брата не представляет собой какого-либо нового и отдельного поступка, а является лишь обновлением каинова греха, который сам по себе вечен” [Лотман, с. 108]. Фактически, мы наблюдаем *этернизацию значений политических событий* (отдельных актов ПД или целостных политических “сюжетов”) в восприятии общества. Напомним, явление *этернизации истинностного значения предложений* описывалось В. Куайном для тех случаев, когда то или иное предложение (например – “Дверь его комнаты была открыта всю ночь”) релятивировалось с его контекстом и становилось “вечным” – условия его истинности, “поглотившие” его контекст, становились контекстно-независимыми. В этих случаях, согласно В. Куайну, пропозицию выражает не предложение “Дверь открыта”, а *вечное предложение* “Такая-то дверь в такой-то момент открыта” [Золян, 2014, с. 43]. В плане политической деятельности, фактически, *этернизируется целостное политическое событие, вкуне с ситуацией, в котором произошло, и результатами, к которым оно привело*. Соответственно, уже постольку можно полагать, что ПД сводится к некоему ограниченному универсуму смыслов-сюжетов и можно свести любой

фрагмент политического дискурса к одному из известных из социального опыта “вечных” смыслов, а дискурс как таковой – к “жонглированию” этими смыслами в публичной сфере. Не случайно, что комментирование, интерпретация политических событий (редуцирование их “частных смыслов” к некоему глобальному политическому смыслу или известному сюжету) при помощи инструментов политологической герменевтики является одной из самых распространенных политических и политологических практик и основной функцией так называемой “объяснительной политологии” – самого популярного жанра в новостных масс-медиа.

Кроме того, на поставленные вопросы позволяет ответить утвердительно и структура семантики естественного языка (как понятно, этот аспект акцентируется нами с учетом преимущественно языкового характера ПД). “Говоря о разных способах выражения одной и той же мысли, или о семантическом тождестве внешне различных высказываний, мы имеем ввиду, что существует некий не данный нам в прямом наблюдении семантический язык, или “язык мысли”. Если допустить существование такого языка, то производство осмысленного предложения можно представить как перевод с семантического языка на естественный, а понимание предложения – как перевод с естественного языка на семантический. Значение слова в общем случае не является элементарной семантической единицей; оно делимо на более элементарные смыслы. Небольшое число элементарных смыслов дает большое число возможных комбинаций” [Апресян, с. 253], – отмечает Ю. Апресян. На наш взгляд, именно из элементарных смыслов политического дискурса состоит инструментарий ПД. При этом, каждый из этих элементарных смыслов политики в процессе дискурсивного “развертывания” становится одной из парадигм продуцирования ПД в пределах возможностей экстерииоризации политики в публичном пространстве. Так, элементарные смыслы “**быть**”, “**мочь**”, “**долженствовать**”, “**уметь**” и “**желать**”, использующиеся в качестве ансамбля (эксплицитно или имплицитно, в пря-

мых или коннотативных значениях), являются основами внутривнутриполитического дискурса, как минимум – при регулировании властных отношений: “Эта власть не может управлять страной”; “В стране фактическое безвластие”; “Президент здоров и у него сильное рукопожатие”; “В это сложное время никто не смог бы управлять страной лучше нас”; “Мы сможем вывести страну из кризиса”; “Это тот лидер, который нужен нам сейчас”; “Сегодняшняя власть нелегитимна”; “Он не сумел уберечь страну от потрясений”; “Власть не желает работать во благо народа”; “Власти должны решить этот вопрос”; “Мы не хотим, чтобы он сидел бы в президентском кресле” и т.д. В то же время, складывающиеся из различных комбинаций этих смыслов “молекулы” значений, как видим, во множестве случаев являются креаторами конкретной политической позиции в зависимости от того, используются ли они теми или иными акторами в положительных или отрицательных значениях.

В данном контексте интересно также заметить, что транслируемые участниками ПД смыслы (практически в любых актах, которые можно продуцировать в границах этого дискурса, в том числе – неязыковых) по выполняемым ими функциям в дискурсе, совпадают с четырьмя типами отношений, участвующими в логико-синтаксической организации нарративного предложения [см. Арутюнова, с. 357]: это *экзистенция* (утверждение/демонстрирование существования), *номинация* (называние/именование и/или эвалюация посредством называния), *идентификация* (утверждение тождества; дифференциация; обособление или включение) и *предикация* (характеризация). В ПД подтверждениями *экзистенции* актора-субъекта, например – носителя власти, являются различного рода ритуалы (с озвучиваемыми в процессе текстами или без) – посещение памятных мест, присутствие на массовых парадах и шествиях, на публичных мероприятиях и т.д. Заявления на данную тему, как понятно, затрагивают вопрос “существования”, “присутствия” власти в стране в плане ее дееспособности (“Такое ощущение, как будто у нас в стране нет ни

президента, ни правительства”; “Президент прервал отпуск и вернулся в столицу”). Актами *номинации* и одновременной *эвалюации* является, например, использование собственных имен в их так называемой “событийной” или исторической интерпретации (“Товарищ Сталин – это Александр Невский наших дней”). “Страна начала разваливаться именно при Горбачеве”; или: “Именно благодаря его усилиям сегодня мы не находимся в состоянии войны, а занимаемся мирным строительством” – вот примеры отношения *идентификации* в ПД. Здесь важно отметить, что идентификация в актах ПД может иметь различный характер в зависимости от поставленной перед отправителем сообщения цели. Это может быть либо прямое утверждение самоощущения (“Я, как истинный патриот своей страны”), либо разнонаправленная индивидуализация: отмежевание от некоей социальной/политической группы (“Я не люблю коммунистов, но я и не маккартист”), обособление среди “других” (“Только он понимал ошибочность выбранного пути”), указание на принадлежность к некоей социальной или политической группе (“Я был одним из первых, кто записался добровольцем и ушел на фронт”; “Будучи парнем из простой рабочей семьи, он сумел выбиться в люди”) и т.д. Наконец, *характеризацией* является любое очередное действие актора ПД или же символическое представление этого действия в ПД; по сути, это вся остальная деятельность актора ПД вне вышеперечисленных трех отношений. “Отношения характеризации, – отмечает Арутюнова, – семантически многообразны и допускают бесконечное количество реализаций” [Арутюнова, с. 367]. В то же время, те или иные действия актора ПД, обобщаясь в диахронии, могут влиять на его существующую номинацию, порождать для него иные эвалюации, как и менять характеристики его идентификации.

Говоря об изменившихся правилах взаимодействия в публичном пространстве, мы имеем ввиду перемены, произошедшие за последнее десятилетие в самой публичной сфере развитых обществ, которая является основным пространством осуществления политической

деятельности. Эти перемены, по сути, в первую очередь касаются скорости, качества/количества и унификации символического обмена в публичной сфере, которая, при этом, уже лишь отчасти принадлежит какому-либо отдельно взятому обществу – это во многом публичная сфера глобализованного мира (отсюда и возникла потребность унификации, некоего приспособления знаковых систем к наиболее общим коммуникативным конвенциям разных обществ). Тотальное распространение Интернета и смартфонов, подключенных к социальным сетям, с возможностью получения/транслирования видео/телевизионного сигнала в любой момент и в любом месте, как и получения push-up сообщений от информационных медиа (можно называть это явление “стихийным информированием”), как понятно, в разы повысили значение коммуникативного аспекта в жизни социума, придав этому аспекту принципиально новые характеристики и наделив его особой важностью. Если ранее сфера публичной коммуникации являлась параллельным реальному “лучшим” миром, локусом для *origine legitime* публичного дискурса, для попадания в который индивиду нужно было получить основанный на общепризнанном авторитете (политическом, культурном, научном и др.) или личностных достижениях особый доступ (при этом, в случае потери оснований доступа публичная среда выталкивала, как бы низводила индивида в непубличную среду), то сегодня публичная коммуникация – это естественная среда жизни развитого общества, не отделенная границей в буквальном и перенесном смысле этого слова от повседневного “жизненного мира”. Инструментарий (язык и иные знаковые системы), как и навыки вхождения в опосредованную Сеть межличностную и полностью открытую общественную коммуникацию из области факультативных знаний перешли в область обязательных (с точки зрения социализации индивида), кроме того – что наиболее важно в контексте интересующих нас вопросов – деятельность в публичной сфере более не является результатом привелегированного доступа, а есть один из естественных видов повседневной деятель-

ности индивида, живущего в современном обществе. В наши дни феномен *социального измерения* как критерий детерминирования социальных и общественных действий человека практически утратил свою функциональность: действия членов сегодняшних развитых обществ в той или иной мере, тем или иным образом, но все же предполагают некую интеракцию и/или есть следствие некоей интеракции. Так, например, феномен фотографии из инструмента памяти трансформировался в инструмент коммуникации, и сам акт фотографирования сегодня направлен на предстоящее демонстрационное представление результатов. Другим по различным каналам коммуникации, при этом различные модусы фотографирования в подавляющем большинстве случаев есть результат предыдущих известных в публичной сфере интеракций посредством фотографии и учитывает аспекты их успеха (трендовости, так называемой “хайповости”, модности и др.).

Все это в наиболее полной мере и, может быть, в первую очередь повлияло на политику: традиционные акторы ПД, обладающие привилегированным доступом и своеобразным правом наделяния таким доступом новых “заслуженных” акторов, потеряли свою эксклюзивность, а публичная сфера потеряла сакральность. Вследствие этого значение коммуникативных аспектов в осуществлении политической деятельности в обществе изменилось самым значительным образом, что оказало столь же значительное воздействие на характер феномена политики как таковой. Всего один пример: в современном развитом обществе политический процесс стал практически полностью совпадать со своей экстерииоризацией. Политического процесса вне публичного дискурса сегодня практически не существует – “частность” политики (в терминах ван Дейка – “кабинетные встречи” [Дейк ван, с. 31]) все больше и все чаще становится достоянием публичного. Если в предыдущую эпоху политический процесс в рамках общепризнанной рациональности должен был экстерииоризироваться в привилегированных моментах, и такой *modus operandi* был одним из важных конституирующих элементов его морфологии, пре-

рогативой апологетов политики, то сегодня не существует не только такого модуса, но и, пожалуй, такой возможности: какое-угодно-мгновение политической жизни потенциально экстериоризируется, нередко – вне зависимости от интенции возможного адресанта и тем самым становится элементом и креатором политического процесса. Достаточно изучить информационную картину политического процесса в любом современном развитом обществе и мы увидим, каким образом перед нами – в синхронии или диахронии – будет поступательно вырисовываться актуальный политический процесс в чуть ли не каждом (значимом или нет в политическом смысле) действии каждого из субъектов данного процесса, в целом с достаточной степенью точности отражая его суть. При этом, следует заметить, что изучая, мы будем наблюдать разнонаправленный в плане интенций адресантов процесс распространения информации; то есть, наряду с действиями “постановочного” характера (изначально направленного на опубликование) в равной или даже большей мере информационную картину будут составлять сообщения, появляющиеся помимо желания (в кавычках или без) политиков. Не трудно представить, насколько это обстоятельство меняет один из базовых интерфейсов политики – образ политического лидера. Сегодняшнему политическому лидеру необходимо обладать своего рода синкретическими качествами – политика, шоумена, блоггера, селебрити и т.д. (здесь уместно вспомнить описанных Дж. Фрэзером в “Золотой ветви” царей-жрецов, одновременно обладающих практическими навыками руководителя и аморфными способностями служителя культа [см. Фрэзер, с. 72]). В то же время, шоуменам, селебрити и блоггерам открыта дорога в политику в силу обладания навыками деятельности в публичной сфере с одной стороны, и в силу размытости границ между “просто публичной” и политически значимой деятельностью – с другой; ведь экстериоризация из средства превратилось в одну из возможных целей продуцирования ПД. В современных условиях теневой или не особо жалующий публичность лидер, наделенный сильными управ-

ленческими качествами, в зависимости от конкретных политических обстоятельств может быть обречен на поражение в политической борьбе с кандидатом, умеющим в полной мере использовать современные технологии экстерииоризации – вне зависимости от своих управленческих навыков, опыта и знаний. Кажется, уже в этом контексте засилие популизма в современном ПД и его популярность в электоральной среде может вполне расцениваться как прямое следствие произошедших перемен в системе символического обмена в публичном пространстве.

Мы уже писали о том, что в силу целого ряда вызванных современностью изменений в системе общества и, конкретно, в ее коммуникативной системе, исторически закрепленная конвенциональность по поводу отдельных знаков «языка» политики оказалась утерянной; однако, множество интеракций в рамках ПД, в частности – дискурса власти, продолжает в наши дни осуществляться при помощи тех же знаков так, как будто никаких изменений не происходило. Наиболее ощутимым следствием этого явилось то, что закладываемые политиками и властью в те или иные акты публичности смыслы стали непонятными для адресатов (либо их интерпретация изменилась самым существенным образом), и, фактически, ряд актов публичности политики/власти трансформировался в череду коммуникативных несоответствий [Согомонян, 2016, с. 137]. Так, например, сообщения о зарубежных визитах главы того или иного государства и политических результатах этих визитов продолжают традиционно транслироваться многими администрациями глав разных государств через СМИ как важные, порой – ключевые события в политической жизни страны. Но в условиях доступности глобальных транснациональных медиа, которые ежедневно демонстрируют репортажи о двух-трех визитах разных глав государств с разных континентов (тем самым рутинизируя данный фрейм публичности), в контексте неоднозначности политических результатов этих визитов для современных обывателей (если не произошло ничего экстраординарного – адресаты

сообщения могут и не уловить сути этих результатов), в контексте слабой с точки зрения событийности (в современной понимании) и значимости темы, а так же типичности подобных событий благодаря созданному множеству популярных исторических материалов (легкодоступных в любой момент в Интернете), зарубежный визит главы государства (сообщения о нем в рамках ПД) в подавляющем большинстве случаев декодируется адресатом не как нечто важное, а лишь как утверждение экзистенции власти и простой факт ее дееспособности, при этом – лишь в той или иной мере, в зависимости от эмоциональной окраски визита и характера оценок наиболее популярных комментаторов в СМИ и социальных сетях.

Так, сообщения о выступлении политического деятеля перед той или иной аудиторией на конкретную заданную тему с затрагиванием наиболее актуальных вопросов политики прежде являлось одним из наиболее действенных механизмов экстерииоризации, одним из самых распространенных инструментов осуществления политики в публичной сфере. При желании, можно без сомнений назвать этот жанр (или *форму реализации публичности* [Согомонян, 2013, с. 60]) – устное выступление лидера перед народом – политическим архетипом. При задействовании этого жанра его адресанты до сих пор предполагают актуализацию сразу нескольких традиционных интерпретативных аспектов. Во-первых, как предполагается, должен актуализоваться аспект важности происходящего, важности события, которое синхронизировано как исторический момент со временем и уже в силу такой синхронности имеет особое значение для адресатов: предполагается, что у них возникнет желание хотя бы опосредованно присоединиться к этому, в некотором смысле – сакральному, собранию; присоединиться еще и по той причине, что собравшаяся аудитория, с одной стороны, есть репрезентация всей аудитории данной страны, ее микромодель, с другой – она все же имеет конкретный количественный состав, предполагающий наличие у каждого из присутствующих неких позитивных качеств и, тем самым – доступа, и

хотя бы опосредованное (медийное) присоединение к этой аудитории (вплоть до подражания ей – аплодирования, одобрения жестами и т.п.) должно быть естественным желанием политически активного индивида. Во-вторых, предполагается, что в условиях подобного вовлечения и сосредоточения адресанты будут интерпретировать транслируемые в выступлении смыслы (и их автора) в нужном адресанту позитивном ключе, фиксируя при этом ряд личностных преимуществ выступающего: ораторское мастерство, непосредственность, стиль одежды, умение общаться с людьми и др. В результате, как предполагается, должна возникнуть ситуация, в которой адресат этого акта публичности должен соответствующим образом, то есть – позитивно, оценить адресанта вкупе с транслируемыми им смыслами и принять (начать принимать) соответствующие электоральные решения. Однако сегодня “выступление политика перед аудиторией” как традиционный акт взаимодействия в рамках ПД имеет абсолютно иную оценочную базу и, соответственно, интерпретируется и понимается его потребителями совершенно иначе. Во-первых, синхронический аспект события более не имеет никакого значения – выступление можно будет посмотреть в любой день и в любой удобный момент времени в Интернете. Ситуация с моделированием эффекта присутствия при историческом событии, таким образом, теряет свою эффективность. Кроме того, в условиях новой культуры потребления информации – назовем ее “культурой highlights” – просмотривание всего материала может быть для очень значительной части аудитории пустой тратой времени: всего через несколько минут в Сети появятся тезисы выступления с наиболее интересными его видеоотрывками, а многочисленные сайты, работающие в жанре explanatory journalism, неоднократно разъяснят и переразъяснят смысл сказанного политиком. Во-вторых, сегодняшний адресант данного акта публичности изначально зафиксировывает условность, скажем так – постановочность ситуации с выступлением, так как в нынешних условиях любой политик мог бы донести свои мысли до лю-

бой аудитории, скажем, через тот же Twitter, или записав так называемый self-tape и распространив его в YouTube или Facebook. Почему же надо было собирать людей в зале? Или лететь в другой город и выступать перед людьми на площади, заставляя их стоять и слушать? Наконец, в-третьих, сам жанр подобного выступления с задействованием всей инфраструктуры для его организации с одной стороны, и с пониманием возможности достижения права (привелигированного доступа) самому быть в такой ситуации – с другой, – значительно девальвирован в силу большой степени доступности самоорганизации овнешнения в этом жанре если не для каждого, но для многих: оказаться в роли выступающего перед “народом” (некоей аудиторией) и получить профессиональную съемку этого события сегодня намного проще, чем когда бы то ни было. Соответственно, адресат данного акта декодирует его в совершенно ином ключе, чем это предполагается практиками до-современного ПД; кроме того, если вдруг во время данного выступления произойдет нечто экстраординарное – кто-то упадет в обморок, испортится микрофон, через зал пройдет кошка и т.п. – можно быть уверенным, что это микрособытие, разойдясь на мэмы, перекроет по медийной значимости сущностную часть всего мероприятия.

Подобных примеров с несоответствием конвенционально закрепленной иллюкутивной цели актора ПД и реального перлюкутивного результата в современной политической жизни более, чем достаточно: она изобилует ими. Политически безупречная и мастерски оформленная с точки зрения художественности речь кандидата в президенты какой-либо страны по поводу, скажем, недопустимости расовой сегрегации может значительно уступить в степени событийной важности (и электоральному рейтингу) какому-нибудь оригинальному селфи (шутке, мэму, небольшому инциденту и др.) другого кандидата, так и не обозначившего свои взгляды на эту важную для своей страны проблему. Или эффектные, но очень общие по содержанию слоганы, не подкрепляемые осуществимой программой

(“Другая Европа с Ципрасом”, “Время изменить Рим”, “Сделаем Америку вновь великой” и др.) могут привлечь большую массу избирателей, чем глубоко продуманные и классические по форме политические лозунги опытных политиков – вот типичная картина сегодняшней политической действительности. В условиях “безразличия к содержанию” (Бодрийяр), обесценивания и смешения смыслов, существенные характеристики политиков и их действия, демонстрируемые в ПД, очевидно девальвируются, а взамен обретает иную, гораздо большую ценность инструментарий популизма – инструментарий, позволяющий в условиях упраздненности всевозможных цензов транслировать любые смыслы в публичном пространстве в качестве политически значимых. И на этом фоне простые и несложные для интерпретации и понимания действия – пусть и не очень искусственных в политике публичных деятелей – действительно могут с успехом заполнить “святое место” сугубо политических и общественно значимых интеракций.

Таким образом, основной вопрос, который формулируется в контексте вышесказанного – в чем причина и каков генезис наблюдаемых метаморфоз в политическом бытии современных обществ? – на наш взгляд, может иметь следующие два ответа, который мы попытались обосновать в этой статье: **а) кардинальное изменение системы и правил взаимодействия в публичном пространстве** в силу наступления определенных кондиций современности, в результате чего ПД современных обществ претерпел существенные изменения; и **б) наблюдаемый в наши дни конфликт интерпретаций** (Рикер), или **перманентная неадекватность семиозиса**, происходящего в процессе политической коммуникации в современном развитом обществе. Иными словами – непонимания обществом/электоратом *традиционных* смыслов ПД, транслируемых *профессиональными политиками*, со всеми вытекающими из этого последствиями. В терминах прагматики сказанное означает, что высказывания, продуцируемые политиками в рамках ПД, по тем или иным причинам утра-

тили иллюкативные функции и не приводят к конвенционально ожидаемым результатам. По сути – это разрушение традиционных конвенций относительно знаков “языка” политики в частности и смыслов политических интеракций – в целом. При этом, что очень важно, речь в полной мере может идти о разрушении значительного числа конвенций *относительно смыслов социальных интеракций вообще*; именно поэтому роль коммуникативных аспектов в кардинальных переменах ПД и – шире – политического бытия современного развитого общества, видится нам ключевой. Ведь представленные выше проблемы, связанные, по сути, с *пониманием* в публичном дискурсе, оказывают существенное воздействие на ключевые для социологии и политологии институты, дефиниции которых представляют коммуникацию (и ее ожидаемый результат – *понимание*) в качестве базового конституирующего элемента взаимоотношений индивидов внутри общества, как и существования самого общества. Правильное интерпретирование и понимание участниками социальной коммуникации субъективно подразумеваемых и одновременно конвенционально закрепленных в социальном узусе смыслов, выражаемых через действия, за которыми стоит ценностный выбор каждого члена общества, как в классической, так и в современной социологии, постулируется в качестве залога существования общества как такового, так как общество не может существовать без интеракций (подразумевается – успешных в плане взаимопонимания), как и интеракция – без общества [см. Луман, с. 527]. “Общество использует коммуникацию, и все, что ни приводило бы коммуникацию в действие – есть общество. Общество конституирует элементарные единства (коммуникации), из которых состоит; и что бы ни было конституировано таким образом, становится обществом, становится моментом самого процесса конституирования” [Луман, с. 540]. “Правильная причинная интерпретация конкретного действия предполагает, что как внешний ход его, так и мотивы установлены правильно, а также что их связь друг с другом *“поддается пониманию”*”

(understandable) – (курсив мой – В.С.). Социальные отношения, следовательно, большей частью, а может быть и исключительно заключаются в вероятности того, что при определенных обстоятельствах действия становятся предсказуемыми, независимо от того, на чем основана эта вероятность” [Парсонс], - отмечает Парсонс, комментируя постулаты Вебера.

В свете сказанного заслуживает отдельного упоминания социологическая парадигма символического интеракционизма (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Блумер, И. Гофман). Напомним, это одна из так называемых интерпретирующих микросоциологических парадигм, в которых поведение людей в обществе *par excellence* предстает как социальное действие, требующее коммуникации, интерпретации и взаимопонимания [Шульга, с. 115]. Она основывается на том, что все формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на определенных социальных символах, – языке, телодвижениях, жестах, культурных символах и т.д. Люди, согласно Дж. Миду, американскому социологу, одному из основателей данной школы, не реагируют на внешний мир и других людей непосредственно, а осмысливают реальность в неких символах и соответственно продуцируют эти символы в ходе общения. Само существование общества сводится в этой парадигме к совокупности процессов коммуникации и обмена информацией, формирующих необходимую для совместной деятельности “общую собственность” всех людей на более или менее *одинаково понимаемые* цели, взгляды, ожидания и т. п. [Гофман, с. 8]. “Символический интеракционизм выдвигает идею, согласно которой социальный мир людей может быть представлен как бесконечное множество разнообразных символов. Символы придают значимость человеческой жизни и создают тем самым основу для интеракции – взаимодействия людей друг с другом в процессе коммуникации. Но символ не просто обозначает какой-то предмет или событие. Символ описывает эти события особым образом – он опосредует и одновременно определяет реакцию на него. Это направляет

восприятие человека на постижение значений тех общепринятых символов, которые обеспечивают интеракцию. Для осуществления интеракции каждый, кто вовлечен в коммуникативный процесс, должен распознавать и одновременно интерпретировать намерения других людей. Такой процесс обеспечивается благодаря «принятию роли», которая примиряет одного человека с другим в процессе общения; и эти роли могут меняться местами в процессе коммуникации» [Шульга, с. 114-115]. Эта идея, лежащая в основе парадигмы символического интеракционизма, достойна отдельного, более подробного исследования: кажется очевидным, что с учетом сегодняшних реалий, она приобрела намного большую ценность, чем в период своего зарождения – в 20-30-х годах XX века.

Без определенного контекста (который, надеемся, нам удалось обозначить выше), ключевое значение феномена *понимания* в функционировании общества и продуцировании ПД может показаться тривиальным и самоочевидным. Разумеется, функционирование общества неразрывно связано с пониманием смыслов социального действия и стандартизации поведенческих моделей индивидов в обществе. Именно коммуникация и ее ожидаемый продукт – понимание, продуцируют интерпретацию или толкование поведения Других в обществе, что порождает феномен социального действия в различных его разновидностях: в нормативных действиях, которые полностью основаны на принятых нормах/конвенциях (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Ю. Хабермас); в драматургических действиях, в основе которого лежит самовыражение/самопрезентация человека, предполагающее понимание членами общества соответствующей воле актора идентификации его личности (И. Гофман); тем более – в коммуникативных действиях, в основе которых лежит взаимодействие как минимум двух субъектов, которые стремятся к взаимопониманию и достижению согласия по поводу самой ситуации действия (Дж. Мид, Ч. Кули, Г. Гарфинкель). Именно аспект успешной коммуникации и понимания, по сути, лежит в основе *логического действия*, представ-

ленного В. Парето: "...Мы будем называть "логическими действиями" операции, которые логически соединены со своей целью не только по отношению к субъекту, выполняющему эти операции, но и для тех, кто обладает более широкими познаниями" [Парето]; то есть те действия индивида, смысл которых может быть однозначно интерпретирован и понят любым внешним наблюдателем и адресатом. Однако, тривиальность и самоочевидность феномена понимания как ключевого аспекта социальных интеракций базируется прежде всего на ранее незыблемой данности о существовании конвенций, совместных смыслов, из которых состоит общий "жизненный мир" людей. Но дело именно в том, что столь необходимая для успешной коммуникации в обществе система совместных смыслов, как видим, подверглась серьезным изменениям. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что разные части общества, в зависимости от степени вовлеченности в деятельность в публичной сфере с использованием современных инструментов и каналов коммуникации, с каждым днем все больше увеличивают интерпретационный разрыв между смыслами, которые должны были быть общими при осуществлении публичных интеракций. Взаимодействуя в публичном пространстве, они действуют как бы в параллельных мирах и могут рассчитывать лишь на относительное взаимопонимание.

Завершая, нам хотелось бы в двух словах обозначить перспективы дальнейшего исследования затронутых вопросов. На наш взгляд, для выявления наиболее полной картины произошедших метаморфоз и понимания их генезиса, следует обратить особое внимание на особенности когнитивного механизма ПД с демонстрацией тех критических воздействий, которым подвергся в этом плане ПД за прошедшее десятилетие и вследствие которых обрел дефиниции, которые значительно отличают современный ПД от ПД предыдущего

периода. Кроме того, одной из важных задач, на наш взгляд, является демонстрация находящегося в процессе оформления *изоморфизма семиотических систем политики/власти и массовой культуры*, в результате чего референциональная пустота ПД стала заполняться референтами массовой культуры – еще один феномен, возникший за прошедшее десятилетие. Решение этих задач, как и исследование ряда принципиально новых явлений, связанных с электоральным поведением в современном обществе, очевидно имеют принципиально важное значение для современной политологии.

Список литературы

1. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк). М., 1966. С. 253-254
2. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М., 1976. С. 357-370
3. Арентт Х. *Viva Activa*, или О деятельной жизни. / Перевод В.В. Би-бихина. М., 2017. С. 55-66
4. Ачкасов В. А. Национал-популизм в посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы: причины роста электоральной поддержки. // Вестник МГИМО-Университета № 3. 2011. С. 145-149
5. Баранов Н. А. Возрождение популизма: европейский опыт и российские практики. // Вестник СПбГУ № 3. 2015. С. 25-36
6. Бергер П. Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. / Перевод Е. Руткевич. М., 1995. Сс. 20-66
7. Бершидский Л. Популистская революция в Европе? Пока еще нет. // Bloomberg View. Mode of access: <https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-11-14/europe-won-t-see-a-populist-trump-like-revolution-just-yet> (Дата посещения: 22.12.2017)
8. Варенцова О.В. Три волны популизма в Латинской Америке // Вестник МГИМО-Университета № 6. 2014. Сс. 153-160
9. Гидденс Э. Последствия современности. / Пер. С англ. Г.К. Ольховикова, Д.А. Кибальчича. М., 2011. Сс. 116-117.

10. Гофман И. Г Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и вступ. статья А. Д. Ковалева. М., 2000. Сс. 5-8
11. Громыко Ал. А. “Новый популизм” и становление постбиполярного мирового порядка. // Современная Европа. № 6. Сс. 5-10
12. Дейк ван Т. Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. / Пер. с англ. Е. А. Кожемякина. М., 2013. С. 31.
13. Демьянков В.З. Фреймовая семантика // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С. Демьянков В.З. Панкрац Ю.Г. Лузина Л.Г. М., 1996. Сс.189-191.
14. Желтов М. Сложный выбор между евроскептиками, борцами за права животных и сторонниками Эрдогана. // “ИзбирКом”. Mode of access: <http://izbircom.com/2017/04/04/нидерланды-сложный-выбор-между-еврос/> (Дата посещения: 22.12.2017)
15. Зегерт Д. Трансформация и развитие партий в Восточной Европе после завершения переходного десятилетия. // Политическая конкуренция и партии в государствах постсоветского пространства. Сб. Статей. / Ред.сост. Мелешкина Е. Ю. Михайлова Г. М. М., 2009. С. 32
16. Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. М., 2014. Сс. 42-43
17. Золян С. Т. Семиотика и прагмасемантика политического дискурса. // Политическая наука № 3. 2016. Сс. 47-77
18. Ильин М. В. Политический дискурс как предмет анализа // Политическая наука. 2002. № 3. Сс. 11-12
19. Карцев Д. Больше, чем партия. Что показали выборы в Голландии. // Московский Центр Карнеги. Mode of access: <http://carnegie.ru/commentary/?fa=68321> (Дата посещения: 22.12.2017)
20. Кравченко Е.И. Теория социального действия от Вебера к феноменологам. // Портал Наука - Интернет России. Mode of access: <http://www.nir.ru/sj/sj3-01krav.html> сайт (Дата посещения: 22.12.2017)
21. Кузнецова Е. Химшиашвили П. Эксперты Кремля предсказали рост популизма в России по западной модели. // РБК. Mode of access: <http://www.rbc.ru/politics/24/04/2017/58fccb959a7947263bd9d666?from=main> (Дата посещения: 22.12.2017)
22. Лапшин А.О. О новом популизме и глобализации (несколько замечаний). // Журнал Власть. № 04. 2017. С. 16

23. Лотман Ю.М. Звонячи в пражднюю славу. // Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3-х т.т. Т. II. Таллинн, 1992. Сс. 107-110
24. Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. Перевод с немецкого И. Д. Газиева Под редакцией Н. А. Головина СПб. 2007. Сс. 527-541
25. Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2014. Сс. 24-27
26. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. М., 2015. Сс. 207-211
27. Нестеров А. Г. Движение “Пяти звезд” как феномен “протестной партии” в Италии XXI века // Научный диалог. № 11 (59). 2016. Сс. 290—303
28. Парето В. Логика иррационального. Mode of access: http://lawbooks.news/sotsiologiya_910_912/vilfredo-pareto-logika-33494.html (Дата посещения: 22.12.2017)
29. Парсонс Т. О структуре социального действия. // Библиотека Гумер. Mode of access: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/pars/03.php (Дата посещения: 22.12.2017)
30. Согомоян В.Э. К определению понятия “публичность власти”. // Вестник МГИМО-Университета, № 4 (13). – М.: МГИМО (У), 2010. с. 98-105
31. Согомоян В.Э. Публичность власти: определения понятия и типология форм/видов. // Закон и жизнь, № 10 (262). – Кишинев, Издательство Министерства Юстиции Республики Молдова, 2013. Сс. 59-62
32. Согомоян В.Э. Метаморфозы коммуникации в публичном дискурсе. // Политическая наука № 3. Политическая семиотика / РАН ИНИОН. М., 2016. Сс. 137-151.
33. Строганова А. Костюмы и голограммы: чем запомнится предвыборная кампания во Франции. // Международное французское радио RFI. Mode of access: <http://ru.rfi.fr/frantsiya/20170416-chem-zapomnitsya-predvybornaya-kampaniya-vo-frantsii> (Дата посещения: 22.12.2017)
34. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 72
35. Фуко М. Археология знания. / Перевод М.Б. Раковой, А.Ю. Серебрянниковой. СПб., 2004. Сс. 113-115
36. Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. / Перевод с французского С. Табачниковой. М., 1996. С. 21
37. Шульга Е.Н. Символический интеракционизм и проблема понимания. // Философия науки. Выпуск семнадцатый. М., 2012. Сс. 113-127.

38. Щюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М., 2004. Сс. 499-517.
39. Эко, У. От древа к лабиринту. Исторические исследования знака и интерпретации. – М.: Академический проект, 2016. С. 466
40. Global Trends: The Paradox of Progress. // DNI. Modes of access: <https://www.dni.gov/index.php/global-trends-home> and <https://www.dni.gov/index.php/global-trends/the-future-summarized> (Дата посещения: 22.12.2017)
41. Laclau E. On populist reason. London, 2005. P. 72
42. Laclau E. The Rhetorical Foundations of Society. London, NY. 2014. P. 158.
43. Levitsky S., Loxton J. 2012. Populism and Competitive Authoritarianism in the Andes. // Democratization, № 20 (1). Pp. 107–136.
44. Searle, J. The Construction of Social Reality. New York, 1995. P. 8
45. Witte G. Beck L. Austria turns sharply to the right in an election shaped by immigration. // The Washington Post. Mode of access: https://www.washingtonpost.com/world/europe/austrian-election-yields-a-hard-right-turn-as-conservative-and-nationalist-parties-gain/2017/10/15/d1dce850-ad22-11e7-9b93-b97043e57a22_story.html?utm_term=.e00d43a494b5 (Дата посещения: 22.12.2017)
46. Weyland K. The Threat From the Populist Left. // Journal of Democracy, no. 24 (3), 2013. P.18–32.

ЧАСТЬ 4

СОБЫТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ, СЕМИОТИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ИСТОРИИ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ.

“ПОВТОРЯЕМОСТЬ” СОБЫТИЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: ПРАГМАТИКА И СЕМАНТИКА

С.Т. Золян

Что есть событие?

«Событие» стало одним из ключевых понятий практически во всех гуманитарных науках. Между тем, нетрудно заметить, что оно трактуется совершенно по-разному, например, в лингвистике, нарратологии, политологии и т.п. не говоря уже о естественных науках, которые также оперируют этим понятием (см. обзоры: Демьянков 1983; Шмидт 2003, Сморгун 2011, Tenny, Pustejovsky 2000; Partee 2000). Поэтому имеет смысл обратиться к тому, что понимается под событием не в той или иной области гуманитарного знания, а в практической человеческой деятельности, фундаментальным для которой является именно способность оперировать событиями, осмысливать и создавать их. Знаменитый тезис Л. Витгенштейна «Мир есть совокупность фактов, а не вещей» может быть переформулирован: с когнитивной точки зрения мир есть совокупность осмысленных фактов, то есть событий. Можно воспользоваться (хотя на иных основаниях) предложенным Аланом Бадью разграничением между фактом и событием:

«...Событие не принадлежит к порядку реальности. Мысль здесь ориентируется на отличие события от его текущей имитации, которую

можно назвать фактом... Событие есть то, чего недостает фактам, и то, что задает этим фактам истинность » [Бадью 2005, 53,54]

Если считать, что событие – это некоторое осмысление факта, то они оказываются явлениями различной природы: факт принадлежит миру физической реальности, тогда как событие – это ментальный образ некоторого факта и принадлежит к когнитивно-семиотической сфере. В этом аспекте представляется уместным воспользоваться разграничением Готлоба Фреге между смыслом и значением (денотатом) : факт можно рассматривать как денотат (возможно, и не существующий) некоторого события. Один и тот же факт может быть осмыслен по-разному и описан как различные события. Те факты, которые не были осмыслены и потому не приняли форму события, оказываются не существующими. Напротив, возможна фальсификация фактов, когда конструируются некоторые описания событий (художественная литература, лже-история, миры романа Оруэлла «1984» и т.п.) и тем самым фабрикуются не имевшие места факты и создаются возможные миры. Однако и в этом случае должна соблюдаться презумпция «действительности факта» - отсылающее к несуществующему факту событию будет признано «недействительным», если только не будет указана область его существования (мифология, идеология, художественная литература). Независимо от его фактической основы событие создается языком (семиотической системой) и «прочитывается» как событие только в заданном этой системой коде. Но и язык есть и отражение события, и соответствующая «рамка» для подобного отражения. Так, в современных лингвистических теориях базисной единицей семантики, а сейчас и грамматики является событие, любое описательное предложение задает набор ролей и отношений, в которых кодируется происходящее. Определенная автономия факта и события не позволяет выводить признаки события из признаков фактов, поэтому требуется иная методология и иные процедуры для их идентификации и анализа. *Осмысление и осмысленность*, а не физическая реальность оказываются существенными и необходимыми компонентами

восприятия некоторого факта как события. В терминах семиотики событие предстает как формируемый посредством знаков и кодов *конструкт*, в терминах когнитивистики – *конструал* (ср.: Evans&Pourcel 2009).

Как нам представляется, при подходе к событию с подобных позиций должен действовать принцип *контекстуализма*. Вопрос «Что есть событие?» допускает различные ответы и определения, но невозможно предложить универсальное. Если основываться на том, что именно люди считают событием и описывают как событие, то в нашем материале в качестве событий фигурируют такие разнородные и разномасштабные явления, как Французская революция, крик петуха, стихотворение Овидия, весенняя пахота в штате Кентукки 1947 года и т.п. , которые, конечно, никакого класса не образуют. Поэтому следует поставить проблему иным образом; попытаться ответить не на вопрос «что есть событие», а «*что, как, при каких условиях* понимается (воспринимается, осмысляется) как событие».Историография оказывается прекрасным материалом для подобных исследований: она определяет,каким из имевших место фактов, так и не ставших событиями, суждено бесследно «кануть в Лету» и что было зафиксировано и осмыслено. Из анализа того, что в историографии и философии истории воспринималось как «одно и то же» событие, можно выделить те характеристики, которые применительно к данным случаям воспринимались как существенные для идентификации. Если невозможно построить некий универсальный «класс событий» и выделить его признаки, то вполне возможны окказиональные классы – что применительно к определенным случаям и при определенных условиях рассматривается как «одно и то же», или, другими словами, какие признаки оказываются существенными для отождествления, и какими характеристиками в этих случаях можно пренебречь.

Уже сама возможность такой постановки вопроса свидетельствует об отличии события как отражении физически имевшего места факта и события как конструкта-конструала. Ведь, согласно восходя-

щей к Бертрану Расселу логико-семантической экспликации («Логический атомизм»), каждое событие есть уникальный объект, характеризуемый уникальными пространственно-временными координатами и не может быть воспроизведено⁵⁴. Если же возможен спор относительно того, может ли одно и то же событие произойти дважды, повторяется или нет история, то очевидно, что под событием понимается не некоторая не воспроизводимая при иной пространственно-временной координате комбинация объектов, признаков и отношений, а нечто принципиально другое: определенная интерпретация происшедшего и происходящего, установление межмировых соответствий.

Повторяется ли история?

Попытаемся рассмотреть, в каком смысле говорят о повторяемости исторических событий и что понимается под «повторяемостью». В философии истории повторяемость принято рассматривать именно с позиций «осмысленности» – наличие или отсутствие повторяемости есть свидетельство наличия или отсутствия некоторых исторических законов, регулярностей, всего того, что принято

⁵⁴Здесь нет возможности обсуждать, насколько адекватно расселовское уподобление событий объективно существующим и независимым от языка объектам – поскольку событие не представимо вне описывающего его языка. Это уже тема отдельного исследования. Ср: *«Такая трактовка событий – как того, что описывается (характеризуется и т.п.) высказываниями, существующая самостоятельно, – не единственно возможная. Другой подход к событию – как к тому, что вне речи не существует: событие создается предложением или текстом, а точнее – их интерпретацией. При первом, более распространенном подходе (как в высказываниях типа «Предложения в перфекте описывают события уже произошедшие, но актуальные для настоящего момента времени») предполагается, что событие существует само по себе: высказывания дают его портрет, более или менее сходный с оригиналом. Второй же подход отказывает событиям в самостоятельном существовании вне мышления и речи. – Демьянков 1983, 321.*

ассоциировать с “смыслом истории” (или отсутствием такового). Даже если отвлечься от архаичных концепций мифологической цикличности (начиная с Гераклита и Геродота), которая время от времени возникает скорее в виде мифопоэтического “вечного повторения” и согласно которой через определенный период воспроизводится то же самое или подобное состояние дел (ср. “*Доски судьбы*” Велимира Хлебникова), то проблема повторяемости принадлежит к ключевым для методологии истории XX века и служит по сути водоразделом между двумя различными подходами к истории. Первый утверждает наличие в истории объективных и универсальных законов и закономерностей, на основе которых возможно прогнозирование и планирование, а также верифицируемость (проверяемость) выдвигаемых гипотез. Этот подход получил полемическое название “историцизма” (в отличие от “историзма”) в работах его основного оппонента Карла Поппера. Второй подход, который сформировался в XX веке и потому иногда называется новой философией истории, отрицает наличие универсальных и объективных законов истории и признает возможность лишь более или менее правдоподобных предложений и гипотез, и то в большинстве случаев применительно к ограниченному временному периоду и региону. В соответствии с позитивистскими и неопозитивистскими представлениями о характере научного знания повторяемость исторических событий и, соответственно, их репродуцируемость и предсказуемость оказываются ключевыми критериями верифицируемости теории и в целом научности исторического знания, а также создают возможность извлечения практических следствий из “уроков истории”.

Несмотря на методологически обоснованный скептицизм сторонников антиисторицизма, поиск повторяющихся моделей рассматривается как инструмент осмысления истории: ее “уроки” либо усваиваются, либо нет, но сами по себе они несомненны. Они учитываются в том числе и в ориентированных на поиски практических решений политологических студиях, и в самой политике, которая за-

частую основывается на мифологических моделях и оперирует историей как инструментом для решения актуальных задач, находя адекватный “прототип” в прошлом. Так, общепринятым оказывается описание (а по сути – аргументация) типа:

100 лет назад в стране X произошло событие У.

То же самое повторяется и сейчас,

То есть: “это уже было”. Соответственно, такая фиксация рассматривается как “урок истории” – необходимо повторить позитивные последствия из происшедшего 100 лет назад (если таковые были) , и избежать негативных (если таковые были) . Не вдаваясь в собственно философскую проблематику, попытаемся рассмотреть, каковы семантические особенности утверждений о повторяемости исторических событий:

Событие X произошло в момент времени t_1

То же самое произошло (событие X повторилось) в t_2

Иными словами, следует, что событие X случилось дважды - в моменты t_1 и t_2 , что уже само по себе может быть рассмотрено как логически противоречивое утверждение: ведь если рассматривать событие как объект, то в его характеристики входят и его пространственно-временные координаты, и при различии моментов времени t_1 и t_2 это будут различные события.

Рассмотрим подходы двух стоящих на противоположных позициях наиболее влиятельных и оригинальных философов истории XX века : Карла Поппера и Арнольда Тойнби. Тойнби посвятил этому вопросу отдельную статью: “Повторяется ли история” (Тойнби 1996, первая публикация в 1947), где в частности, дается такой ответ на вынесенный в заглавие вопрос:

“Может ли история дать нам какую-нибудь информацию относительно наших собственных перспектив?...Может быть, она сообщает нам не о конкретной предопределенности, а лишь о возможностях, о вероятностных направлениях нашего будущего?... При этой альтернативе урок истории больше похож не на горос-

коп астролога, а на навигационную карту, которая дает мореходу, умеющему ей пользоваться, больше возможности избежать кораблекрушения, чем если бы он плыл вслепую. – Тойнби 1996 : 35.

Карл Поппер, видя в любых попытках вывести “законы истории” “историцизм” и претензии на управление обществом, откликнулся на главный труд Тойнби (первое издание – 1934). Он полемизирует с тем, что изложил “...профессор Тойнби в своем внушительном сочинении "Постижение истории". С его точки зрения, история повторяется, и законы жизненного цикла цивилизации можно изучать так же, как мы, например, изучаем жизненный цикл определенного вида животных....Не стану отрицать, что история может иногда и чем-то повторяться, а параллели между историческими событиями, такими, как возникновение тирании в Древней Греции и в наше время, могут оказаться важными для исследователя социологии политической жизни. Все эти случаи повторения связаны с обстоятельствами, которые весьма отличаются друг от друга и способны оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий. Поэтому нет серьезных причин ожидать, чтобы какое-то явное повторение продолжалось параллельно своему прототипу”. - Поппер 1993: 126-127.

Примечательно, что Поппер проходит мимо возможной логической противоречивости самого повторения в истории и допускает частичную повторяемость (в данном случае его интуиция философа-историка оказалась сильнее интуиции философа-логика. Как видим, у Поппера речь идет не о том, что повторения не имеют места, а о том, что дальнейшее развитие повторяемых событий может протекать по-разному. Однако и Тойнби не столь категоричен, как это приписывает ему Поппер. Ключ к решению можно увидеть из анализа приводимого Тойнби примера:

Но, возможно, существуют и иные виды человеческой деятельности - в другой области, неподвластной (или, по крайней мере, не полностью подвластной) контролю физической природы? Попро-

буем рассмотреть этот вопрос на конкретном знакомом примере. В последние дни апреля 1865 года коней, еще в начале месяца служивших кавалерийским и артиллерийским войскам Северной Вирджинии, впрягли в плуги люди, тоже только что вышедшие из армии генерала Ли. Эти люди и эти кони оставили поле брани, чтобы на поле, жаждущем плуга, совершить ежегодную сельскохозяйственную операцию, которую из года в год совершали и они сами, и их предшественники из Старого Света, возделывавшие ниву задолго до открытия Нового Света, и многие, многие поколения людей еще до рождения нашего западного общества, выполнявшие каждую весну эту же самую работу. И так было последние пять или шесть тысяч лет... Итак, в последние дни апреля 1865 кони и люди бывшей армии Северной Вирджинии совершали исторический акт - весеннюю пахоту, акт, неизбежно повторявшийся по меньшей мере пять или шесть тысяч раз и продолжавший повторяться и в 1947 году (в этот год автор статьи наблюдал весеннюю пахоту в штате Кентукки) – Тойнби 1996: 36-37.

Приводимый Тойнби пример находится на грани между регулярно воспроизводимым событиями-природными явлениями, и создаваемыми в процессе человеческой деятельности. Но даже этот пример, столь напоминающий повторяемое природное явление, в референтном отношении не может описывать одно и то же событие. Очевидно, что упоминаемые люди и кони в 1947 году были совершенно другими, чем люди и кони в 1865 году, равно как и те, что производили пахоту пять или шесть тысяч лет назад, до завоевания Америки европейцами (когда и коней там не было). Стало быть, каждый год имели место различные события, которые объединяются общим именем: весенняя пахота только в этом смысле могут считаться “одним и тем же событием”. Иная номинация представит описываемую Тойнби весеннюю пахоту 1865 года как совершенно иное в смысловом отношении событие. Как пишет сам Тойнби, пахота 1865 года стала возможной вследствие двух причин – капитуляции армии кон-

федератов генерала Ли и уступки генерала Гранта, разрешившего южанам забрать своих лошадей на фермы. Тем самым одно и то же состояние дел может быть описано как периодически повторяемая весенняя пахота или же как уникальное единичное событие – для которого наименованием будет окончание гражданской войны между Севером и Югом. Можно заключить, что повторяемость – это характеристика языка описания событий, а не самого события.

Тем примечательнее окажется совпадение между взглядами Поппера и Тойнби, если из сферы философии истории перенести их в сферу семантики: *“Отыскать другие исторические события, отражающие достаточное сходство и родство с этим явлением, чтобы мы имели право рассматривать их как ряд явлений одного класса событий, в которых история повторяется хотя бы до некоторой степени”* – вот вывод Тойнби, с которым вряд ли бы стал полемизировать Поппер, признававший, что *“история может иногда в чем-то повторяться”*. “Историцист” Тойнби не абсолютизирует повторяемость событий, “анти-историцист” Поппер – не отрицает возможности повторяемости. Тем самым, даже противники историцизма не оспаривают само наличие повторений, разногласия могут быть относительно их интерпретации. Различие между “историцистским” и антиисторицистским” подходами – как указывает сам Тойнби, – заключается в различии модальностей:

Когда мы спрашиваем себя :“Повторяется ли история?” - действительно ли мы не имеем в виду ничего, кроме того, что в “история в отдельных случаях в прошлом повторялась”? Или нас интересует, управляется ли история непреложными законами, которые не только действовали в каждой из подобных ситуаций, но и приложимы к тем ситуациям, которые могут возникнуть в будущем. При такой интерпретации слово “может” означает фактически “должно”; при другой трактовке это означало бы “может быть”.– Тойнби 1996, 35.

Повторяемость как семиотическая репрезентация

Из многочисленных приводимых примеров “повторяемости в истории” рассмотрим один из самых известных – это описание Марксом ситуации прихода к власти Наполеона III, для чего Маркс перефразирует Гегеля: *«Гегель где-то отмечает, что все великие всемирно-исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить: первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса»*

Маркс не довольствуется констатацией повтора, он указывает на лингво-семиотическую основу подобной идентификации:

Люди сами делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории. Так, Лютер переодевался апостолом Павлом, революция 1789 -- 1814 гг. драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи, а революция 1848 г. не нашла ничего лучшего, как пародировать то 1789 год, то революционные традиции 1793 -- 1795 годов. Так, новичок, изучивший иностранный язык, всегда переводит его мысленно на свой родной язык; дух же нового языка он до тех пор себе не усвоил и до тех пор не владеет им свободно, пока он не может обойтись без мысленного перевода, пока он в новом языке не забы-

вает родной... В классически строгих традициях Римской республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на вы соте великой исторической трагедии. Так, одним столетием раньше, на другой ступени развития, Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута, когда буржуазное преобразование английского общества совершилось, Локк вытеснил пророка Аввакума". - Карл Маркс, "Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта".

Не вдаваясь в задачу содержательного анализа подхода Маркса, отметим, что его объяснения носят лингво-семиотический характер. Пусть используемые лишь как сравнение и метафора, но аналогии с языком оказываются единственным объяснением повторяемости ("...английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета". "Так, новичок, изучивший иностранный язык, всегда переводит его мысленно на свой родной язык; дух же нового языка он до тех пор себе не усвоил и до тех пор не владеет им свободно, пока он не может обойтись без мысленного перевода, пока он в новом языке не забывает родной".) "Язык" понимается Марксом в самом широком смысле – включая такие знаковые системы, как театр, карнавал, ритуал. При этом примечательно характерное для Маркса понимание праксиса как семиозиса: изменяющие мир действия участников исторических событий описываются как повторения некоторых уже написанных текстов и знаков:

И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов

прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории.

Как видим, повторяемость для Маркса относится к знаковой форме событий и объясняется сознательным или бессознательным стремлением описать происходящее на некоем эталонном (“классическом”?) языке: “Прежние революции нуждались в воспоминаниях о всемирно-исторических событиях прошлого, чтобы обмануть себя насчет своего собственного содержания. Революция XIX века должна предоставить мертвецам хоронить своих мертвых, чтобы уяснить себе собственное содержание. Там фраза была выше содержания, здесь содержание выше фразы” (там же). Как видим, в данном случае “фраза” (способ выражения содержания) создает иллюзию тождественности или подобия для различного содержания, что согласуется с предлагаемой нами ниже экспликацией Мандельштамовского “это уже было” – как: “все, что может быть описано одними и теми же языковыми выражениями, есть одно и то же”. Тем самым, в строгом смысле данное рассуждение Маркса служит опровержением приводимого им афоризма Гегеля: повторяется не сама история, а ее описание. Согласно Марксу, – по крайней мере, если ограничиваться только этим отрывком, – эта повторяемость есть результат либо самообмана, либо прямого обмана, что может принимать, как в случае 18-го брюмера, форму фарса, карикатуры или пародии (“Таким образом, в этих революциях воскрешение мертвых служило для возвеличения новой борьбы, а не для пародирования старой”).

Повторяемость и языковая выразимость

Как можно было убедиться, «повторяемость» исторического события создается его участниками, использующие семиотические средства прежних событий для репрезентации новых. Возможно уг-

лублить это наблюдение, обратившись к поэтической семантике, где также возникает вопрос о повторяемости: вначале в поэзии, затем – в истории. Описание события становится фактом – механизмы подобного преобразования можно выявить анализируя наблюдения Мандельштама над эффектом «классичной» поэзии:

«Я взял латинские стихи, потому что русским читателем они явно воспринимаются как категория долженствования: императив звучит в них нагляднее. Но это свойство всякой поэзии, поскольку она классична. Она воспринимается как то, что должно быть, а не как то, что уже было

Итак, ни одного поэта еще не было. Мы свободны от груза воспоминаний. Зато сколько радостных предчувствий: Пушкин, Овидий, Гомер. Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг вспоминает, что это уже было: и слова, и волосы, и пепух, который прокричал за окном, кричал уже в Овидиевых-тристиях, глубокая радость повторенья охватывает его, головокружительная радость (“Слово и культура”, Мандельштам 1990 : 169 – 170).

В свое время мы попытались посредством аппарата модальной семантики, т.н. семантики возможных миров раскрыть логико-семантические механизмы того, что, по Мандельштаму, приводит к эффекту “классичной” поэзии(Золян 1991). Использование модальной семантики предугазано самим Мандельштамом, постоянно отмечающего “категорию долженствования” как основное модально-семантическое отношение:

Ты в каком времени хочешь жить? -- Я хочу жить в повелительном причастии будущего, в залоге страдательном -- в "долженствующем быть". (“Путешествие в Армению”, Мандельштам 1990:128) .

Приэтом существенно, что «долженствующее быть», по Мандельштаму — это одновременно и «долженствующее быть» положение дел, при котором он «хочет жить», и вместе с тем—это и «дол-

женствующее быть» актуализованным выражение языка, . Такая связь семантических и выразительных аспектов языка приводит, с одной стороны, к неразличимости лингвистического и экстралингвистического (ср.: *”ты в каком времени хочешь жить?”*, где нарочито смешаны грамматическое и историческое время) , а с другой – к актуализации вневременной структуры, в которой оказывается нерелевантным противопоставление времен: прошлого, настоящего и будущего. Мандельштамовское понимание исторического носит вневременной характер, он относится к событию не как к единичному и неповторимому, актуализованному только один раз в истории – и более не повторяемому, а как к “долженствующему быть” - подлежащему воспроизведению и в языке (в “слове” и в истории). Слово и есть событие: *“слово в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие”* (“О природе слова”; Мандельштам 1990: 176). Если у Витгенштейна сама возможность описания – это и возможность события⁵⁵, то у Мандельштама “классическая” поэзия описывает то, что должно произойти - в силу *долженствования*(уместно вспомнить “классическое “ определение Аристотеля: *“Историк говорит о действительно случившемся, а поэт – о том, что могло случиться в силу возможности или необходимости”* – Поэтика,1451a.). Попытаемся понять, как можно интерпретировать сказанное Мандельштамом о том, *“ что это уже было”*.Разумеется петух, который прокричал за окном (сейчас), никак не может быть тем же петухом, что «кричал в Овидиевых тристиях», то есть в поэтическом, а не актуальном мире⁵⁶. Не может он быть и тем «актуальным» петухом, который кри-

⁵⁵ *“То, что может быть описано, может и случиться, и то, что должно исключаться законом причинности, то не может быть описано”*.- Л. Витгенштейн. Логико-философский трактат, 6.362.

⁵⁶ Знаменательно и то, что петух кричал не в “Тристиях“ Овидия, а в навеянных образами этого стихотворения “Тристиях“ Мандельштама, которое и репрезентирует Овидия “на русском языке: ...*Зачем петух, глашатай новой жизни, На городской стене крылами бьет?*

чал (некогда) в актуальном мире Овидия. Ни один из этих трех петухов не может быть рассмотрен как «петух вообще», «концепт «петух» – хотя бы потому, что «петух вообще» не может кричать ни в одном из миров, пусть это и поэтический мир. Но имя «петух», объединяющее всех трех индивидов из различных миров и являющееся в языке именем общим, неожиданно приобретает некоторые черты имени собственного и в каком-то нестрогом смысле становится квази-жестким десигнатором⁵⁷. Наличие единообразной интенциональной функции (смысл имени «петух»), соотносящей имя с различными объектами в различных мирах, позволяет считать, что *мир, который описывается в одних и тех же выражениях, может восприниматься как «один и тот же, воспроизводимый в определенные моменты времени t»*. Видимо, так следует понимать слова О. Мандельштама о том, что «любовник вспоминает, что это уже было» и «радость повторения охватывает его»:

*О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг,*
как это воспроизведено в “Tristia” Мандельштама .

Это любопытным образом возвращает нас к фундаментальному для временной логики пониманию отношения межмировой достижимости: два мира считаются достижимыми, если в определенный момент времени они были или будут одним и тем же миром (это отношение может осложниться модальными операторами типа «возможно были», «необходимо будут» и т. п. – [Прайор 1981], что, в свою очередь, свидетельствует о связи между отношениями межмировой достижимости и языковой выразимости [Золян 1991, 32 – 61].

⁵⁷Согласно семантической теории С.Крипке (Крипке 1982), имя собственное выделяет во всех возможных мирах одного и того же индивида (если только этот индивид существует в рассматриваемом мире) , а не его “двойников”, как то предполагается в теории его оппонента Дэвида Льюиса.

Анализ того, что могло иметься в виду О. Мандельштамом под выражением «это уже было», стал возможен благодаря тому, что вместо понятия «референции» или «интерпретации» в логическом смысле мы использовали менее обязывающее понятие «единообразия интерпретации»⁵⁸, или в более привычных терминах, единой интенциональной функции. Языковые критерии эквивалентности выражений становятся средством установления отношения квази-тождественности между мирами⁵⁹ - тождественности, основанной на смыслах языковых выражений, а не на их значениях (денотатах). Такое решение можно распространить и на характер повторяемости исторических событий: выявлению того, что имеют ввиду используя выражения “одно и то же” или “это уже было”.

Повторяемость и модальность

Указанная А. Тойнби в выше приведенной цитате зависимость «повторяемости» событий от языка описания и модальности интерпретации (“некоторое событие *может* возникнуть в будущем vs *должно* возникнуть в будущем”) позволяет вернуться к нашему описанию того, что можно понимать под словами О. Мандельштама о “классич-

⁵⁸При подобной подходе предлагается учитывать и варьируемую интерпретацию, когда имеется в виду не тождественность индивида из области интерпретации, а единообразие при его выделении. Это отражает повседневное, «наивное» представление об условиях истинности. Так, Дж. Бэрвайс и Дж. Пэрри считают, что ребенок понимает предложение «Это молоко», если он высказывает его в тех условиях, когда это предложение истинно. Такое единообразие, строго говоря, не есть интерпретация, поскольку ребенок «взаимодействует» с различными бутылками молока в различное время (Barwise, Perry 1981, 674–675).

⁵⁹Разумеется, отношение «быть одним и тем же» должно в данном случае пониматься не экстенционально и даже не интенционально, а скореегиперинтенционально, когда интенсия некоторой пропозиции P (множество миров) может совпадать с интенсией пропозиции Q, но без того, чтобы имело место $P = Q$ (Cresswell 1975). Речь идет о тождестве смыслов, а не референтов.

ной” поэзии и о “повторении” (*«любовник вспоминает, что это уже было» и «радость повторения охватывает его»*). Предложенное Мандельштамом понятие “классичной” поэзии как описывающей «долженствующие быть», глубже, чем то, которое сводит повторяемость событий исключительно к знаковой форме, поскольку содержит также и модальный компонент - “долженствования”. Если Маркс объясняет повторяемость событий неумению говорить на новом языке или же сознательному обману, то, по Мандельштаму, - это некоторый аналог «вечных истин», того, что может быть «поэтической необходимостью» - истинностью высказывания, но только в контексте его актуализации (см. ниже). Не только к поэтике, но и философии истории может быть применено следующее понимание повторяемости: “мир, который описывается в одних и тех же выражениях, может восприниматься как “один и тот же”, регулярно или нерегулярно воспроизводимый в определенные моменты времени t ”. Как уже было сказано, “долженствующее быть», по Мандельштаму – это одновременно и “долженствующее быть» положение дел, при котором он «хочет жить», и вместе с тем – это и «долженствующее быть» актуализованным выражение языка. При этом, как можно было убедиться, высказывания, описывающие исторические события, актуализируют (или создают) его смысл, и описание в тех же языковых выражениях есть способ отождествить эти события. Тем самым как повторяющееся выделяется некая абстрактная смысловая структура, которая реализуется в различные моменты времени, в различных локусах и вовлекая различных участников. Аналогия между языком и речью – абстрактной единицей-набором отношений и ее реализацией – оказывается не только наиболее точной, но и указана самим Фердинандом де Соссюром в главке “Тождества, реальности, значимости” – почему каждый день повторяющийся в 8 ч.45 отход поезда “Женева – Париж” рассматривается как одно и то же событие?

На наш взгляд, это тот же самый скорый поезд, а между тем и паровоз, и вагоны, и поездная бригада—все в них, по-видимому,

разное. Или другой пример: уничтожили улицу, снесли на ней все дома, а затем застроили ее вновь; мы говорим, что это все та же улица, хотя материально от старой, быть может, ничего не осталось. Почему можно перестроить улицу до самого последнего камешка и все же считать, что она не перестала быть той же самой? Потому что то, что ее образует, не является чисто материальным: ее существо определяется некоторыми условиями, которым безразличен ее случайный материал, например ее положение относительно других улиц. Равным образом представление об одном и том же скором поезде складывается под влиянием времени его отправления, его маршрута и вообще всех тех обстоятельств, которые отличают его от всех прочих поездов.

Всякий раз, как осуществляются одни и те же условия, получаются одни и те же сущности. И вместе с тем эти сущности не абстрактны, потому что улицу или скорый поезд нельзя себе представить вне материальной реализации. Противопоставим этим двум примерам совсем иной случай, а именно кражу у меня костюма, который я затем нахожу у торговца случайными вещами. Здесь дело идет о материальном характере сущности, заключающейся исключительно в инертной субстанции: сукне, подкладке, прикладе и т. д. Другой костюм, как бы он ни был схож с первым, не будет моим. И вот оказывается, что тождество в языке подобно тождеству скорого поезда и улицы, а не костюма. (Соссюр 1997: 141)

Аналогично Соссюр предлагает рассматривать и тождественность языковых единиц, высказываемых в различных речевых актах. Тождество двух речевых ситуаций детерминировано не непосредственно самими этими ситуациями, а наличием вневременной абстрактной структуры, манифестациями которой оказываются наблюдаемые события. Принимая подобное допущение для исторических событий, мы, даже если и не рассматриваем историю как миф (в трактовке Леви-Стросса), во всяком случае стремимся описать ее как

воспроизводимую логическую или сущностную структуру.

Тем самым утверждение о повторяемости двух событий в различные моменты времени приобретает смысл более глубокий, нежели из прошлого возможность их одной и той же языковой фиксации и уж тем более не «недостаточным владением» нового языка, заставляющего использовать заимствованный из прошлого словарь. Описание, использующие одни и те же языковые выражения, призвано подчеркнуть, что оба события реализуют некоторую единую смысловую структуру и в этом отношении являются детерминированными, или, в более слабой форме, неслучайными. Такое понимание содержится в ремарке Гегеля, которое и было вольно процитировано Марксом:

Так Наполеон был два раза побежден, и Бурбоны были изгнаны два раза. Благодаря повторению того, что сначала казалось лишь случайным и возможным, оно становится действительным и установленным фактом. - Гегель 2000, 335.

В временной логике из того, что в истории имело некоторое состояние дел P , следует, что это P возможно. Поэтому рассматриваемые утверждения

Событие P произошло в момент времени t_1

То же самое произошло (событие P повторилось) в t_2

претендуют на то, что они содержат не подлежащую обсуждению пресуппозицию о неслучайности, детерминированности, определенной закономерности и, возможно, каузального отношении между отождествляемыми ситуациями. Как обычно бывает в политических и исторических высказываниях, то, что проблематично (идентичность двух ситуаций) дается как установленное. Тем самым соотнесенное со временной координатой t_2 событие выступает как вневременная ситуация - вневременная манифестация некоторой каузальной структуры, а соответствующая пропозиция истинна при приписывании как минимум двух временных переменных - t_1 и t_2 . В общем случае: утверждается наличие достаточных условий для события X , и

более того - наличие каузальной структуры (смысла) , что есть признание *неслучайности и осмысленности* этого события. Тем самым вышеприведенная формула видоизменяется. Если имело место Р, то следует, что Р возможно , то есть это состояние может (могло) быть реализовано в истории, а может (могло) и не быть. Следовательно, это событие *Рслучайно*: возможно Р и возможно не-Р. Даже если оно и каким-то образом повторилось, то это повторение также случайно. Отрицанием случайности явится не-случайность⁶⁰: неверно, что возможно Р и возможно не-Р.

При оценке некоторого события Р как неслучайного вокруг него как фон, сцена, мир выстраиваются различные исторические эпохи. Каковы бы ни были преходящие исторические обстоятельства, имеет место Р: одна и та же смысловая структура различным образом реализуется в различных мирах в различные моменты времени, но тем не менее допускает единообразие языковых фиксаций. И обратное - если уже есть эталонная фиксация события, то некоторое новое событие может быть проинтерпретировано как реализация этой структуры, уже ранее описанной применительно к ранее имевшему место событию(мы "вспоминаем, что это уже было").

Очевидно, что некоторые события "менее случайны" или "почти не случайны". Теоретически возможно каждому событию приписать определенную вероятность. Однако это применимо только к простейшим событиям, при относительно небольшом наборе факто-

⁶⁰ Определение, которое дал категории случайного Аристотель, проясняет, почему в философии истории отрицание повторяемости событий ассоциируется с "ненаучностью" исторического знания: *"Причины, по которым возникает случайное, неопределенны; поэтому случайное скрыто от человеческого разума и определяет собой (явления) не по существу, а как нечто сопровождающее... Случайное есть то, что, правда, бывает, но не по необходимости, не всегда и не по большей части; этим мы сказали, что такое случайное и отсюда ясно, отчего о нем не бывает науки; ибо всякая наука имеет своим предметом то, что бывает всегда или по большей части; случайное же не относится ни к первому, ни ко второму"* (Метафизика, X1;8 и 1065а).

ров. Вместо приписывания вероятностного веса действует более привычная для нашего понимания истории логика, отрицающая случайный характер события. Высказывание о повторяемости P в различные моменты времени – это неявное утверждение о

- 1) неслучайности P ;
- 2) возможности P в новый момент времени t_2 .

Если к этому добавить еще и

- 3) отрицание возможности не- P

то высказывания о повторяемости P приобретают характер утверждений о не только неслучайности, но и того, что можно охарактеризовать как нестрогую *необходимость* или, точнее, *долженствование* P :

“ P ” истинно, но только в те моменты времени, когда P возможно и невозможно не- P . А если же P возможно, то оно должно иметь место. (Если этого не происходит, то что-то не-должное творится в мире).

Подобным образом описывающая некоторое некоторое состояние дел пропозиция, сама по себе не будучи необходимо истинной, в контексте содержащего его дискурса приобретает черты необходимо истинного высказывания – сама ситуация его актуализации предполагает его истинностью. Вероятно, что эту зависимость “повторяемости событий” от описаний, приводящую к их “самоподтверждению”, имел в виду Поппер, говоря: *“Так, если мы верим в закон повторяющихся жизненных циклов (вера, обретенная в аналогических спекуляциях или, быть может, унаследованная от Платона), то будем находить его историческое подтверждение на каждом шагу. Однако это не что иное, как просто метафизическая теория, которая только кажется подтвержденной фактами, — фактами, которые при более внимательном рассмотрении оказываются выбранными в угоду тем самым теориям, которые они должны проверить”* (Поппер 1993: 131).

«Повторяемые события» и «вечные истины»- прагмасемантические механизмы

В восьмидесятые годы, помимо семантического определения необходимости (истинности предложения во всех мирах), было предложено более широкое, прагмасемантическое (истинность высказывания при любом его контексте высказывания), на котором мы и будем основываться. Понимаемая таким образом “необходимость” относится не к самим состояниям дел, а к описывающих их высказываниям; она носит не семантический, а прагмасемантический характер – как, например, в высказываниях “Я сейчас здесь” или ««В данный момент я говорю»: любой акт его высказывания делает эти сами по себе случайные пропозиции необходимо истинными высказываниями. Это определенное отношение между изменяемыми пропозициями и изменяемыми контекстами, такое, что и те, и другие изменения согласуются друг с другом и не изменяют истинностное значение высказывания. Тем самым механизмы прагмасемантики допускают, что одни и те же языковые выражения в различных мирах/контекстах могут иметь одно и то же истинностное значение, хотя при этом не предполагается, что они выражают одну и ту же пропозицию. В новых контекстах выражение соотносится с новыми пропозициями, которые, в случае повторения данного высказывания, характеризуют расширенное, по сравнению с первовысказыванием множество возможных миров. Так, всякий раз повторяемое «Я сейчас здесь» описывает различных говорящих в различных обстоятельствах.

Такая постановка вопроса позволяет предложить прагмасемантическое объяснение тому, что принято называть «вечными поэтическими истинами»: истинность высказывания во всех мирах, но только в которых оно высказывается и только в момент высказывания. Например, “Я помню чудное мгновенье” истинно во всех тех и только тех мирах, в которых некто высказывает “Я помню чудное мгновенье” в тот момент, когда он или она помнит чудное мгновенье.

Приведем образец «реалистического» (т. е. учитывающего только

актуальные миры и контексты) понимания и обоснования подобных поэтических высказываний. В новелле «Поиски Аверроэса» Борхес вкладывает в уста Аверроэса следующее объяснение тому, как «время, разоряющее дворцы, обогащает стихи». Возражая Абд аль-Малику, призывавшего обновить древние метафоры – «когда, мол, Зухайр сравнил судьбу со слепым верблюдом, эта фигура могла восхищать людей, но за пять веков восхищения она поизносилась», Аверроэс отвечает доводами, в которых сплавлены воедино три аспекта поэтического высказывания: семантический, прагматический и собственно лингвистический (выразительный):

«...Зухайр в «Муаллакат» говорит, что по прошествии семьдесят лет страданий и славы он видел много раз, как судьба обрушивается на человека, подобно слепому верблюду. Абд аль-Малик полагает, что этот образ уже не способен восхищать. На его замечание можно было бы возразить многое. Образ, который может быть придуман только одним человеком, никого не трогает. На земле бесконечное множество всяких вещей, каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или с птицами. И напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна (семантический аспект – С. 3.). Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал (модальный аспект – С. 3.) и написан стих Зухайра. Сказать лучше, чем сказано у него, невозможно (лингвистический, выразительный аспект – С. 3.). Кроме того – и это, пожалуй, главное (здесь и далее выделено нами – С. 3.) в моем рассуждении, – **время**, разоряющее дворцы, обогащает стихи. Стих **Зухайра**, написанный **им тогда в Аравии**, сопоставлял два образа – образ старого верблюда и образ судьбы; но, прочитанный **теперь**, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и **побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба**. Прежде у этого стиха было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу сти-

ха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат **всегда** и для **всех** людей» (Борхес 1984, 158–159).

Как видим, борхесовский Аверроэс говорит о необходимой истинности высказывания как истинность во всех мирах, но только в определенном моменте времени (хотя имеются и такие строки, которые звучат «всегда и для всех»). В некоторых мирах/контекстах высказывание «Судьба могуча и тупа...» (или ее перифраза) имеет место в любой момент времени («неотвязная мысль»), в других – в определенном моменте («мимолетная мысль»), но нельзя найти такой мир/контекст, в котором данная мысль не имела бы места ни в один из моментов времени (ее «никто не избежал»). Разумеется, каждый раз, будучи привязанным к определенному контексту, это высказывание выражает различные пропозиции – оно отсылает к различным ситуациям, агентам и моментам времени. Однако все эти ситуации оказываются актуализацией некоторой уже заранее высказанной «вечной истины».

На множестве моментов времени («жизнь человека») для прагматической высказывания «Судьба – слепая верблюдница» найдутся такие контексты (моменты времени и говорящие – повторяющие данный стих), при которых она интерпретируется как выражение истинной пропозиции. Эти моменты совпадают с моментом «думания», что судьба жестока и невинна и т. д., а это и есть момент актуализации выражения «Судьба – слепая верблюдница». Заметим, что мысль не столько «думается», сколько «чувствуется»: «нет такого человека, который хоть раз не почувствовал...». Поэтому этот поэтический образ следует считать не просто лучшим языковым выражением соответствующей пропозиции, но и средством подведения окказиональных фактов под категориализирующую пропозицию, которая, используя слова Мандельштама, «долженствует быть». Поэтическая прагматическая функция предстает как обратная от общеязыковой – для последнего она определяется как функция от контекстов к мирам. В нашем же случае не мир подыскивается к предложению в контексте, а, наоборот, для предложения о мире подыскивается соответствующий контекст.

Утверждение о повторяемости событий в историческом дискурсе может быть рассмотрена как спецификация подобного прагмасемантического механизма. Применительно к историческим событиям сама процедура описания некоторого события как повторяемого (акт высказывания “Р” о событии Р в момент времени t_2) придает ему черты необходимо истинного, если высказывание “Р” есть описание события Р в момент времени t_1 , хотя само по себе ни одно историческое событие не может считаться логически необходимым. Возникает неформулируемый в явном виде интерпретационный круг (точнее, рекурсивный механизм – на каждом шаге прибавляется имплицитная информация о предшествующем шаге), в результате которого становится возможным утверждать: Р (t_1) и Р(t_2) – одно и то же событие. Неслучайность Р(t_2), как и было указано Гегелем, ретроспективно характеризует как неслучайное и Р(t_1). Например убийство Лермонтова и Пушкина на дуэли – это различные события. Но высказывание “Великий русский поэт убит на дуэли” истинно как относительно 1837 года, так и 1841 года. Тождество этих высказываний и их одновременная истинность может послужить основанием рассматривать одно событие как повторение другого. Тем самым событие, которое в 1837 году было уникальным (“Великий русский поэт убит на дуэли”), в 1841 году, оно, описанное тем же высказыванием “Великий русский поэт убит на дуэли”, оказывается повторяемым. Разумеется, вовсе не обязательно, чтобы эти высказывания были реально сделаны в 1837 и 1841 году. Они могли быть сделаны в любой последующий момент времени, но отсылая к тем *возможным* речевым актам, которые могли бы иметь место в указанные моменты времени.⁶¹

Высказывание о повторяемости Р в различные моменты времени есть неявное утверждение о 1) неслучайности Р в любой тот момент

⁶¹ Не обладая способностью путешествия во времени, в своем знании о прошлом мы основываемся на высказываниях о прошлом. Если я сейчас, в 2016 году говорю “Пушкин был убит на дуэли в 1837 году”, я имплицитно основываясь на том, что высказанное (или : будь оно высказано) впервые в 1837 году высказывание “Пушкин был убит на дуэли в 1837” – истинно.

времени, когда Р имеет место и 2) о его возможности в новый момент (t_3). Мы высказываем “Р” относительно события имеющего место в (t_2), тогда и только тогда, когда это событие может быть описано как высказывание “имеет место Р”, сделанное в момент времени t_1 . Тем самым это высказывание становится необходимо истинным, но только в прагмасемантическом смысле - оно истинно во всех тех мирах, относительно которых оно высказывается и в которых оно высказывается; поскольку в иных мирах и относительно иных миров, не допускающих подобного описания, высказывание “Р” не высказывается, то оно не предполагает референции к иным мирам и относительно них не оценивается. (В этом аспекте возможна аналогия с понятием модели в логической семантике: истинность высказываний некоторой (формальной) теории оцениваются только относительно данной модели, почему и они могут быть только и только истинными высказываниями).

Несколько огрубляя и вместе с тем упрощая картину: высказывание “Р” о повторяемости события Р истинно всегда, когда Р повторяется (а Р повторяется, когда мы описываем некоторое событие как “Р”). Тем самым высказывания о повторяемости события Р приобретают характер прагмасемантически самоподтверждающегося прогноза, но который “на самом деле” идет не от прошлого к будущему (переносит описание имевшего в прошлом события на настоящее и далее на будущее), а, напротив, приписывает прошлому характеристики настоящего – “*предсказывая назад*”⁶².

⁶² Ср. в этой связи стихи Пастернака и комментариев к ним Ю.М.Лотмана : “*Пастернак допустил ошибку в цитате, Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад, Назвал историка пророком, Предсказывающим назад. приписав Гегелю высказывание А.Шлегеля (факт этот впервые установлен Л.Флейшманом), но сама эта неточность в высшей мере показательна. Остроумное высказывание, которое привлекло внимание Пастернака, действительно, очень глубоко отражает основы гегелевской концепции и гегелевского отношения к истории*”. -Лотман 1994, 421.

Вместе с тем рассмотрение прагматосемантики утверждений о повторяемости позволяет дополнить предложенное К. Поппером замечание о том, что *факты оказываются выбранными в угоду тем самым теориям, которые они должны проверить, показав на основе каких лингво-семантических механизмов возможны такие манипуляции с фактами*. Как можно было видеть на примере анализа «вечных истин», существенен не только подбор фактов, сколько их интерпретация и контекст (напомним вышеприведенные слова Маркса об «*при обстоятельствах, которые не сами они (люди – С.З.) выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого*». В этих условиях возможно также и «заимствования имен прошлого» для описания и тем самым осмысления новых событий: то есть также и такая интерпретация некоторого положения дел, при котором оно предстает как уже ранее описанного применительно к некоторому предыдущему событию. Это становится возможным потому, что одни и те же языковые выражения описывают как смыслы (интенционалы), так и референты (денотаты, состояния дел), и неразграничение этих двух аспектов позволяет отождествлять различные состояния дел (события-референты), если они описываются одними и теми же выражениями и тем самым интерпретируются как различные манифестации одного и того же события-концепта. Тем самым мы несколько видоизменяем предложенное В.З. Демьянковым разграничение: описываемое в дискурсе событие можно рассматривать как событие-смысловую модель, (или событие-концепт), которая может реализоваться в различных уникальных событиях-референтах (фактах). Тем самым события-референты, будучи описываемыми в определенном историческом дискурсе, выступают как члены класса, который задается событием-концептом.⁶³ Хронологически первый из этих членов класса осмыс-

⁶³ В (Демьянков 1983) предлагается обратное: рассматривать «*а) событие как идею...*; его аналогом, видимо, является интенционал имени или дескрипции; два неидентичных идеи-события могут в пространстве и времени полностью

ляется как событие-прототип, все последующие события рассматриваются уже как его повторения (а не как определяемые языком описания манифестации события-концепта).

Как и в случае «вечных истин», языковые выражения с идентичной или сходной смысловой структурой описывают также и новые события-референты (факты) как повторение уже ранее имевших место. Незамкнутость этого класса повторяемых событий позволяет осуществлять также и прогностическую функцию – при схожих контекстах событие-концепт будет актуализовано и в будущем. Так, если вернуться к Гегелевскому примеру об изгнании Бурбонов : первое изгнание Бурбонов в 1815 году (событие-референт) становится также и событием-концептом (интенционалом), которое манифестируется и в дальнейшей истории - второе изгнание Бурбонов в 1830, а затем уже и третье, в 1848 году, о котором почивший к тому времени Гегель (1771 – 1831) уже не мог знать. Это же событие-модель будет актуализовано также и во всех тех возможных мирах, мирах контр-фактических или альтернативных историй , в том числе спроецированных и на будущее, в которых Бурбоны возвращаются на французский трон (воцарись Бурбоны во Франции вновь, то они всякий раз были бы или будут изгнаны). Тем самым изгнание Бурбонов приобретает вид нечто похожего на историческую закономерность, аналог поэтической «вечной истины», причем возможны различные концептуальные интерпретации-объяснения для подобного утверждения (победа революции, поражение легитимизма, неэффективность монархии, наследственная ущербность поздних Бурбонов и т.п.).

*накладываться друг на друга; б) **собственно событие**, или **референтное событие**; его аналог – конкретный референт (экстенционал) имени – конкретный объект, занимающий конкретное же положение в пространстве-времени, это – прообраз для идеи-события, которая в свою очередь дает его интерпретацию; в) **текстовое событие** в его атрибутах, «осциллирующих» в интерпретации.*

Заключение

Описывающие свои действия участники исторических процессов столь чувствительны к истории, поскольку из неслучайности прошлого выводят неслучайность собственного настоящего, которое должно быть зафиксировано или преодолено в будущем - путем изменения мира, введения дополнительных условий и удаления нежелательных последствий. Откуда берется эта вневременная воспроизводимая в истории смысловая структура? Извлекается ли она из истории или приписывается историком-идеологом? Это - конкретизация принципиально неразрешимого вопроса - имеет ли история смысл или же смысл приписывается интерпретатором. Но возможен ли какой-либо взгляд на историю, не использующий эти понятия? Даже представляя историю как последовательность несвязанных случайных событий, мы создаем некоторый текст (анти-текст, анти-смысл которого структурирован анти-целостностью, анти-связностью и анти-единством). Во всех случаях, необходима некоторая концептуальная мета-схема, в которой некоторый факт может быть осмыслен и приобрести статус повторяющегося или неповторимого события. Как отмечал Витгенштейн, “смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, **как** происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и вне Такого (So - Sein). Ибо все происходящее и Такое - случайно. То, что делает это не случайным, не может находиться в мире, ибо в противном случае оно снова было бы случайным. Оно должно находиться вне мира”.

(Логико-философский трактат, 6.41). Преобразование факта в событие (если использовать вышеприведенное разграничение Алана Бадью) переносит из мира физического в ментальное, концептуальное и текстуальное пространство, где оно наделяется смыслом и перестает быть случайным. Нетрудно заметить, что в основе различ-

ных версий философии истории лежат различные лингво-семиотические механизмы описания, интерпретации и осмысления событий и фактов: начиная с того, какие события и факты могут быть признаны историческими. Модальностная оценка оказывается оказывается одной из наиболее существенных характеристик события. Как мы могли убедиться, повторяемость – это свойство не самих событий, а того, каким образом они описываются. Помимо собственно семантических факторов, релевантными оказываются и прагмасемантические – подбор тех контекстов, в которых некоторое описание события отсылает к тому множеству возможных миров в котором оно имеет место. При этом в историческом дискурсе модальностная оценка сознательно или бессознательно переносится с модальности высказывания (*dedictum*) на модальность *dere* – необходимость или неслучайность выступают как характеристики самого события, а не высказывания о нем.

Список литературы

1. Аристотель. *Метафизика*. - М.: изд-во Эксмо, 2006. - 608 с.
2. Аристотель. *Об искусстве поэзии*. М.: Гослитиздат, 1957 - 183 с.
3. Борхес Х. Л. *Проза разных лет*. - М.: Радуга, 1984. - 319 с.
4. Витгенштейн Л. *Логико-философский трактат*. М., Изд. иностранной литературы, 1958. - 131 с.
5. Бадью А. *Мета/политика : можно ли мыслить политику? краткий трактат по метаполитике*. М.: Издательство "Логос". 2005. - 240 с.
6. Гегель Г.В.Ф. *Лекции по философии истории*.СПб.: Наука, 2000.- 480с.
7. Демьянков, В. З. '«Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста', *Известия Академии наук СССР.Серия литературы и языка*, 1983, т. 42, № 4, с. 320–329.

8. Золян, С. Т.: *Семантика и структура поэтического текста*, Ереван: Изд.-во Ереванского университета, 1991.

9. Крипке, С. 'Тождество и необходимость', *Новое в зарубежной лингвистике*, вып. XIII. Москва, 1982, с. 340–376.

10. Лотман, Ю. М. 'Смерть как проблема сюжета', *Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа*, Москва: 1994, Гнозис, с. 417–430.

11. Мандельштам, О. *Сочинения: В 2 томах*, Москва: Художественная литература. 1990.

12. Маркс К. 18 брюмера Луи Бонапарта. // *Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.*, т. 16, с. 374–376.

13. Прайор А. И. 'Временная логика и непрерывность времени'. // *Семантика модальных и интенциональных логик*, Москва: Прогресс, 1981, с. 76–97.

14. Л. В. Сморгунов Событийное политическое знание и его значение для современной сравнительной политологии. // *Полис. Политические исследования*. М., 2011, № 11, 122 – 133

15. Соссюр, Ф. де., *Труды по языкознанию*, Москва: Прогресс. 1977

16. Террас, В. И. 'Классические мотивы в поэзии Осипа Мандельштама', *Мандельштам и античность. Сборник статей. Записки Мандельштамовского общества*, вып. 7, Москва, 1995, с. 12–32.

17. Тойнби, А.: 'Повторяется ли история?', А. Тойнби, *Цивилизация перед судом истории*, Москва – Санкт-Петербург: 1996, с. 35–41.

18. Шмид, В. *Нарратология*, Москва: Языки славянской культуры. 2003.

19. Partee, B. 'Some Remarks on Linguistic Uses of the Notion of «Event»', *Events as Grammatical Objects: The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax*, Edited by Carol Tenny, James Pustejovsky, Stanford: CSLI Publications, 2000, p. 483–496.

20. Barwise J., J. Perry: 'Situations and Attitudes', *Journal of philosophy*, 1981, vol. 78, № 11, p. 668–691.

21. Cresswell, M. J. 'Hiperintensional Logic', *Studia Logica*, 1975, vol. 34, p. 25–38.

22. Evans V.& Pourcel St. (eds.) *New Directions in Cognitive Linguistics*. Bangor University, UK John Benjamins, 2009 , 519 p..

23. Partee, B. 'Some Remarks on Linguistic Uses of the Notion of «Event»', *Events as Grammatical Objects: The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax*, Edited by Carol Tenny, James Pustejovsky, Stanford: CSLI Publications, 2000, p. 483–496.

24. Tenny, C., J. Pustejovsky., 'A History of Events in Linguistic Theory'// *Events as Grammatical Objects: The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax*, Edited by Carol Tenny, James Pustejovsky, Stanford: CSLI Publications, 2000 - p. 3–37.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ: ВСЕ ЕЩЕ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ

С.Т. Золян

В этой главе мы рассмотрим некоторые аспекты того символического оформления процессов формирования независимой армянской государственности в начале 90-х годов. Говоря о них, как правило, основное внимание уделяется собственно политическим и экономическим аспектам: борьбе за демократию против тоталитаризма, национально-освободительной борьбе против Кремля, изменению экономического строя и т.п. Между тем, уже само понятие национального государства как явление Нового времени есть прежде всего идея государственности, основанной на национальной идеологии и культуре. Как было отмечено одним из наиболее авторитетных исследователей проблем нации и национализма Эрнестом Геллнером,

“Новый мир, в котором национализм, то есть соединение государства с «национальной» культурой, стал общепринятой нормой, в корне отличается от старого, где это было явлением редким и нетипичным. Существует огромное различие между миром сложных, переплетенных между собой образцов культуры и власти, границы которых размыты, и миром, который складывается из единиц, четко отграниченных друг от друга, выделившихся по «культурному» признаку, гордящихся своим культурным своеобразием и стремящихся внутри себя к культурной однородности. Такие единицы, в которых идея независимости связана с идеей культуры, называются «национальными государствами». В течение двух столетий, последовавших за Французской революцией, национальные государства стали нормой политической жизни” [Геллнер 1992, с. 9].

Безусловно, создание независимого государства обусловлено многочисленными политическими и экономическими причинами, но

вместе с тем глубинным фактором, определяющим возникновение и полноценное функционирование национального государства следует считать объединяющий данный социум культуру, определяющей коллективную и индивидуальную идентичность данного социума, почему и национальная высокая культура, по Э. Геллнеру и другим теоретикам, есть не нечто дополнительное к государству и его функциям, а составляет единое целое с «идеей независимости». Такое понимание можно встретить и у Как было замечено Д. С. Лихачева:

«Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации. Если у людей, населяющих какую-то географическую территорию, нет своего целостного культурного и исторического прошлого, традиционной культурной жизни, своих культурных святынь, то у них (или их правителей) неизбежно возникает искушение оправдать свою государственную целостность всякого рода тоталитарными концепциями, которые тем жестче и бесчеловечнее, чем меньше государственная целостность определяется культурными критериями» [Лихачев 1994 , с.3].

Но возможно и обратное – основная функция независимой национальной государственности видится именно в сохранении и развитии уже имеющейся национальной идентичности. Именно так воспринимали свою основную политическую задачу большинство из возникших в конце 80-х национальных движений в СССР, чья деятельность в конечном итоге привела к распаду многонационального СССР и возникновению новых государств, хотя первоначально цель этих движений заключалась в создании гарантий для развития своего языка и культуры.

Заметим, что подобная постановка вопроса о предназначении независимой государственности в армянской общественной мысли в силу ряда весомых причин никогда не была доминантной, но она весьма отчетлива была выражена в статье классика армянской поэзии Ваана Терьяна «Духовная Армения» (1914). Предвосхищая подход позднейших теоретиков, основой и обоснованием для создания армянского

национального государства Терьян считал создаваемую культурой «внутреннюю интеллектуально-духовную связь между ее членами». Как бы отталкиваясь от Веберовского определения государства как инструмента легитимизированного насилия, Терьян центральной точкой дискуссии делает «мечту» тех, кого он называет *буржуазными зоологическими патриотами*: для них главным достижением будет то, что в независимой Армении будут свои армяне-полицейские, одетые в национальные мундиры, то есть легитимное насилие будет осуществляться не чужеродным, а «своим» этносом. Между тем, по Терьяну, для самого народа безразлично, какую форму носит и к какой нации принадлежит обирающий и избивающий его полицейский. Подобному «полицейскому» пониманию государства Терьян противопоставляет понятие «духовной Армении». В целом политическая независимость еще недостаточна, чтобы народ стал нацией:

«Нация создается не только мощью внешних сил, искусственным рядом положением обстоятельств, но внутренней интеллектуально-духовной связью между ее членами. Кроме внешних возможностей, требуется и внутренняя сила, духовный порыв, благодаря которому сообщество людей становится нацией. Пусть сколь угодно независимой будет какая-либо Албания, она никогда не создаст нацию, если албанский народ не будет наделен внутренним порывом к достижению этого и ценой тяжкого труда не приобретет это право. Я не придаю никакого значения той национальности, которая сохраняет свою идентичность только благодаря внешним границам, и, что главное, такую идентичность, которую и не нужно сохранять. Всякий народ, желающий и обладающий волей стать нацией, должен непрестанно создавать те ценности, которые станут залогом его идентичности»(перевод наш – С.З.). [Терьян 1973, 113 -114].

Как видим, для Терьяна независимое государство предполагает «непрестанное сотворение ценностей», которое есть идентичность объединяющая народ и делающей его в том числе и политической

нацией. Трудно судить, был ли знаком Терьян с теорией наций Эрнеста Ренана, чья опубликованная в 1882 году публичная лекция в Сорбонне «Что есть нация» сегодня считается основополагающей, но общность между ними очевидна. Основная мысль статьи Терьяна «Духовная Армения» - именно духовно-интеллектуальная деятельность, направленная на консолидацию социума и создание ценностей, позволяет создать из сообщества людей нацию. Это напоминает часто цитируемую мысль Ренана о том, что нация – это сотрудничество, солидарность и «повседневный плебисцит»: «ясно выраженное желание продолжать общую жизнь» [Ренан 1902, с. 102]. В этой лекции Ренан сформулировал определяющий на сегодня подход к нации: краеугольным камнем формирования, функционирования и развития нации и национального государства является идея национального единства и солидарности, что получает свое выражение и осознание в формируемой и осознаваемой индивидом и социумом в целом национальной идентичности. Солидарность порождает государство, и единство нации основано не на биологических, географических или экономических факторах, а есть духовное и социокультурное явление:

“Разделять в прошлом общую славу и общие сожаления, осуществлять в будущем ту же программу, вместе страдать, наслаждаться, надеяться, вот что лучше общих таможен и границ, соответствующих стратегическим соображениям; вот что понимается, несмотря на различия расы и языка» [Ренан 1902, сс. 101 - 102].

Очевидно, что составляющие национальную идентичность компоненты и факторы могут функционировать только приобретая смысл и символическую значимость и образуя связный дискурс, объясняющий, что есть данная нация, в чем ее предназначение, каковы объединяющие ее представления о прошлом, настоящем и бу-

дущем⁶⁴. Подобный дискурс («политический миф», без пейоративных оттенков) может приобретать различный характер, но его основное содержание должно быть выражено посредством некоторого крайне ограниченного набора символов, обладающих в данной культуре огромной смысловой емкостью и являющихся отражением объединяющих данный социум базовых ценностей. Подобный дискурс обладает общими характеристиками политической коммуникации. Как показал в свое время основоположник ее теории Гарольд Лассвелл, функция политических символов и политической мифологии – это создание и упрочение социальной солидарности [Лассвелл 2006]. Воспроизведем основные положения его концепции. "Миф" не всегда имеет вымышленный или иррациональный характер, хотя может и быть таковым. Это необходимый инструмент политики, который зависит от планируемых целей, будь то оболванивание нации или же ее мобилизация на решение стратегических задач. Политический миф, по Гарольду Лассвеллу, содержит в себе "фундаментальные допущения", касающиеся политических вопросов. Он состоит из символов, к которым прибегают не только с целью разъяснения, но и оправдания специфических практик власти. (Это, например, «флаги и гимны, церемонии и демонстрации, народные герои и окружающие их

⁶⁴ Ср.: «Конвенциональный и воображаемый характер выделения в социальном пространстве наций позволяет говорить об означивании (*национализации*) социума, формировании в социальном пространстве национального дискурса. Дискурс рассматривается не только как отложившийся и закрепившийся в языке способ упорядочения действительности, но и как «способ видения мира, выражаемый в самых разнообразных, не только вербальных, практиках, а следовательно, не только отражающий мир, но его проектирующий и сотворяющим» [Миллер 1997, с. 142]; «Понятие «дискурс» включает в себя социально обусловленные способы восприятия и интерпретации окружающего мира, а также социальные практики и институциональные формы организации общества, инспирированные этим видением мира. два аспекта идентичности: индивидуально-психологический, личностный, с одной стороны, и групповой или социокультурный, с другой» - [Тимофеев 2005, 42].

легенды»). Благодаря им обеспечивается ориентация и самоидентификация индивида в социуме.

«Их функция заключается в том, чтобы вызвать восхищение и энтузиазм, укрепляющие веру и чувство лояльности индивида к власти. Они не только вызывают необходимые для существования данной социальной структуры эмоции, но способствуют осознанию необходимости разделить эти эмоции с другими людьми, тем самым, стимулируя всеобщую классовую идентификацию и создавая основу для солидарности. Ключевой символ - это основной компонент политического мифа... Одной из очевидных функций ключевого символа является функция формирования общественного опыта для каждого человека в государстве, от самого могущественного политического лидера до самого рядового обывателя или философа. В самом деле, одним из немногих обстоятельств, объединяющих людей независимо от расы, происхождения, профессии, принадлежности к партии или религии, является то, что на их сознание постоянно воздействует один и тот же набор ключевых слов. Данные термины способствуют развитию чувства лояльности к власти и тем самым обеспечивают единство населения страны» [Лассвел 2006]⁶⁵.

Как обобщает в своем аналитическом обзоре Н. М.Мухарьямов, символы «...заряжены силой магического воздействия. Они знаменуют ситуацию решающего выбора, мгновенного воссоздания политической реальности и в этом качестве не замещают эту реальность, а становятся ее частью. Прагматика символов такова, что они не предназначены для оперативного управления действиями человека, для этого есть знаки. Символы повелевают» [Мухарьямов 2006, с. 72]. Именно на этой способности символов «повелевать» основывается власть дискурса, или, в иных терминах, символическая власть – принятый социумом доминирующий дискурс диктует правила и

⁶⁵Цит. по: <http://www.philology.ru/linguistics1/lasswell-06.htm> (28.08.2016).

стратегии поведения, ориентации в социокультурном пространстве и интерпретации происходивших и происходящих событий⁶⁶.

Рассмотрим с этих позиций, как понимается национальная идентичность в современной Армении и как она отражена в существующей политической символике. Ограничимся только государственной (то есть закрепленной в Конституции) - это герб, флаг и гимн, а также Национальный день. Обретение Арменией независимости проходило в сложной политической и идеологической обстановке, когда основными политическими целями и, соответственно, дискурсами были борьба за Карабах и борьба с коммунистическим режимом. Это привело к ситуации, когда политическое становление независимой государственности оказалась вне основных политических дискурсов, они оформляются уже после обретения Арменией независимости как бы для оправдания уже происшедших радикальных изменений. Между тем, как было сказано, само создание независимого государства предполагает идеологическое обоснование. Таким образом, политические процессы привели к созданию нового государства, которое уже задним числом было обязано легитимизировать себя не только в международной политико-правовой сфере, но и в идеологической. Политико-правовой суверенитет должен был быть дополнен созданием или восстановлением армянской идентичности. Республика Армении должна была выступать не только как «субъект международного права» (именно такая формулировка была одним из основных политических требований), но и как носитель определенной идентичности. Обретение независимости оформляется как реализация права народа на самоопределение, вплоть до создания независимой государственности, но это юридическое право должно быть идеологически обоснованно - как («долгожданная») реализация национальной идентичности, как («наконец-то!») возможность политическо-

⁶⁶Ср.с формулировкой Пьера Бурдьё: «...власть утверждать данность через высказывание, власть заставлять видеть и верить, утверждать или изменять видение мира, и тем самым, воздействие на мир, а, значит, и сам мир» - [Бурдьё 2007, с. 95].

го (полноценного) сохранения и развития нации.

Основные предшествующие независимости дискурсы акцентировали правовые аспекты легитимности возникновения Республики Армения, ссылаясь на Конституцию СССР, предоставлявшей союзным республикам право на самоопределение (вплоть до отделения), а также и на международное право (Устав ООН). Легитимность Республики Армения рассматривалось как обретение формальной (т.е. юридической) правосубъектности. При этом возникала коллизия между юридически никак не оформленным правом армянского народа (то есть включая армян Нагорного Карабаха и ставшее диаспорой армянство Западной Армении) и правом на самоопределение Армянской ССР как союзной республики. Эта коллизия нашла свое определенное решение в понимании международной правосубъектности как возможности требовать через международные институты от мирового сообщества восстановления исторической справедливости и признания геноцида 1915 года. Тем самым реализовывались, по крайней мере, декларативно, две важные функции. Первая – это объединение Армении и диаспоры, ибо ее родина – не Восточная Армения, а Западная. Вторая – это начало построения «свободной, независимой и объединенной Армении» – воскрешалась главная идеология и неосуществленный лозунг Республики Армения 1918 -1920 годов и, соответственно, и ее политическая символика.

В тоже время как дополнение к историко-политическому выступал и культурно-традиционалистский дискурс, в котором Армения выступает как страна, сумевшая сохранить в исконном виде ряд базовых ценностей (истинное первоначальное христианство, арийство, индоевропейские корни, цивилизацию Урарту и шумеров и т.п.). Армения воспринималась как хранитель утраченных ценностей, что требовала защиты ее идентичности в форме независимого государства – то есть создания нечто вроде «заповедника», ограждающего ее от господства искажающих базовые ценности армянской нации иных этносов.

Вплоть до 1990 года подобные дискурсы были явлением культу-

ры, литературы, публицистики, но политическим фактом они могли стать после того, как на выборах в Верховный Совет победу одержали не-коммунистические силы, в первую очередь, Армянское общенациональное движение (АОД). Новая государственная власть, взяв курс на независимость, уже могла и была обязана выразить новую смысловую и идеологическую систему в форме основополагающих дискурсов и системы символов. При этом следует учесть, что как политическая доктрина, так и политический миф, его формулы (слоганы) и символы (используя эти термины в том смысле, в каком они используются в теории Гарольда Лассвелла), формировались с некоторым опережением, еще в контексте существующих политико-правовых норм и официальной идеологии Советского Союза. Само обретение независимости от СССР происходило в соответствии с действующими законами СССР. Армения существовала в составе СССР, но принимаемые официальные документы описывали реальность так, как якобы Армения была уже вне в СССР, что создавало своеобразный эффект совмещения поэтической и политической семантики, создавая своеобразную двусмысленность принимаемых документов⁶⁷.

В 90-ые годы создаются дискурсы и вводятся соответствующие

⁶⁷ Так, как рассказал депутатам (среди которых был и автор этих строк) на заседании Верховного Совета Армянской ССР 24.08.1990 бывший тогда его председателем Левон Тер-Петрпосян, после принятия Декларации о независимости РА от 23 августа 1990 года вечером ему позвонил президент СССР М.С. Горбачев, прочитавший эту Декларацию, и спросил: «Так Вы теперь независимое государство или нет?». В самом деле, сама Декларация не дает однозначного ответа. Ее первоначальный вариант декларировал не «*независимость*», а *государственный суверенитет*; эти в целом синонимичные выражения в контексте 90-х были противопоставлены чуть ли не как антонимы. Но в окончательном варианте речь шла не о собственно независимости, а о том, что «Республика Армения провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности», но в то же время она характеризуется как «суверенное государство, наделенное верховенством государственной власти, независимостью, полноправием». Естественно было желание Михаила Сергеевича уточнить – находится ли Армения в «начале процесса утверждения независимой государственности» или уже «наделено верховенством государственной власти, независимостью». – [<http://www.gov.am/ru/independence/>].

щая государственная символика (герб, гимн), внедряются новые интерпретации истории, создаются и воссоздаются культы героев и мучеников. Первоначально происходила тривиальная замена ценностей на противоположное: все «советское» заменялось на «антисоветское». Символы меняли свою оценку на противоположную, узаконивалось ранее запрещенное, дезууировалось ранее официально принятое. Легкость подобной трансформации объяснялась и тем, что в общественном сознании она уже фактически произошла ранее и оставалось лишь придать ей официальный статус, преобразовав армянский диссидентский дискурс в государственный. Так, февральская авантюра 1921 года стала народным восстанием против большевиков, зато Майское восстание 1920 года против дашнакского правительства превратилось в майский мятеж. В этой связи органичным было обращение к тому, что в советской символической системе считалось отрицательным, поскольку было связано с «дашнакской» Республикой 1918 – 1920 годов. Декларация Независимости 1990 года прямо указывает на нее в качестве предшественницы нынешней республики: «развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения».

Было естественным ожидать, что будут восстановлена также и символика этой республики, а нынешнее государство будет рассматриваться как восстановление прежней (путь, по которому пошли в своих Декларациях балтийские страны, Грузия и Азербайджан). Ведь если Республика Армения (1991 года) есть отражение (воспроизведение) Республики Армения (1918-1920 гг.), то речь должна идти не об обретении, а о восстановлении независимости, как тогда уже заявили об этом в своих декларациях Балтийские республики, Грузия, впоследствии – Азербайджан). В соответствии с мифологическими представлениями, происходит своеобразная политическая реинкарнация: Республика Армения с ее атрибутами государственности (флаг, герб, гимн, дата основания и даже Арам Манукяном, объявленным отцом-основателем республики 1918) воспроизводится в 1991 году. Восстанавливается в ка-

честве государственного флага триколор 1918 года, который в качестве неофициального, но уже общепринятого символа фигурировал начиная с 1990 года. Несколько сложнее оказалась ситуация с гимном – гимн 1918 года «Наша Родина» был принят только как «основа» – была утверждена музыка, но слова тогда было решено не утверждать, а доработать впоследствии: первая строка написанного демократом-народником Микаелом Налбандяном в 60-х годах XIX века стихотворения «Моя родина жалкая и покинутая» (букв.: «бесхозная») была вполне уместна в 1918 году, но явно не соответствовала государственному оптимизму 1991 года. Что касается герба 1918 года, то официально он был восстановлен только 19 апреля 1992 года – нарисованный Мартиросом Сарьяном прежний герб Советской Армении с Араратом с эстетической стороны был намного совершеннее, поэтому отказ от него происходил куда труднее. Национальным днем было провозглашено 28 мая – день провозглашения Первой Республики. Саму Декларацию было поручено прочесть Араму Манукяну – молодой депутат из Кировакана выступал как инкарнация легендарного Арама Манукяна умершего в 1918 году. Основным политическим дискурсом стал сформировавшийся еще в 1960-ые как диссидентский «антисоветский» дискурс о том, как армянская нация естественным путем двигалась к обретению независимой государственности и объединению Восточной и Западной Армении, что и было достигнуто в 1918 году и закреплено в Севрском договоре 1920 года. Однако из-за вмешательства темных сил Республика Армения была уничтожена (мировое зло в данном случае воплотилось как союз поделивших Армению между собой Ленина и Сталина с Атаатюрком) и подменена ее уродливой формой – Армянской ССР. Восстанавливалась идея «единой, свободной, независимой» воскресшей из истории республики 1918-1920 гг., границы которой, не сводясь к первоначальным границам «Араратской республики» 1918 года, мыслились в динамике ее территориального расширения 1919 -1920 годов, включая Карс, Нахичевань, Карабах, а также и Западную Армению, как то было предусмотрено в сорванном из-за альянса большеви-

ков и кемалистов Севрским договором 1920 г.

Однако такой путь оказался лишь одной из альтернатив. Реальные политические процессы потребовали значительных корректировок как применительно к внешнеполитическим, так и внутривнутриполитическим факторам, чего не было в советский период, когда диссидентские нарративы оставались в пределах политической беллетристики и не влекли каких-либо последствий, кроме как уголовного преследования. Между тем, практическая реализация подобного проекта ставила такие вопросы, как, например:

1) Восстановление Республики Армении 1918- 1920 года означало и восстановление ситуации двух поражений: проигранной войны с Турцией 1920 года и фактической, хотя и необъявленной войны с Советской Россией в том же году. Что касается границ, то отказ от Карсского договора и признание действующим Севрского реально означал территориальные претензии к Турции. Поэтому Карсский и другие договора, прекращавшие существование Республики Армении 1918 - 1920 года официально так и не был объявлен недействительным.

2) Во внутривнутриполитическом плане подобная реставрация республики 1918 г. в качестве мифического прототипа и полная инкарнация Республики 1918- 1920 года легитимизировала и партию, которой была правящей в этой республике – Дашнакцутюн. Вставал вопрос о восстановлении легитимной власти в лице изгнанной большевиками из Армении партии Дашнакцутюн.

Сохранившая себя за рубежом партия «Дашнакцутюн» воспринималась в обществе именно так, и сама воспринимала себя так же, почему и претендовала быть истинным выразителем интересов всего армянства и готовилась вернуться в Армению именно в качестве правящей. Но ни новая власть (АОД), ни все еще сохранявшая свои позиции коммунистическая номенклатура вовсе не собирались уступать ей место во власти. Соответственно, формируются новые дискурсы: доктрине восстановления независимости начинают противо-

поставляться концепции ее обретения или же ее развития. Несовершенство первой Республики, ее слабость и трагический финал серьезно подрывают ее способность выступать как прототип (поскольку, по той же мифологической логике, ее ждет такой же конец). Кроме того, в дискурсе «воскрешения» прошлого многочисленные новые события оказывались вне истории. Как не имевшие прототипа, они не могут быть наделены смыслом применительно к новой реальности. Парадигма еще не сформировалась чтобы питать смыслами текущие события, но они не могут оставаться не-интерпретированными. Поэтому более привычное (и традиционное для армянской истории) отношение подобия переворачиваются в будущее : сама текущая история объявляется первоначальным состоянием, она и есть источник смысла (прототип) для будущего. Модель повторения заменяется на модель сотворения. Такая модель и идеология рассматривается ее адептами как реалистическая и прагматическая в противовес противоположной, не без оснований называемой романтической и утопической. Референдум 21 сентября 1991 года становится символической точкой сотворения новой Армении. Подобная трансформация оформляется как деидеологизация - в противоположность традиционной национальной идеологии, которая объявляется фантомом, «ложной категорией», а история – «лженаукой».

Но пытаясь освободиться от предшествующих идеологических моделей, новый дискурс вбирает ряд мифологических элементов, хотя и другого порядка, относящихся уже к процессу сотворения мира. Мифологический праздник-ритуал выступает в этом случае не как воспроизведение, а как исполнение, деятельность. Референдум о независимости 21 сентября 1991 года (после августовского путча и де-факто прекращения существования СССР) - в самом деле свелся к ритуалу-празднику. Он уже не влек каких-либо политических последствий в виде конфронтации с практически не существующим СССР и сводился к требуемой международным правом процедуре легитимации существующего де-факто положения дел: как шутили тог-

да, даже в случае отрицательного результата референдума Советский Союз специально для армян все равно бы уже не восстановили. При этом парадоксальность ситуации заключалась в том, что 28-го мая уже был объявлен днем независимости и национальным днем, и Армения проводила свой референдум уже в условиях независимости. Творцам нового дискурса пришлось некоторое время мириться с этим, и некоторое время 21-ое сентября был объявлен (национальным) праздником, но без имени, хотя и отмечался как главный *национальный* день. Только в 1995 году, уже в новом парламенте, в котором АОД практически избавился от оппозиции, этот день получил название Независимости, а 28-ое мая было переименовано в День республики (но не День Первой республики).

Если на первом этапе акцентировалась несовместимость советских и «армянских» символов, то впоследствии намечаются попытки примирить и найти объединяющую их форму (подробнее см. в статье Микаела Золяна в нестоящем сборнике). Так, с самого начала делались попытки сохранить предшествующее, но без явной коммунистической символики. Например, как в эстетическом отношении совершенные образцы, предлагалось сохранить герб Армянской ССР Мартироса Сарьяна, но убрав из него расположенную наверху звезду, или же восстановить гимн Арама Хачатуряна, но изъяв из текста слово «советский». Но на начальном этапе незначительное редактирование (как, к примеру, удаление звезды из герба) существовавших образцов не могло считаться приемлемой альтернативой. Перенос дискуссии в область эстетики не был оправдан – существенны были именно политические, или, скорее, мифопоэтические аспекты символа. Существенным были не сама символика старого-нового герба, которая до сих пор так и не стала ясна большинству, ни достаточно простая мелодия гимна, но и тем более текст – релевантным было свойство этих символов отсылать к прототипу как своему означаемому.

Но с легитимизацией Армянской ССР как «второй республики», рассматриваемой в качестве переходной ступени к «новой» Армении

ситуация несколько меняется: независимость понимается не только как восстановление утраченного или же как абсолютно новое состояние, сколько повышение степени государственного суверенитета. Прежние коллизии после распада СССР потеряли свою драматичность. В формируемом ранее в условиях конфликта с продолжавшим существование СССР дискурсе, все, что ассоциировалось с советским и коммунистическим, подлежало аннулированию. Теперь же стало возможным считать приемлемым в том числе и «советское», но без «коммунистического». Так, была сделана попытка восстановить, но в модифицированном виде Женский день 8 марта и день Победы Девятого мая – первый был преобразован в день Материнства и перенесен на 7 апреля (церковный праздник благовещения Марии), а день Победы стали отмечать 8 мая – как в «цивилизованной» Европе. (Заметим, что общество не приняло этих нововведений, что стало причиной восстановления этих праздников в первоначальной форме).

В целом наблюдается общая тенденция к формализации символики. Поэтому могут мирно уживаться ценности Первой, Второй и Третьей республик – они берутся как достойные уважения знаки, лишённые внутренней динамики и потому допускающие достаточно причудливое сочетание. Особо наглядно это видно на примере наград Министерства обороны, учредившего медали Нжде, Дро и Баграмяна: все трое были офицерами армии Первой республики (Дро был министром обороны); во время Второй мировой войны, то есть во времена Второй республики, они оказались разведёнными по разные стороны фронта противниками, но вновь воссоединились уже как герои Третьей республики.

Как видим, все эти три вышеобрисованные концепции, несмотря на их противоречивость, были признаны государством и обществом, создав причудливую систему государственной символики, согласно которой Республика Армении

1) считается правопреемницей и продолжательницей Советской Армении,

2) вместе с тем унаследовав государственную символику Республики 1918 – 1920 годов,

3) однако главным государственным праздником был признан 21 сентября – День независимости в ознаменование дня референдума 1991 года, когда – как утверждалось идеологами этого направления – армянский народ впервые стал политической и гражданской нацией⁶⁸.

Как видим, был достигнут определенный консенсус: основная часть общества вовсе не намерена была отказываться от достижений Советской Армении, поэтому если вначале был провозглашен отказ от них, то в дальнейшем намечается определенная контаминация «старого» и «нового». Имея большинство в парламенте, правящее тогда Армянское национальное движение старалось утвердить модель сотворения нового государства, но вместе с тем вынуждена была считаться с мнением большинства вне стен парламента. Идея регулярно восстанавливаемой государственности нашла неожиданную опору в факте существования Армянской ССР, что сделало возможным даже найти точное арифметическое выражение для новой реальности – Третья республика, что предполагает, естественно, существование не только Первой, но и Второй.

К сожалению, в ходе последующего развития не происходит гармоничного синтеза этих трех концепций. Наоборот, все более усиливается архаизирующий подход, согласно которому Армения есть извечно существующая нация, безотносительно к какому-либо государственному или общественному устройству. В частности, такой подход был закреплен принятым во втором чтении Национальным собранием Республики Армении Законом об объявлении 11 августа праздником — Днем национальной идентичности. (Как было вычис-

⁶⁸ Ср.: «Национальные праздники есть «особый механизм памяти во времени и пространстве, укрепляющий национальную идентичность и символизирующий, кто есть «Мы» и как «Мы» такими стали. – [National Day, p.1].

лено на основании древних армянских хроник, в 2492 году до н. э. Рождества Христова прародитель армян Айк победил пытавшегося покорить их ассирийского царя Бэла, создав тем самым возможность свободного и независимого существования армянства). Законопроект был единогласно одобрен Национальным собранием Республики Армении в первом чтении⁶⁹, но окончательно так и не был принят причем за эти годы его инициаторы даже не сделали какой-либо попытки (по крайней мере, официально) довести дело до предполагаемого парламентскими процедурами завершения. Вряд ли можно считать случайностью то, что в течение последующих лет он так и не стал законом: подобная официальная фиксация идентичности резко сузила бы ее коммуникативный и семантический потенциал. Но уже сама подобная законодательная инициатива свидетельствует об изменившемся отношении к идентичности: из политического самоосмысления себя как нации общество возвращается к характерному для идеологов XIX века фольклорно-эпическому пониманию.

Подобная противоречивая ситуация вокруг этого праздника обнажает существующие в армянском политическом дискурсе достаточно серьезные разночтения, которые, однако, не стали предметом научной дискуссии. Указанная законодательная инициатива отражает идеологию не только предложившей ее и позиционирующей себя как носительницу традиционалистских ценностей партию «Дашнакцутюн», но и большей части армянского общества: характерно, что против этого законопроекта не было высказано ни одного голоса. Корни подобной политики символизации – в происходящей архаизации общества, что парадоксальным образом гармонирует с биополитикой Новейшего времени, когда государство, согласно теории Мишеля Фуко, начинает рассматривать индивида не как социальный, а как биологический феномен. В современном армянском дискурсе, как на официальном и академическом, так и на обыденно-бытовом уровне, доминирующим

⁶⁹<http://armenpress.am/arm/print/461227/>(дата обращения: 20.10. 2016).

оказывается такое понимание идентичности, которое исходит из идеи о неизменности формирующей ее национальной сущности, т. е., примордиализма [ср.: Suny 2001, 867]. Как обычно, такое понимание бывает особо выпуклым в случае его если не прямого пародирования, то, по крайней мере, комического обыгрывания. Так, в одной из наиболее популярных современных комедий “Mea culpa” (автор – А. Саакян, первое представление в 2002 году) армянский интеллигент получает задание выступить на очень важном международном форуме. Свою речь он решил начать с того, что “еще тогда когда некоторые сидели на деревьях, мы, армяне, уже умели готовить шашлык”. Некто очень важный (президент?), с которым наш интеллигент должен согласовать свою речь, по телефону в целом текст одобряет, но дает указание, оставив про шашлык, снять про “сидящих на деревьях” – это, мол, само по себе хорошо, но другие, к которым должен обратиться наш интеллигент, могут обидеться.

Этот текст достаточно показателен – современный армянин считает себя (или должен считать себя) прямым потомком армян-прародителей, будь то мифический Айк, исторический Тигран или древнейшие обитатели Армянского Нагорья и Араратской равнины. При этом существует закреплённая школьным курсом истории генеалогия, которая соотносит современного армянина с «наиболее древними» армянами – если и есть определенные неясности, то исключительно по вине недостаточно потрудившихся историков, и эти неясности с течением времени будут устранены. Подобное понимание идентичности распространяется и на другие народы – так, персонажи указанной пьесы уверены, что присутствующие на форуме представители великих держав также, как и армяне, в состоянии проследить свою родословную до самих истоков – только идентифицировать они себя будут не с жарящими шашлык армянами, а с сидящими на деревьях человекоподобными. Они не забыли то время, когда они сидели на деревьях, почему и могут обидеться за такое напоминание.

Как и мы, армяне, так и они идентичны собственной идентич-

ности, и эта тавтология не может быть оспорена, поскольку основывается на культе не подлежащей изменению генеалогии. Предполагается, что далекими предками изначально задано разделение на народы, и сущностные черты наших предков, которые и составляют нашу идентичность, мы повторяем уже которое тысячелетие. Более того – эта неизменность легитимизирует существование наций и в современном мире, разделяя их, с одной стороны, на достойных быть представленными в политической и культурной истории и имеющие исконные права, а с другой – на захвативших чужое место узурпаторов. В частности, наш герой, пусть и весьма неудачно, но воспроизводит модель, повторяемую с самых древних времен по наши дни – ссылаясь на историю, причем на ситуацию первоначала, легитимизировать право претендовать среди прочего и на тот миропорядок, который воспроизведет исходную ситуацию «золотого века» (наш персонаж на международном форуме должен требовать воссоединения Западной Армении).

Здесь не место рассматривать, насколько такое понимание соотносится с политическими теориями и идеологиями и насколько оно распространено в доминирующих дискурсах других народов и государств. Безусловно, найдется множество совпадений, но в случае армянской идентичности есть определенные историко-культурные характеристики, которые неизбежно усиливают подобное мировосприятие. В первую очередь, это армянский язык, который, принадлежа к индо-европейской языковой семье, составляет ее отдельную ветвь и не может быть объединен в какую-либо группу с какими-либо другими языками (в отличие от романских, германских, иранских и т.п.). Данные сравнительно-исторического языкознания не дают возможности вывести древнеармянский язык из какого-либо более древнего языкового состояния, нежели реконструируемый протоармянский, то есть непосредственно из его же предшествующего

состояния⁷⁰. Определенные основания для подобной изолирующей самоидентификации могут дать и данные генетики, по крайней мере, некоторые из исследований (ср.: Wade, 2015; Haber et. al. 2015). Поэтому герою пьесы “*Mea culpa*” проще, нежели другим – он может возводить свою родословную непосредственно к “тем, кто ели шашлык”, чего не сможет сделать, скажем, испанец. Но он ошибается, думая, что его адресаты также в состоянии идентифицировать своих прародичей – ведь, например, французам или англичанам труднее: – они не могут не знать о периоде, когда их предполагаемые предки были то ли германцами, то ли латинянами или норманнами и, конечно же, они окажутся в затруднении – с какими именно из сидящих на дереве им следует идентифицировать себя⁷¹.

Поэтому в настоящее время применительно к национальной идентичности выработался иной подход – это идентичность, обращенная не в прошлое, а в настоящее – к современному государству, что особенно характерно для американского дискурса. Выдуманному эпизоду в “*Mea culpa*” может быть противопоставлен столь же абсурдный

⁷⁰ Основную сложность представит соотношение армянского и урартского языков, и, соответственно, армянского и урартского этносов, почему и столь мотивированы попытки соотносить урартскую клинопись с древнеармянским языком. Однако поскольку продвижение вглубь истории не может быть ограничено какими-либо рамками, то логичным оказывается распространение такого подхода еще глубже: также и на хеттские и шумерские источники.

⁷¹ Ср.: «Ни один француз не знает, бургунд он, алан или вестгот...Во Франции нет и десяти фамилий, которые могли бы доставить доказательство своего французского происхождения, да и то эти доказательства были бы недостаточны благодаря тысяче неизвестных скрещений» – [Ренан, с.93]; “Во многих отношениях мир средневековой Европы кажется современному человеку невероятно беспорядочным, дезорганизованным. На всем протяжении Средневековья множество людей, проживавших на землях, известных ныне как Франция или Англия, не считали себя «французами» или «англичанами». Они слабо представляли себе территориальную нацию («страну»), которой они должны были быть преданы сильнее, чем самой жизни. Сообщество было воображаемым и жило иначе, чем сейчас” – [Биллинг 2005, с. 68].

взгляд на армянскую идентичность, но уже взятый из реальности – это история, рассказанная известным политологом Александром Искандаряном (личное сообщение). Он находился на стажировке в США в тот момент, когда Армения провозгласила независимость. Коллеги Искандаряна пришли поздравить его, причем особенно подчеркивали, что наконец он сможет стать армянином. Удивленный Искандарян спросил – почему только сейчас он может считаться армянином и за кого они принимали его до провозглашения Арменией государственной независимости. Выяснилось, что за русского.

Как видим, для героя “*Mea culpa*” вневременная национальная идентичность никак не соотносится с государственностью, и – продолжим – для большинства армянских политиков и политологов государственность есть лишь форма адекватной организации и защиты этой идентичности. Напротив, для американских знакомых Искандаряна не может быть национальности вне государства, поэтому она подлежит постоянным изменениям и может создаваться или меняться в течение дня ⁷². Правда, в случае такой привязанной к настоящему идентичности как компромисс допускается и историческое измерение – основанная на отношении к предкам этническая идентичность как дополнительная по отношению к национальной ⁷³: так, во Фран-

⁷² Впрочем, американские коллеги Ал. Искандаряна лишь довели до абсурда то, что они вычитали в современных уважаемых курсах по национализму, напр., у ведущего теоретика (идеолога?) Эрика Хобсбаума: “Для них (основателей первых национальных государств) единство нации было политическим, а не социально-антропологическим. Оно состояло в решении суверенного народа жить по общему закону и общей Конституции, независимо от культуры, языка и этнического состава. «Нация», — говорил аббат Сийес со свойственной французам прозорливостью, — это «общество людей, живущих под *общим* законом и представленных одним *законодательным* учреждением» - [Хобсбаум 2005, 50].

⁷³ В свое время в СССР была и обращенная в будущее форма идентичности (советский человек), но она так и не была реализована. Неслучайно, что наиболее жестоко после распада СССР пострадали т.н. “русскоязычные” - люди, утратившие идентичность по отношению к прошлому и которых правильнее было назвать “советскими” людьми. Они не только не были приняты в России

ции Шарль Азнавур воспринимается как «француз армянского происхождения», тогда как в Армении он – «французский армянин».

Если идентичность воплощается в прародителе, то гражданство в втором случае рассматривается как производное от этничности: как то было выражено еще в Декларации независимости Армении от 23 августа 1991 года: *армяне, проживающие за пределами Республики Армения, имеют право на гражданство Республики Армения*. Такое понимание можно выразить формулой: «*Все армяне – армяне*». Разумеется, определяющим здесь становится происхождение от родителей-армян. Таким образом, уже в самый момент рождения Третьей республики в ее основополагающем документе звучит отголосок представлений о манифестации идентичности в прародителе. Разумеется, это вовсе не «новаторство» героев пьесы «*Mea culpa*» или же разработчиков Закона об идентичности. Законодательная инициатива связывать армянскую идентичность с победой прародителя Айка над Белом, так и «бытовой неоплатонизм» персонажей этой пьесы имеет глубокие корни. Эта архаичная мифологическая идея была воскрешена еще в немецком романтизме. Джон Джозеф, основываясь на работах Фихте, так излагает подобное понимание идентичности: «В чистом виде сущность нации воплощалась в ее основателе и сохранялась на всем протяжении истории нации, составляя основу ее языка, культуры, образа мысли и интеллектуальных и художественных достижений. Неоплатоновская по своему характеру, она ориентировалась на область вечных идеалов и связывала реальность не с миром поверхностных явлений и исторических случайностей, а с постоянной, неизменной сущностью вещей. В чистом ви-

как свои – напротив, это слово в определенных кругах стало пейоративным (русскоязычные – стало быть не русские). В случае Армении в такой ситуации оказались многие беженцы из Азербайджана, прежде всего из Баку – те, кто оказался не в состоянии восстановить свою прошлую армянскую идентичность и для многих из них логическим итогом оказалась эмиграция не только из Армении, но и из России в США.

де сущность нации воплощалась в ее основателе и сохранялась на всем протяжении истории нации, составляя основу ее языка, культуры, образа мысли и интеллектуальных и художественных достижений» - [Джозеф 2005, с. 35].

Основанный на данной мифологеме (эпистеме?) подход неизбежно приводит и к мифологизации истории. Она абсолютизирует этиологию, происхождение, но не дает ответа на вопрос – что же связывает потомков Айка в сегодняшнем мире? Серьезные исследования армянской идентичности приводят к далеко не однозначным выводам⁷⁴. Предположим, что мы в самом деле в состоянии проследить историю армянского народа вплоть до 11 августа 2492 году до н. э. и выделить всех тех, кто происходит от прародителя Айка. Что объединяет их кроме общности происхождения? (Вспомним детей Ноя – Хама, Сима и Яфета, все они, согласно Библии, стали родоначальниками разных народов и даже рас). Безусловно, для ответа на этот вопрос требуется несколько иное понимание идентичности, связывающее его не столько с прошлым, сколько с настоящим. Архаизация понятия нации как вечно существующего и неизменного начала преобразует это понятие из политического феномена - в лучшем случае - в культурно-исторический, а при определенных интерпретациях – даже в биологический феномен.

Оба вышеприведенных подхода, условно назовем их примордиалистским и политическим, рассматривают идентичность как производное от чего-то внешне заданного – в одном случае от происхождения (Шарль Азнавур – армянин, так как его родителя армяне, и их родители – армяне, и так – вплоть до прародителя Айка), в другом – от гражданства (Шарль Азнавур – француз, так как родился во Франции и имеет французское гражданство).

⁷⁴ Укажем, в первую очередь, на те исследования современной армянской идентичности, где она рассматривается как « единство в многообразии»: Abrahamyan 2006; Goltz 2005, Hofmann., 2011; Panossian 2006; Shougarian 2010..

Для главного персонажа указанной пьесы вневременная национальная идентичность никак не соотносится с государственностью, и – продолжим – для большинства армянских политиков и политологов государственность есть лишь форма адекватной организации и защиты этой «извечной» идентичности. Безусловно, отсутствие политической стратегии обрекает на семиотическую ущербность используемой системы символов, но вместе с тем верно и обратное: использование не имеющих перспективу символов и мифов распыляет и без того скудный политический ресурс общества. Так, примордиалистское понимание нации и идентичности, лишенное идеи государственного строительства и взаимодействия и сотрудничество с внешним миром отрицательно сказывается на возможности выдвижения проектов, которые были бы адекватны сегодняшним вызовам. Архаизация понятия нации как вечно существующего и неизменного начала преобразует это понятие из политического феномена – в лучшем случае – в культурно-исторический, а при определенных интерпретациях – даже в биологический феномен. Более того, начинают переосмысляться в духе патриархальных ценностей даже современные политические институты (президент как отец семейства, государство как мать, притчи бабушки как источник законоотворчества и т.д.). Существующая в современной Армении политическая символика становится все более формальной и ритуализованной, по своей сути напоминая функционирование системы политических символов в застойные годы СССР⁷⁵. В этом мы видим существенную опасность, которая при накоплении отрицательных явлений в конечном итоге может привести к дезинтеграции общества, размыванию концепта национальной идентичности и тем самым – идеи национальной независимой государственности.

⁷⁵ Как пример, можно привести ставшие обязательными в образовательных учреждениях особые места, где помещены национальные символы, к которым в последнее время стали относить портреты действующего президента и католикоса.

Между тем, возможно и динамическое понимание идентичности, как процесса и интеллектуально-духовной деятельности, о чем говорилось вначале и что нашло отражение в вышеприведенных идеях Терьяна и Ренана. Идентичность – это не статичное, а динамичное явление, это постоянный процесс, который осуществляется как непрерывная коммуникация между различными общественными группами (подробнее об этом в нашей статье: [Zolyan 2016]). Связывая прошлое и будущее, наделяя смыслом настоящее, национальная идентичность не может быть фиксированной, не подлежащей трансформациям вневременной сущностью, это постоянно развиваемый коммуникативный процесс передачи семантически значимой информации и модусов ее интерпретации. Благодаря подобным коммуникативным процессам осуществляются процессы как внутринационального диалога и национального согласия (взаимопонимания), так и процессы коммуникации между нацией и миром ⁷⁶, в результате чего изменяются образы «себя» (we-images) и «другого» (they-images). Посредством постоянной коммуникации формируется общенациональный социальный контекст, крайне важный для самоорганизации государства и общества, обеспечивается толерантность и равновесие, баланс, между различными, иногда и антагонистичными группами и даже культурами⁷⁷. Нацио-

⁷⁶ Уместно напомнить, что в силу своего географического, геополитического, культурно-исторического положения Армянское Нагорье было местом встречи и коммуникации многочисленных народов и этносов, культур и религий, а современный облик Армении можно назвать результатом межкультурной коммуникации. Диалог между культурами и религиями - это историческая судьба армянского народа. Сама география предопределила историю Армении начиная с момента этногенеза армян как процесс межкультурного диалога, взаимообогащающей народы коммуникации, позволяющей умножить творческий потенциал культур. Армянский язык неоспоримо свидетельствует, что языковые контакты между народами, принадлежащими к различным языковым семьям (индоевропейской, кавказской и семитской) относятся как минимум к III тысячелетию до нашей эры.

⁷⁷ Ср.: «Внимательный исследователь армянского языка и армянской письменности, армянской архитектуры и армянской литургии очень скоро

нальная идентичность, будучи не биологическим, а политическим, социальным и культурным феноменом, может существовать только как семантическая и аксиологическая система: система смыслов и ценностей, которая в коммуникативных процессах реализуется посредством множества взаимодействующих друг друга дискурсов и дискурсивных практик. Благодаря этому общенациональному контексту при сохранении необходимой степени разнородности функционирующих дискурсов создается возможность их взаимопереводимости и тем самым взаимопонимания между различными социальными группами.

Список литературы

1. *Биллиг Майкл*. Нации и языки. // *Логос* 4 (49) 2005, с. 60 – 86
2. *Бурдые П.* Социология социального пространства. СПб.: Алетейа, 2007. -288 с
3. *Геллнер Эрнест*. Пришествие национализма. Мифы нации и класса. // *Путь: международный философский журнал*. 1992. № 1. – с. 9 – 61.
4. *Джозеф Джон*. Язык и национальная идентичность. // *Логос* 4 (49), 2005, с. 20 – 48
5. *Лассвелл Г.* Язык власти. // *Политическая лингвистика*. - Вып. 20. - Екатеринбург, 2006. - С. 264-279. - Цит. по: <http://www.philology.ru/linguistics1/lasswell-06.htm> (28.08.2016).
6. *Лихачев Д. С.* Культура как целостная среда. *Новый мир*. 1994.- № 8. – с. 3 –8
7. *Миллер А. И.* О дискурсивной природе национализмов // *Pro et Contra*.

обнаружит, что эти ключевые манифестации армянской культуры представляют не изолированные и индивидуальные узко национальные армянские феномены, а что здесь мы имеем дело со своеобразным и внутри себя истинным великим синтезом, который благодаря своим многочисленным компонентам есть межэтническая и межкультурная величина. Этот синтез, в свою очередь, есть величина, которую ни с чем ни спутать и которая определяет профиль армянской культуры. Защита собственно армянской идентичности, собственно армянского существования равносильна защите этого межкультурного синтеза» - [Goltz 2005, с. 388-389].

1997. № 4.С. 141 – 151

8. Мухарьямов Н. М.. О символических началах в языке политики. // Символическая политика. Вып.1. Москва, ИНИОН РАН, 2012. – с. 149 – 163.

9. Ренан Э. Что такое нация? // Э. Ренан Собрание сочинений в 12-ти томах. Т.6. Киев, 1902. - с. 87-101

10. *Ваан. Терьян*, Собр. соч. в 4-х т.т., т. 3, Ереван, 1973, на арм. яз (Վահան Տերյան. Երկերի ժողովածու չորս հատորով, Հ.3, Երևան, 1973). Тимофеев, М. Ю. Нациосфера: Опыт анализа семиосферы наций . – Иваново : Иван. гос. ун-т, 2005.- 280 с.

11. Хобсбаум Эрик. *Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность.* // Л о г о с 4 (4 9), 2 0 0 5 - с. 49 - 59.

12. *Abrahamyan Levon*, Armenian Identity in a Changing World, Mazda Publishers, *Armenian Studies Series*, v. 8, 2006; - 408 p.

13. *Goltz Hermann*. Offenes Ethnos geschlossenes Imperium: Der armenische kulturelle Archetyp // Armenia on the way to Europe. Yerevan, 2005, P. 388-399.

14. *Haber Marc et. al.*, Genetic evidence for an origin of the Armenians from Bronze Age mixing of multiple populations. European Journal Of Human Genetics doi: 10.1038/ejhg. 2015.

15. *Hofmann Tessa*. One Nation – Three Sub-Ethnic Groups: The Case of Armenia and her Diaspora. With a Foreword by Prof. Dr. Gevorg Poghosyan. Yerevan: Narek, 2011; - 106 p.

16. National day's: constructing and mobilizing national identity. // Ed. By McCrone D. and McPherson G. -N.Y.: Palgrave Macmillan. – 2009.

17. *Panossian, R*. The Armenians: From Kings And Priests to Merchants And Commissars, Hurst & Co, London, 2006; - 442 p

18. *Shougarian Rouben*. West of Eden, East of the Chessboard, Gomidas Institute London 2010. – 188 p.

19. *Suny Ronald*. Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations.// The Journal of Modern History, 2001, № 4, p. 862 - 896.

20. *Wade Nicholas*. Date of Armenia's Birth, Given in 5th Century, Gains Credence. // New York Times march 10, 2015

21. *Zolyan Suren*. National Identity and Cross-Cultural Communication (on Armenian experience from historical point of view). // *W poszukiwaniu tożsamości językowej (В поисках языковой идентичности)*. z. 2, Uniwersitet Gdanski, 2016, 155 – 158.

СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ И ПОСТСОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ: ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ АРМЕНИИ

Микаэл Золян

Политика памяти – ключевой компонент политического дискурса. «Войны памяти», т.е. столкновение исторических нарративов, борьба за «аутентичность» исторического нарратива, все это – неотъемлемая часть политического процесса. Как писал в классической анти-утопии «1984» Джордж Оруэлл, «тот кто управляет прошлым управляет будущим, тот кто управляет настоящим, управляет прошлым». Слова Оруэлла обычно воспринимаются в контексте грубых фальсификаций истории, предпринимавшихся тоталитарными режимами 20-го века, которые и послужили «вдохновением» для писателя, однако цитата Оруэлла вполне применима и к намного менее радикальным проявлениям политики памяти, так как она адекватно передает суть этого явления. Политика памяти, будь то в условиях тоталитарного, демократического или гибридного политическом режима, это непрекращающаяся борьба за «гегемонию», в том смысле, которое вкладывал в это понятие Антонио Грамши. Как при тоталитарных режимах, послуживших прообразом для Оруэлла, так и в других политических системах, политика памяти тесно связана с легитимацией существующих институтов и роли в них политических элит.

Одна из важных функций исторической памяти в обществе – легитимация: как легитимация существующей политической системы в государстве и места занимаемого в нем различными группами политической элиты, так и легитимация существования той или политической единицы, как таковой. Как отмечает Джошуа Фoa Диденстаг, один из исследователей проблематики легитимации через историческую память, или как ее иногда называют «мнемонической легитим-

ности», ключевое значение имеет связь между «легитимностью существующих институтов, их исторической ролью, и вопросом репрезентации... память приобретает особую важность, когда претензии на легитимность основаны на претензиями на репрезентативность... которые, в свою очередь, часто связаны с исторической идентификацией» (Dienstag 1996, 60). Другой исследователь, Ян-Вернер Мюллер поясняет: «Память как базис легитимности может быть понята как форма „структурной власти“, т. е. власти определять, что становится частью политической повестки, в каких терминах формулируются политические проблемы и каких конфликтов стараются избежать» (Mueller 2002, 27).

В данной главе мы на примере политического дискурса постсоветской Армении мы рассмотрим два аспекта одной из важнейших функций политики памяти – функции легитимации, которые условно можно назвать «внешней» и «внутренней». В случае «внешней» легитимации мы говорим о том, как определенные нарративы и практики формируют историческую память, легитимирующую существование определенных политических единиц и их соотношение с другими подобными единицами (например, определенные исторические нарративы, которые обосновывают почему должно существовать то или иное независимое национальное государство, многонациональная федерация, колониальная империя, и т.д.). Говоря о «внутренней» легитимации, мы говорим о тех нарративах и практиках памяти, которые предоставляют обоснование существованию той или политической системы в рамках данной политической единицы, и как правило, обосновывают претензии той или иной части политических элит на власть в рамках этой политической системы. Следует отметить, что разделение легитимирующей функции исторической памяти на «внешнюю» и «внутреннюю» легитимацию в достаточной степени условное: как правило эти аспекты взаимосвязаны.

Учитывая объем материала, в данной главе мы обратимся лишь к определенным аспектам политики памяти постсоветской Армении. Ос-

новой интерес для нас представляет, то, как в политическом дискурсе постсоветской Армении интерпретируется период распада СССР и образования независимой Армении. Это период, когда формируется государство Армения в его нынешнем виде, «время оно», ключевой период для политики памяти постсоветской Армении. Хронологические рамки этого периода очертить не так легко, как может показаться. Началом этого периода можно считать первые проявления «Карабахского Движения» в начале 1988 года. Несколько сложнее обстоит дело с тем, когда заканчивается этот период: подобной датой может считаться и, например, декабрь 1991 года – т.е. окончательный распада СССР, и 1992 год, период формирования основных институтов независимого государства и его международное признание, и, например, 1994, год завершения войны в Нагорном Карабахе. Кроме того, обсуждение места событий этого периода практически неотделимо от вопроса о восприятии советского прошлого в исторической памяти общества. Поэтому, необходимо обратиться к проблеме репрезентации советского прошлого в политическом дискурсе постсоветской Армении. Наконец, в завершение, мы обратимся к тем, какие изменения внесли в восприятие репрезентации интересующей нас проблематики в армянском политический дискурсе события шоковые события 2016 года, в частности апрельские столкновения в Нагорном Карабахе.

Компромисс и Эkleктика: Армянская модель памяти в постсоветском контексте

Во многих постсоветских странах столетняя годовщина «Октябрьской революции» (или «Октябрьского переворота») стала поводом для дискуссий о том, как постсоветские общества относятся к своему прошлому. В Армении поводом для дискуссии послужила инициатива о переименовании улиц, названных в честь армянских большевиков, предложенная оппозиционной партией «Елк» летом 2017 г.

Не успели еще утихнуть баталии, вызванные инициативой оппозиционных политиков, как вспыхнули новые споры о советском прошлом. В этот раз поводом для дискуссии стало закрытие выставки «Затмение», посвященной жертвам сталинских репрессий. Можно привести еще примеры подобных дискуссий из армянской общественной жизни 2010-ых годов: часто поводами для общественных дебатов становились инициативы возведения памятникам тем или иным армянским деятелям 20-го века, таким как Анастас Микоян, Амазасп Бабаджанян или Гарегин Нждэ.

Любопытно, что эти дискуссии во многом повторяют процессы, имевшие место в начале 1990-ых гг., когда имело место то, что можно назвать «десоветизацией по-армянски»: переименовывались улицы, демонтировались памятники советским деятелям, а школы с русским языком преподавания переводились на армянский язык обучения. В то же время, как мы увидим, армянская модель «десоветизации» во многом отличалась от похожих процессов в других постсоветских и постсоциалистических странах, в частности, армянская модель «десоветизации» отличалась меньшим радикализмом и стремлением найти некий компромисс с советским прошлым. Более того, в начале 1990-ых, казалось, этот компромисс был найден, и в течение многих лет тема отношения к советскому прошлому казалась закрытой. Тем не менее, как свидетельствуют упомянутые дискуссии, вопрос об отношении к советскому прошлому вновь стала актуальным.

Для адекватной интерпретации процессов, имевших место в Армении, необходимо рассмотреть проблему отношения к советскому прошлому в региональном контексте постсоветского пространства. Здесь армянский кейс условно локализовать где-то посередине между двумя противоположными моделями отношения к советскому прошлому, которые можно условно назвать интеграционной и эксклюзивной (т.е. советское прошлое либо интегрируется в национальный нарратив и политику памяти, либо исключается из него, т.е. расценивается как “оккупация” или “завоевание”).

Отношение к советскому прошлому в постсоветских странах весьма разнообразно. Где-то, как в Балтийских странах и в Грузии, доминирует точка зрения на советский период как на «оккупацию» или «колонизацию» со стороны более могущественного соседа. Где-то, как в Республике Беларусь, отношение к советскому периоду более чем лояльное, и некоторые элементы советского наследия, такие, как, например, исторический нарратив о «Великой Отечественной Войне» становится частью национальной идентичности, которую стремится построить государство. Эти подходы можно считать своего рода полюсами, и остальные постсоветские страны, в том числе и Армения, располагаются в этом спектре где-то посередине.

Более того, даже внутри каждой из стран, где, как может показаться, доминирует один или другой подход, при ближайшем рассмотрении все может оказаться более сложным и неоднозначным. Так, например, как было отмечено, считается, что наиболее лояльное отношение к советскому прошлому в Беларуси, где нынешняя независимая республика позиционируется как наследница Белорусской ССР. Тем не менее, даже здесь, в 2010-ые намечаются определенные изменения в официальной политике памяти, которые вписываются в рамки так называемой «мягкой белорусизации», что проявляется, в частности, в изменениях в подходе к репрезентации «Белорусской народной республики» (Smok, 2013).

Достаточно сложное отношение к советскому прошлому в России. Если в 1990-ые и ранние 2000-ые ностальгия по СССР была скорее «низовым» явлением, чем официальной точкой зрения, в то время как на официальном уровне доминировало осуждение советского строя, или по крайней мере стремление подчеркнуть отсутствие преемственности между ним и современной Россией, то постепенно ориентация на советский период все в большей степени становится доминирующим трендом, влияющим на официальную политику памяти и расхожее представление в обществе. В итоге, в 2010-ые гг. отношение к советскому прошлому достаточно причудливым обра-

зом сочетает ностальгию по брежневской стабильности, широко-масштабное празднование победы в Великой Отечественной Войне, неоднозначное отношение к периоду Сталина, и осуждение Ленина и большевиков на фоне идеализации империи Романовых. В этой картине Российская Империя и СССР сливаются в некую идеализированную сверхдержаву, и именно эта мифологизированная конструкция становится объектом ностальгии. При этом, от союзников и соседей России ожидается некоторая степень лояльности по отношению к советскому прошлому, а осуждение советского прошлого нередко трактуется как проявление враждебности к Москве.

В нашем случае важно осознавать это обстоятельство, для того, чтобы правильно понимать логику дискуссий о советском прошлом в Армении в 2010-ые гг. В контексте одновременного участия Армении в евразийском интеграционном проекте и программе ЕС «Восточное Партнерство» в Армении после 2013 г. активизировались дискуссии о направлении развития страны, в которых условно можно проследить три основные позиции, которые условно можно назвать как “про-западную”, “про-российскую” и “изоляционистскую” (т.е. которая выступает за сохранение максимально возможной степени суверенитета и неучастие в интеграционных проектах). В этом контексте, споры о советском прошлом часто воспринимаются как часть более широкого спора о векторе развития страны.

Все это накладывается на достаточно своеобразную модель восприятия советского периода, сформировавшуюся в Армении в результате постсоветской трансформации. С одной стороны, в конце 1980-ых Армения, наряду с Грузией и странами Балтии, была одной из первых советских республик, где зародилось национальное движение и где был поставлен вопрос о выходе из СССР. Правда, в отличие от балтийских стран, изначально основным требованием армянского национального движения было воссоединение с Нагорным Карабахом, но по мере того, как стало понятно, что Москва не поддерживает эти требования, национальное движение пошло по пути противопоставле-

ния себя Москве, или, как обычно говорили в то время, «союзному центру». С этого момента, национальное движение в Армении стало развиваться примерно по той же модели, что и в Грузии и странах Прибалтики, естественно с той особенностью, что союзный центр был не единственным противником, столь же, если не более важным было противостояние с Баку. При этом, стали достоянием гласности темные страницы советской истории, такие как, например, репрессии 1930-ых и массовые высылки в Сибирь в конце 1940-ых. В этом отношении в Армении также была местная специфика – много говорилось о сотрудничестве между кемалистской Турцией и большевиками, а также о предполагаемой роли Сталина в передаче Нагорного Карабаха Азербайджану: обращения к событиям 1920-1921 в армянском контексте сыграли роль, аналогичную дискуссиям о пакте Молотова-Риббентропа в прибалтийских республиках.

Конфронтация с Москвой обострилась после того, как летом 1990 г. представители национально-демократической оппозиции победили в выборах в Верховный Совет. После августовского путча 1991 г. Армения поспешила воспользоваться создавшейся возможностью: уже в сентябре был проведен референдум и провозглашена независимость. Отношение к советскому наследию в эти годы в Армении было соответствующим. Улицы, названные в честь советских деятелей, переименовывали, их памятники сносили. Школы с русским языком обучения, где в годы застоя в основном обучались дети армянской элиты, были переведены на армянский язык обучения. «Ленинопад» в Армении произошел задолго до того, как это появился этот термин: статуя Ленина, была убрана с главной площади Еревана 13 апреля 1991, т.е. даже до августовского путча⁷⁸.

Все это, на первый взгляд, повторяет паттерны декоммунизации балтийского образца. Однако, на самом деле, формировавшаяся в

⁷⁸«Памятник Ленину — (не)живая история», Медиамакс, 27 ноября, 2012, <http://www.mediamax.am/ru/news/yerevan-XX-century/6339/>

1990-ые гг. армянская модель постсоветской политики памяти в значительной мере отличается от других постсоветских аналогов склонностью к компромиссу с советским прошлым, что приводит к определенному эклектизму, так как определенные элементы советских нарративов встраиваются в новый постсоветский нарратив. Так, например, советский период в Армении, никогда, даже в начале 1990-ых, не считали «оккупацией». Советскую Армению здесь считали и считают формой армянской государственности, называя ее не иначе как «вторая республика». В том нарративе, который стал доминирующим в постсоветской Армении, советская «вторая республика» стала своего рода мостом между «первой республикой», т.е. первым опытом независимости в 1918-1920 гг., и «третьей республикой» т.е. современной Арменией. Сама советизация Армении в 1920 году, хотя и стала восприниматься как негативное событие, тем не менее продолжает считаться наименьшим из зол по сравнению с турецкой угрозой, которая в глазах армянского общества всегда была серьезнее угрозы с севера.

В отличие от ряда постсоветских и постсоциалистических государств, в Армении так и не были приняты законы о «декоммунизации» как таковой, и тем более, не было попыток «люстрации». Правда, в феврале 1991 г. был принят закон «Об общественно-политических организациях», который запрещал создание партийных структур «в государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях и учебных заведениях»⁷⁹, что фактически было направлено против ячеек Компартии, существовавших во всех перечисленных учреждениях. Более того, в апреле 1991 года Верховным Советом было принято решение о национализации имущества Компартии (Вагаршян 2015, 9). Тем не менее, Компартию никто не запрещал. Другое дело, что сама Коммунистическая партия Армении приняла решение о самороспуске в сентябре 1991, но в конечном итоге это привело не к

⁷⁹Закон РА «Об Общественно-политических организациях», 26 февраля, 1991, статья 3, <http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=78>

ропуску, а скорее к тому, что Компартия Армении на самом деле раскололась. После самороспуска, на базе Компартии была создана «Демократическая Партия Армении» во главе с бывшим первым секретарем Арамом Саргсяном. Однако, те члены партии, которые не пожелали «перестраиваться», вскоре воссоздали Компартию под руководством другого политического деятеля, Сергея Бадаляна. Компартия продолжала играть немалую роль в политической жизни Армении в 1990-ые, как это показывают итоги выборов, однако к концу 1990-ых, она потеряла большую часть своих сторонников⁸⁰.

Во многом, стремление к компромиссу было осознанным решением: желание избежать крайностей «декоммунизации» было осознанным решением пришедших к власти в 1990-ом году “национально-демократических” сил. Весьма характерно в этом отношении выступление в 1993 г. президента Левон Тер-Петросяна на Съезде Армянского Общенационального Движения. В этом выступлении Тер-Петросян, в частности, подчеркивал, что, «в отличии от балтийских стран, а также Грузии и Азербайджана», в Армении не было «сведения счетов» с представителями советского режима, и более того, из 36 членов последнего коммунистического кабинета, 14 сохранили свои посты в первом не-коммунистическом правительстве АОД, а «не говоря уже о заместителях министров, большинство которых продолжают работать до сих пор». При этом в той же речи, он также жестко критиковал советскую систему, упоминая, среди прочего, сталинские репрессии и коллективизацию. В заключение, Тер-Петросян заявил, что когда оппозиция, имея в виду по всей видимости коммунистов, «подчеркивает неоспоримые позитивные аспекты советского прошлого», «трудно не согласиться с тем, что такие аспекты были», но нельзя забывать и трагические аспекты советского прошлого (Тер-Петросян 2006, 371).

⁸⁰Коммунистическая Партия Армении, Кавказский Узел, 25 апреля, 2012, <http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/205150/>

Политика памяти в отношении советского прошлого, проводимая в тот период, во многом отражает именно подобные подходы. При том, что не существовало законодательно оформленной концепции политики памяти, прослеживаются определенные тенденции политики памяти в тот период. Так, например, решения по топонимике, сносу памятников и т.д. хотя и принимались по отдельности по в каждом конкретном случае на уровне республиканских или местных властей, отражали господствующие на тот момент в обществе настроения. Так, наметилась определенная дифференциация в отношении деятелей советского периода: армянских коммунистов стали делить на «анти-национальных» и «национальных». В число первых записывали тех, кто выступал против национальных интересов Армении, например, принимал участие в «советизации», которая по сути означало борьбу против независимой армянской государственности, а так же тех, чье имя связывалось с репрессиями. В число вторых, включали тех, кто, будучи коммунистами, одновременно проявлял заботу об армянских национальных интересах, или по крайней мере, не выступали против них. Первых символическим образом «наказывали», демонтируя памятники и переименовая названные в их честь улицы и школы. Вторые были интегрированы в национальный нарратив, а их памятники, улицы и населенные пункты названные в их честь в основном сохранились.

Так, один из ярких примеров интеграции фигур видного большевика в национальный исторический нарратив, это Степан Шаумян, соратник Ленина и руководитель бакинской коммуны, расстрелянный британцами в 1918 году. В учебниках истории Шаумян упоминается в нейтральном контексте (Айоц Патмутюн, 2007, 175). В Ереване до сих пор стоит памятник «бакинскому комиссару» Степану Шаумяну а ереванская школа номер 1 носит его имя. Город Степанаван, названный в честь Шаумяна, тоже никто не стал переименовывать, и его статуя до сих пор украшает главную площадь города. Более того, Шаумян — важная фигура в контексте нагорно-карабахско-

го конфликта. Именно его именем названа столица непризнанной Республики Арцах (до 2017 года Нагорно-Карабахской Республики), хотя сегодня это не акцентируется (Newsen 2001, 265). Более того, Шаумян – один из анти-героев азербайджанского нарратива: его обвиняют в “геноциде азербайджанского народа”, в связи с событиями 1918 г⁸¹.

Приведем еще один пример интеграции важных фигур советско-армянского нарратива в постсоветский национальный нарратив. «Национально ориентированным» большевиком считается и Александр Мясникян (Мясников), возглавивший правительство советской Армении в 1921 г. и погибший в авиакатастрофе в 1926 году: его памятник продолжает стоять в самом центре Еревана. Сохранил свое место среди «национально ориентированных» коммунистов, а также на карте Еревана, и другой руководитель советской Армении того периода Агаси Ханджян, ставший жертвой репрессий в 1936-ом году. По официальной версии, озвученной в тот период, Ханджян якобы покончил с собой, но существует ряд других версий его смерти, так или иначе связанных с Лаврентием Берией, в том числе, утверждают что он был застрелен Берией лично в своем кабинете⁸². Один из постсоветских учебников так описывает судьбы Ханджяна и его гонителя — Берии: «... убийство 35-летнего Агаси Ханджяна, которое произошло в июле 1936 г. в Тифлисе было использовано для того, чтобы развернуть репрессии. Он стал жертвой... ставленника И. Сталина, Л. Берии, Последний впоследствии был выведен на чистую воду и расстрелян, но до этого успел совершить большие злодеяния на

⁸¹ О современном взгляде на эти события в Армении и Азербайджане см. Ваан Меликян. “Мартовская резня” в Баку ровно 100 лет назад – результат мятежа мусульманских сил против большевиков”, Jamnews, 3 апреля 2018, <https://jam-news.net/?p=94186&lang=ru> и Тогрул Машаллы. «Несколько тысяч азербайджанцев были убиты ровно сто лет назад в Баку», Jamnews, 3 апреля 2018; <https://jam-news.net/?p=94284&lang=ru>

⁸² Гамлет Мирзоян, Советские Правители Армении, Номер 2 (137) февраль, 2009, «Ноев Ковчег» <http://noev-kovcheg.ru/mag/2009-02/1526.html>

посту Наркома Внутренних Дел СССР» (Айоц Патмутюн 2008, 66-67) . Таким образом, Ханджяну помогло стать частью постсоветского национального нарратива то обстоятельство, что он, будучи деятелем советского «пантеона», в то же время мог получить статус жертвы и даже в какой-то степени, «борца с системой» в рамках постсоветского нарратива.

Если деятельность Ханджяна и Мясникяна относилась непосредственно к советской Армении, то была еще одна группа большевиков — армяне по национальности, которые действовали вне Армении. На уровне символики названий улиц некоторые из них оказались «поощажены». Так, не был переименован и проспект Гая, названный так в честь Гайка Бжшкяна, красноармейского командира, отличившегося во время Гражданской Войны на территории России и не имевшего отношения к «советизации» Армении. Вероятно, в том, что имя Гая осталось на карте Еревана, сыграли свою роль также и определенные обстоятельства его биографии, в частности, его участие в Первой Мировой Войне в составе армянских добровольческих отрядов, и тот факт, что он тоже стал жертвой репрессий (арестован в 1935 г., расстрелян в 1937 г.)⁸³.

Однако, была и групп большевиков-армян, которые оказались за пределами постсоветского национального нарратива. В особенности это казалось тех большевиков, которые принимали непосредственное участие в борьбе за советизацию Армении в 1920-1921 гг., т.е. по сути были активными противниками независимости, а некоторые из них были причастны к массовым репрессиям. Эта группа большевиков это, в участники таких исторических эпизодов, как подавленное восстание армянских большевиков, в Карсе и Александрополе в мае 1920 г., «советизация» Армении в декабре 1920, а так же фактически гражданская война, развернувшаяся в Армении после анти-большевистского восстания в феврале 1921 г. Пример этой

⁸³ Д. Карасюк. Пьяное Преступление Комдива Гая. “Дилетант”, 18 января 2018,

группы – Гукас Гукасян, молодой (ему на тот момент было 20 лет) участник майского восстания 1920 г., расстрелянный властями независимой Армении. Стоявший в одном из парков Еревана памятник Гукасяну был снесен, и улицу его имени переименовали в честь Казара Парпеци, автора «Истории Армян», жившего в пятом веке. В отличие от Шаумяна, не дожившего до того момента, когда независимая Армения оказалась под натиском большевиков, Гукасян был одним из организаторов вооруженного выступления армянских большевиков в мае 1920 года. Как и другие участники этих событий, а так же «советизации» Армении в конце 1920 г., Гукасян подпал под категорию «анти-национальных» большевиков. Его памятник в Ереване был снесен, а названная в его честь деревня Гукасян была переименована в Ашоцк в ноябре 1991 г (Словарь 2008, 23).

В отношении большевиков и коммунистов, не имевших армянского происхождения, здесь тенденции политики памяти была более однозначными. Так, например, Ленинакан, Кировакан и Калинино, переименованные в Гюмри, Ванадзор и Ташир (Словарь 2008, 60, 180, 196). Шансов на «выживание» на карте Армении практически не было у азербайджанского большевика Азизбекова: город, в советские годы называвшийся его именем, был переименован в «Вайк» (по названию области), а площадь в центре Еревана стала площадью Сахарова (Словарь 2008, 186-187). Больше повезло коммунистам из компартий европейских стран: так на карте Еревана до сих пор есть улицы Анри Барбюса и Юлиуса Фучика, хотя, скорее всего, чем именно замечательны эти деятели, остается неизвестным большинству ереванцев. Судьба «советских» названий, не связанных с конкретными историческими лицами, более разнообразна. В Ереване до сих пор есть «Ленинградский» проспект, а на севере Армении есть город «Ноемберян» (датой советизации Армении считалось 29 ноября), а вот городу Октемберян (от октембер – «октябрь») вернули название «Армавир» (Словарь 2008, 90-93).

Пожалуй, нигде «компромиссность» или «эклектичность» армянс-

кой модели политики памяти, ее стремление не порывать с советским периодом, не проявилась так ярко как в вопросе памяти о Второй Мировой Войне. Участие армян во Второй Мировой, как в составе советских войск, так и в рядах войск союзников, подробно представлены в учебниках истории. Достаточно привести название соответствующего раздела - «Сыны армянского народа на поле боя», чтобы стало понятно в каком ключе освещается участие армян в Великой Отечественной Войне (Айоц Патмутюн, 2008, 90-93). Само использование термина «Великая Отечественная Война» в учебниках Истории Армении так же достаточно характерно, и говорит о нежелании порывать с советским нарративом Великой победы, так же как и формулировки, воспроизводящие, с некоторыми изменениями, классический советский нарратив: «22 июня 1941 г. фашистская Германия, нарушив заключенный в 1939 г. договор о ненападении начала войну против СССР. Началась Великая Отечественная Война советских народов» (Айоц Патмутюн, 2008, 87). Правда, в учебниках мировой истории в соответствующих разделах используется термин «Вторая Мировая Война», но и здесь есть упоминание термина «Отечественная война», причем, оно оформлено следующим образом: «На борьбу с врагом встал весь народ. Подобные войны называют отечественными» (Степанян и др. 2014, 68; Степанян, и др. 2008, 79.).

В отличии от советских деятелей эпохи революции и гражданской войны, советские военные, отличившиеся в годы Второй Мировой Войны, от военачальников до рядовых, стали важной частью национального пантеона. Так, в центре Еревана до сих пор есть проспект и станция метро, названные именем маршала Советского Союза Христофора Баграмяна. Более того, уже в годы независимости, в 2003 г. проспект украсила конная статуя маршала. Проспект, на котором находится Посольство США названо именем другого советского военачальника армянского происхождения – адмирала Исакова, и здесь также памятник ему был установлен уже в постсоветские годы, в 2005 г..

Таким образом, комплекс представлений о Второй Мировой/Великой Отечественной Войне, как о героической странице истории, был инкорпорирован в национальный нарратив постсоветской Армении. И в этом вопросе армянская политика памяти отличается неким эклектизмом и стремлением к компромиссу. С одной стороны, участие армян в войне на стороне Советского Союза считается героической страницей армянской истории, а отличившиеся в войне армяне – часть национального пантеона. В этом отношении можно говорить об определенных аналогиях между политикой памяти в постсоветской Армении, и отношением к Великой Отечественной в России, или например Беларуси.

Однако, как было отмечено, армянскую политику памяти отличает склонность к компромиссу, и вследствие этого, определенный эклектизм. Именно здесь проявляются значительные различия с такими кейсами, как политика памяти в России или в Беларуси. Пожалуй, основное отличие памяти о Второй Мировой Войне в армянском и российском (или белорусском) контекстах заключается, в том, что Вторая Мировая не занимает в армянском национальном нарративе центрального места. В новой истории Армении есть ряд событий, которые значительно важнее для политики памяти – геноцид 1915 года, бои с турецкими войсками в 1918 году, создание первой республики, а в недавней истории – карабахский конфликт. Когда в Армении говорят «во время войны» обычно имеют в виду именно войну в Карабахе, когда говорят о «ветеранах» - имеют в виду участников этой войны, а образ врага в массовом сознании это не «фашисты» или «немцы», а скорее – «азербайджанцы» и «турки». В этом отношении достаточно показательна судьба «праздника победы». 9 мая в Армении отмечают «День Мира и Победы», причем на законодательном уровне не проясняется какая именно «победа» имеется в виду – победа над Германией 9 мая 1945, или взятие армянскими силами города Шуши в Нагорном Карабахе 9 мая 1992, или обе одновременно. Такая «конструктивная двусмысленность» оставляет достаточно ши-

рокий простор для интерпретаций и вполне вписывается в рамки той эклектической модели политики памяти, которая сформировалась в Армении.

Другое отличие, в котором ярко проявляется стремление к компромиссности политики памяти, это отношение к такому противоречивому эпизоду истории как сотрудничество с нацизмом во время Второй Мировой Войны. Тема периодически поднимается в Армении, хотя она, как правило, не имеет центрального значения для политического дискурса. Проблема общественного отношения к этой теме осложняется тем, что некоторые из деятелей, в тот или иной период поддерживавших сотрудничество с Державами Оси, такие как Дро и Нждэ, к этому моменту уже были видными деятелями, отличившимися в период Первой Республики. «Отказаться» от них, выкинуть их из нарратива национальной истории, означало бы отказаться от значительного пласта истории первой республики, что поставило бы под сомнение аутентичность национального нарратива, и его способность легитимировать национальный проект. Поэтому, даже при однозначном осуждении нацизма, убрать этих деятелей из национального нарратива не так-то просто, поэтому и сама тема становится достаточно чувствительной. Учитывая сенситивность темы, следует отметить, что в рамках данной работы, нашей целью не является выяснение исторических фактов связанных с этим эпизодом истории, или давать какие-либо моральные или политические оценки событий тех дней. Нас интересует этот аспект в том плане, что в этом эпизоде проявляется стремление компромиссу, которое характеризует постсоветскую политику памяти в Армении в целом.

С некоторой долей упрощения можно сказать, что компромиссная или эклектическая модель памяти в постсоветской Армении работает и в этом вопросе. В отношении деятелей, сотрудничавших с нацизмом, нет героизации, но нет и однозначного осуждения. Скорее, есть стремление объяснить их поведение и поставить в исторический контекст. Так, один из учебников истории говорит об этом эпизоде сле-

дующее: «Немецкое командование создало из советских военнопленных национальные легионы... В 1942 г. был организован также и состоявший из 12 батальонов армянский легион... В этом процессе принимали участие несколько армянских национальных деятелей (Дро, Арташес Абебян, Гарегин Нждэ и другие). Через организацию легиона они стремились оградить армянский народ от опасностей в том случае, если бы война закончилась победой Германии» (Айоц Патмутюн 9, 2008, 93). Отмечается также, что после перелома в военных действиях в 1943, начала меняться и позиция сотрудничавших с фашизмом деятелей, которые в этот период пытались наладить связь с союзниками СССР, а так же начали распадаться батальоны армянского легиона, многие из служащих которого успели перейти на сторону СССР и его союзников (Айоц Патмутюн 9, 2008, 88).

***«Советское» и «Анти-советское» Анастас Микоян,
Гарегин Нждэ и ре-актуализация проблемы
советского наследия***

Говоря о политике памяти в отношении советского наследия, важно учитывать не только синхронический, но и диахронический аспект. Иными словами, необходимо обратить внимание на то, что концепция репрезентации советского прошлого, выработанная в Армении в начале 1990-ых не является статичной и претерпевает изменения, или, по крайней мере, становится предметом новых дискуссий в обществе и среди элит. Подробное описание всех изменений в концепции политики памяти, которые имели место на протяжении постсоветских лет выходит за рамки данной работы, но, как нам кажется, учитывая активизацию дискуссий о советском прошлом после 2013 г. необходимо хотя бы вкратце коснуться этих дискуссий.

Итак, с определенной долей условности, можно сказать, что в на-

чале 1990-ых армянское общество нашло компромиссный взгляд на советское прошлое, который устраивал почти всех кроме радикалов с обеих сторон. В 1990-ые и 2000-ые дискуссии о советском прошлом в основном оставались на уровне бытовых разговоров и редко переходили в публичную сферу, влияя на официальную политику памяти. Хотя периодически эти дискуссии и выходили в политическое поле, как например, когда кандидатом в президенты стал бывший секретарь ЦК Армении Карен Демирчян, но о глобальном переосмыслении советского прошлого в рамках национального нарратива говорить не проходит. Как государственная политика памяти, так и доминирующая среди интеллектуальной элиты точка зрения в целом оставалась в рамках компромиссной модели, выработанной в начале 1990-ых.

2010-ые, в особенности период после 2013 г. отличается от предыдущих лет не только тем, что проблема отношения к советскому наследию вновь стала предметом активных дискуссий, но и тем, что наметились определенные изменения в официальной политике памяти, хотя, справедливости ради, как мы увидим далее, говорить о возникновении определенной новой концепции политики памяти не приходится. Скорее можно говорить о размывании существующей концепции политики памяти под влиянием изменившихся обстоятельств внутри и вне страны, и о различных инициативах, относящихся к этой сфере, как «сверху», со стороны власти, так и «снизу», со стороны различных общественных акторов. При этом, еще одна особенность, которая отличает дискуссии о советском наследию сквозь призму политики памяти после 2013 г. заключается в том, что эта проблематика оказалась связана с внешнеполитическими и геополитическими факторами, такими как отношения Армении с Западом и ЕС, участие Армении в различных интеграционных проектах, отношениями с Россией, и т.д..

Одним из первых эпизодов процесса ре-актуализации проблематики советского наследия, была общественная дискуссия, связанная с памятником советскому деятелю Анастасу Микояну. Фигура Микоя-

на достаточно интересна с точки зрения репрезентации советского прошлого, так как его место в истории оставляет широкий потенциал для различных интерпретаций, от крайне «антисоветской» до «про-советской». В зависимости от предпочтений участников дискуссии, Микоян может оцениваться либо как беспринципный и циничный карьерист, принимавший участие в репрессиях разных лет, и к тому же безразличный к национальным интересам Армении и армян, либо, наоборот, как предмет национальной гордости - не просто видный государственный деятель, а самый успешный армянин в СССР, человек, в определенные моменты своей карьеры решавший судьбы мира. Как бы то ни было, Микоян, бывший в начале 1920-ых ярым сторонником насильственной «советизации» Армении, никогда не считался одним из «национально ориентированных» большевиков. Тем не менее, то обстоятельство, что Микоян впоследствии стал одной из самых влиятельных фигур в советской элите, сделало его объектом гордости для многих армян. Поэтому, когда стало известно об инициативе потомков Микояна установить ему бюст в Ереване, мнения разделились. В итоге, муниципальный совет, с одним голосом против, дал разрешение на установку памятника, но власти решили не обострять ситуацию, и бюст так и не установили⁸⁴. Однако, сама дискуссия показала отсутствие консенсуса в вопросе об отношении к советскому прошлому в Армении: консенсусная модель, сформировавшаяся в начале 1990-ых больше не работает.

Похожая дискуссия имела места и в связи с памятником маршалу Амазаспу Бабаджаняну. С одной стороны, так же как и уже упомянутый Баграмян, Бабаджанян воспринимается прежде всего как герой Второй Мировой. Но критики инициативы указывали на его участие в подавлении советскими войсками венгерской революции 1956 года⁸⁵.

⁸⁴ Hayk Demoyan, “New Stalinist Cult in Armenia?”, Armenian Mirror Spectator, September 21, 2017, <https://mirrorspectator.com/2017/09/21/new-stalinist-cult-armenia/>

⁸⁵ Амазасп Бабаджанян и Гарегин Нжде, Кавказский Узел, блог «Ереванец», 1 июня, 2016, <http://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/275/posts/24848>

В итоге, память о Бабаджаняне как герое войны восторжествовала и памятник был поставлен⁸⁶. Возможно, с помощью памятника Бабаджаняну армянские власти стремились сгладить небольшой армяно-российский скандал, связанный с другим памятником - Гарегину Нджэ, одному из самых видных деятелей периода первой республики.

Гарегин Нджэ не только один из героев «первой республики», но и считается идейному вдохновителем правящей Республиканской Партии Армении. Деликатность ситуации с Нджэ заключается в том, что в годы Второй Мировой, он в определенный момент поддержал сотрудничество с нацистской Германией, в частности, создание «армянского легиона» из числа военнопленных армян. Правда, как уже было отмечено, в Армении считают, что Нджэ никогда не был сторонником нацизма, и его сотрудничество преследовало лишь цель спасти вызволить военнопленных армян из лагерей, а также ограждать армян на оккупированных территориях от возможных преследований (см. выше). Более того, сам Нджэ в 1945-ом году не воспользовался возможностью бежать на Запад, сдался советским войскам и предложил сотрудничество, правда, советская власть предложение не приняла, Нджэ был арестован и скончался в советской тюрьме.

В рамках данной статьи нашей целью не является оценка «настоящей» исторической роли Нджэ, в частности эпизода его сотрудничества с нацистской Германией. Нас интересует не реальная историческая фигура, а образ Нджэ в репрезентациях истории в контексте «советского» и «антисоветского». Какой бы ни была историческая реальность, установление памятника Нджэ, которого в российской прессе ставили в один ряд с такими «анти-героями» как Бандера и Власов, вызвало негативную реакцию официальной Москвы⁸⁷. Имен-

⁸⁶ В Ереване Открыт ПамятникАмазаспу Бабаджаняну, Аравот, 23 мая, 2016, <http://www.aravot-ru.am/2016/05/23/210759/>

⁸⁷ Как Бандера над Парижем: в бывшем СССР нацистские пособники все чаще превращаются в героев, Лента.ру, 21 июня, 2016, <https://lenta.ru/articles/2016/06/21/collaborationists/>, Памятник армянскому

но на фоне этих дискуссий, инициатива оппозиционного блока «Елк» по переименованию улиц и школ с «советскими именами» получила широкий резонанс, тем более, что тот же «Елк» через некоторое время выступил с предложением выйти из Евразийского Союза- среди них, например, улица имени большевика Саргиса Касьяна и Ленинградский проспект⁸⁸. Правда, депутаты от партий власти заблокировали инициативу по переименованию, скорее всего, чтобы не портить отношения с Москвой. Тем не менее, инициатива депутатов муниципального собрания не только вызвала бурные обсуждения в СМИ и социальных сетях, но и дошла до российских СМИ, где, была расценена как «анти-российская»⁸⁹. Как бы то ни было, партия власти заблокировала инициативу по переименованию. Стало ясно, что власти Армении вовсе не собираются участвовать в кампании «декоммунизации» и тем самым портить отношения с Москвой.

Таким образом, в политике памяти последних лет наблюдается некая тенденция балансирования между «про-советским» и «анти-советским», которое в рамках общественно-политического дискурса становится параллельным так называемой многовекторной внешней политике Армении. Еще более ярким свидетельством такой позиции стало закрытие выставки «Затмение» в доме-музее писателя Ованеса Туманяна⁹⁰. Выставка была посвящена красному террору и репрессиям, жертвой которых стали сыновья писателя. Сама выставка скорее всего прошла бы без эксцессов, если бы не неожиданное реше-

Власову, Сегодня.ру, 29 июня, 2016, <http://www.segodaya.ru/content/177206>, Россия Удивлена Установкой вч Ереване Памятника Причастного к Вермахту, <https://ria.ru/society/20160610/1445603585.html>

⁸⁸ «Елк» позиционируется как про-западная политическая сила, депутаты из этой фракции выступили в парламенте с инициативой о выходе Армении из ЕАЭС.

⁸⁹ «В Армении хотят поменять советские названия улиц и школ», Русарминфо.ру, 11 августа, 2017 <https://rusarminfo.ru/2017/08/11/v-armenii-xotyat-pomenyat-sovetskie-nazvaniya-ulic-i-shkol/>

90 «Eclipse», Yerevan Report, September 15, 2017 <https://www.evnreport.com/raw-unfiltered/eclipse>

ния Министерства Культуры о ее закрытии. Отвечая журналистам замминистра культуры Арев Самуэлян заявила, что выставка была «политизирована», вызвав недоуменные и возмущенные комментарии в социальных сетях – как может быть «не-политизированной» выставка о политических репрессиях⁹¹. Критики властей связывали это решение с желанием «выслужиться» перед российскими партнерами. Так, историк Айк Демоян связал закрытие выставки и историю вокруг несостоявшегося памятника Микояну с «ползучей ре-сталинизацией в России»⁹².

Все эти эпизоды показывают, что вопрос о том, как относиться к советскому наследию, который, казалось, был закрыт в 1990-ые, вновь актуален. Более того, налицо столкновение двух течений в армянской общественной жизни, которые можно условно назвать про-советским и антисоветским. При этом, с определенной долей упрощения можно сказать, что «про-советская» позиция соотносится с «про-российской» или «евразийской» точкой зрения, в то время как «антисоветская» – с «прозападной» или «европейской» позицией. Что касается власти, то создается впечатление, что она, не имея собственной концепции политики памяти, лавирует между двумя существующими позициями, одновременно стараясь не обидеть российских союзников.

Таким образом, хотя параметры компромисса в отношении советского прошлого меняются, сам принцип компромисса не меняется. В чем причина подобной эклектичности или компромиссности армянской модели? Дело в том, что историческое прошлое и современная геополитическая обстановка приводят к тому, что постсоветская Армения позиционирует себя как союзник России. В историческом контексте Россия предстает как единственный союзник и даже «спа-

⁹¹ Затмение Умов в Минкульте Армении, Регнум, 14 сентября, 2017, <https://regnum.ru/news/2322175.html>

⁹² Hayk Demoyan, op. cit.

ситель», в современном — как стратегический союзник, гарант безопасности. К этому добавляется и исторический опыт советской Армении, который в позитивном смысле контрастирует с предыдущим историческим периодом, который ассоциируется с геноцидом, страданиями и потерей территорий. Отсюда невозможность радикального «антисоветского» или «оккупационного» нарратива. В то же время, и безоговорочное принятие «про-советского» нарратива тоже невозможно, причем не только и не столько потому что, советское прошлое Армении было не таким уж безоблачным, ведь негативных эпизодов тоже немало - от сотрудничества с большевиками до неспособности или нежелания союзного центра остановить погромы армян в Азербайджане. Дело в том, что безоговорочное принятие “про-советской” концепции ставит под вопрос сам проект национального государства как таковой. Именно это противоречие заставило, например, белорусскую политическую элиту пойти по пути “мягкой белоруссизации”⁹³. Именно это и заставляет армянскую политическую элиту лавировать в своей политике памяти, и приводит к ее эклектичному или компромиссному характеру. Однако, в отличие от Белоруссии, в случае Армении есть еще один, возможно самый важный элемент исторического нарратива, который придает легитимность проекту национального государства: мы имеем в виду то роль, которую играет фактор Нагорного Карабаха.

⁹³ О «мягкой белоруссизации» см. Вадим Можейко. Что такое «мягкая белоруссизация», «Наше мнение», 3 апреля, 2018. <http://nmnby.eu/news/analytics/6584.html>

Карабахский Фактор как Основа Легитимности Национального Проекта постсоветской Армении

Как бы ни была важна для политики памяти в постсоветской Армении репрезентация событий советского периода, пожалуй, еще важнее то, как репрезентируются события периода распада СССР и создания независимой армянской государственности, т. е. период конца 1980-ых и начала 1990-ых. Ведь, несмотря на то, что в армянском национальном нарративе история армянской государственности берет начало в глубокой древности, очевидно, что именно в этот период сформировалась современная армянская государственность, и именно в событиях этого периода она черпает свою легитимность. Именно в силу этого обстоятельство, репрезентация событий 1988-1991 г. Играет ключевую роль в репрезентациях истории и политике памяти в постсоветской Армении.

Весьма интересно в этом отношении сравнение армянской модели репрезентации периода транзита от советского к постсоветскому с нарративами, доминирующими в других странах бывшего СССР и «социалистического лагеря». Даже поверхностное сравнение с примерами из постсоветского пространства и Центральной и Восточной Европы, помогает выявить специфику армянского кейса. В тех странах «социалистического лагеря» и бывших советских республиках, где в конце 1980-ых имели место массовые движения против советской системы, это события обычно трактуются в парадигме революции (Mark, 2010). Так, например, во многих странах Центральной и Восточной Европы «демократический транзит» репрезентуется в терминах революции. В некоторых случаях эти события так и входят в исторический нарратив именно под названием «революция», правда обычно к слову «революция» добавляется какой-либо эпитет, призванный продемонстрировать ненасильственный характер событий, как например «бархатная революция» в Чехословакии, или «Мирная революция» в Восточной Германии (особняком стоит Румы-

ния, где революция имела насильственный характер). Однако, даже и в тех случаях когда слово “революция” не используется, репрезентации событий 1989 г. складываются в нарратив о революции, т.е. о принципиальном изменении общественного строя в результате массового движения снизу.

Хотя события в Армении в 1988-1991 г. вполне подходят под определение революции, в вышеупомянутом смысле, т.е. слом общественно-политического строя в результате политической активности масс, термин “революция” практически не используется в постсоветской Армении по отношению к событиям 1988-1991 гг.. Так, представители высшей власти в Армении не использовали термин “революция” говоря о процессах, протекавших в стране в 1988-1991 (Zolyan et al. 2016, 63). Что касается научных кругов, то здесь практически единственный исследователь, обосновывающий необходимость использования термина “революция” по отношению к событиям того периода – антрополог Арутюн Марутян, который сравнивает события в Армении с аналогичными процессами в Центральной и Восточной Европе в те же году и приходит к выводу, что события 1988-1991 гг. в Армении следует считать “национально-демократической революция” и рассматривать в контексте общеевропейских процессов того периода (Marutyan, 2009). Из армянских политических деятелей, похожие идеи высказывали некоторые лидеры этого периода, впоследствии перешедшие в оппозицию, как, например Вазген Манукян, первый премьер независимой Армении и впоследствии лидер оппозиционного “Национально-Демократического Союза”. Так, в одном из своих интервью Манукян сетовал на то, что власть в Армении стремится искоренить память о движении 1988 г. как о массовом оппозиционном движении и противопоставлял эту позицию той политике, которая ведется в странах Центральной Европы, в частности в Польше, о которой говорилось в этом интервью ⁹⁴.

94 «Общенациональное движение не должно быть забыто», интервью с

Как бы то ни было, сходство процессов имевших место в Армении в конце 1980-ых, и того, что происходило в Центральной и Восточной Европе, очевидно, однако, есть и некоторые различия. Возможно, особенность армянской ситуации заключается в именно в многомерности процессов того периода. Так, с одной стороны, так же как и в странах Центральной и Восточной Европы, Армения в конце 1988-1991 гг. прошла через массовое народное движение, в целом мирный переход к демократии (хотя и не без отдельных эпизодов насилия с разных сторон), свободные выборы и смену политических элит. Однако, в то же время, так же как и некоторые постсоветские страны и страны бывшей Югославии, она также прошла через процесс борьбы за независимость с федеральным центром. Наконец, так же как и некоторые республики СССР и Югославии, Армения в эти годы оказалась вовлечена в этнополитический конфликт.

Все эти элементы, а также некоторые другие, присутствовали в том процессе массовой мобилизации с политическими целями, который в Армении называют Карабахским движением. В этом плане весьма характерно, что сейчас часто забывается, что немалую роль в Карабахском движении играла например и экологическая повестка, и первая попытка массовых демонстраций имела место в Ереване именно в 1987 г. и проходила под лозунгами защиты окружающей среды. Однако, в то же время, именно проблематика, связанная с судьбой Нагорного Карабаха была основной в движении, и все остальные элементы повестки были в той или иной мере обусловлены ею.

О карабахском движении написано достаточно много (Libaridian 1991; Libaridian 2007; Malkasian 1996; Marutyan 2009, Suny 1993.). Нашей целью не является подробное обсуждение истории карабахского движения, нас здесь интересует, то какое место занимает карабахское движение в репрезентациях прошлого постсоветской Арме-

Вазгеном Манукяном, Айкакан Жаманак, 6 сентября, 2005. [на армянском языке]

нии, в национальном историческом нарративе, который сформировался в процессе обретения независимости. Как это часто бывает, карабахское движение сочетало различные повестки и существовали самые различные варианты его восприятия среди его участников. Аналогичным образом, и сформировавшийся впоследствии нарратив о Карабахском движении сочетал различные элементы. Для многих, возможно даже для большинства участников движения его основной сутью была борьба за воссоединение Армении и Нагорного Карабаха. Для других, наряду с собственно карабахской повесткой, не менее, а то и более важной целью было обретение Арменией независимости. Наконец, для некоторых участников движения его основной сутью была борьба с тоталитарной советской системой во имя демократических преобразований. Кроме того, для многих участников движения указанные цели воспринимались как взаимосвязанные. Более того, вероятно, многие участники движения не имели четкого представления о его целях и программах или даже не в полной мере разделяли их, но были увлечены всеобщим подъемом.

Кроме того, карабахское движение надо рассматривать в динамике. Так, на первых этапах прослеживалась попытка вписать повестку движение в дискурс Перестройки, отсюда присутствие в первые дни митингов таких лозунгов как “Ленин, Партия, Горбачев”, ссылки на “ленинский принцип самоопределения”, заявления о поддержке горбачевской перестройки и т.д.. По мере того, как разворачивается конфликт с Азербайджаном, а союзный центр не оправдывает возлагавшихся на него надежд, повестка движения трансформируется и оно начинает ставить вопрос о независимости Армении и о демонтаже советского строя. Возможно, именно в силу этой разноплановости карабахского движения, его репрезентации в армянском историческом нарративе выступают в трех проекциях: в контексте проблемы Нагорного Карабаха как таковой, в контексте борьбы за восстановление независимости Армении, и в контексте борьбы за свободу и демократию против тоталитарного режима

Одна из этих проекций связана в карабахской проблемой: Карабахское движение это борьба за армянский Карабах, то есть за восстановление исторической справедливости и за физическое выживание армян Карабаха. В этом аспекте карабахское движение выступает в связке с войной в Нагорном Карабахе. Карабахское движение, в этой версии, это как бы первая фаза справедливой освободительной войны в Нагорном Карабахе, результат которой – освобождение Нагорного Карабаха, его де-факто интеграция с Арменией. Именно, освобождение Нагорного Карабаха, это наиболее важный элемент постсоветского исторического нарратива, краеугольный камень, на котором зиждется легитимность армянской постсоветской государственности в целом, т.е. “третьей республики”, как таковой, а так же легитимность современной политической системы, и места в нем политической элиты.

Итак, хотя Карабахское Движение это одновременно и борьба за независимость Армении, и борьба за свободу и демократию, оба эти элемента нарратива меркнут в сравнении с той ролью, которую в национальном нарративе играет победа в карабахской войне. Казалось бы, борьба за независимость Армении должна быть как минимум таким же важным элементом нарратива, как борьба за Карабах. Однако, здесь есть определенная специфика. Во-первых, независимость в результате распада СССР получили не только Армения, но и все республики СССР, в том числе и те, где движения за независимость не было или оно было значительно слабее. К тому же, достижения периода независимости, в особенности в социально-экономической сфере, не так однозначны, как достижения в борьбе за Карабах: как минимум, они остаются предметом споров и различной интерпретаций. Кроме того, те деятели, которые стояли у руля в момент приобретения независимости, оказались в результате дальнейших исторических процессов, в основном выброшены за рамки политической элиты, уступив свое место тем лидерам, чей “звездный час” был связан с войной в Нагорном Карабахе. Наконец, стратегический союз с

Россией, который начал оформляться еще в 1990-ые гг. и впоследствии укреплялся, трансформируясь в участие Армении в процессах евразийской интеграции, привел к тому, что с точки зрения политики памяти для армянской политической элиты было не так уж выгодно акцентировать внимание на борьбе за независимость, в особенности, по мере того, как в самой России в позитивную сторону менялось отношение к СССР и в негативную - оценка его распада.

Похожим образом и аспект борьбы за демократию в событиях 1988-1991 также постепенно атрофируется в политике памяти, становясь жертвой политической конъюнктуры и интересов политических элит. Пока в 1990-ые гг. Армения позиционировала себя как “островок демократии” на Южном Кавказе, эти элементы репрезентации играли определенную роль, но после событий середины 1990-ых, когда в Армении все более ярко стали проявляться авторитарные тенденции, концепция “островка демократии” во все большей степени стала отодвигаться на второй план.

Правда, «демократическая» интерпретация событий 1989-1991 гг. в целом и карабахского движения в частности оказалась подхвачена армянской оппозицией, для которой протесты 1988 г. стали своего рода “героическим веком”, к которому оппозиция апеллировала в процессе мобилизации своих сторонников. Пожалуй, самым ярким примером использования памяти о движениях 1988 г. оппозицией для мобилизации сторонников, стали события февраля 2008. Это было тем более естественным, что лидером протестов был не кто иной, как бывший президент, вернувшийся в качестве лидера оппозиции Левон Тер-Петросян (О символических связях событий 1988 и 2008 гг. и их использовании в армянском политическом поле см. Abrahamyan and Shagoyan, 2012). Однако, в конечном итоге протесты закончились поражением оппозиции, и нарратив о карабахском движении как борьбе за демократию так и остался прерогативой контр-элит, в то время как в официальном дискурсе окончательно победила “национально-освободительная” интерпретация событий

конца 1980-ых – начала 1990-ых гг.

Так или иначе, именно Карабахское движение стало основным источником легитимации постсоветской государственности и постсоветских элит (и контр-элит) Армении. При этом существовала определенная разница в том, какие аспекты Карабахского Движения подчеркивались. В первый период, в 1990-ые гг. в центре внимания были не только аспект победы в Нагорном Карабахе, но и такие аспекты движения как борьба за независимость и демократию. Постепенно, эти аспекты в меньшей степени акцентируются, уступая место большей акцентуации победы в Карабахском конфликте.

Таким образом, значение Нагорного Карабаха в армянской политике трудно переоценить. Карабахское движение, начавшееся в 1988-ом году, стало началом независимой государственности Армении, а сама эта государственность закалялась в условиях войны с Азербайджаном. Победа в этой войне, благодаря которой Нагорный Карабах приобрел де факто независимость, в армянском политическом сознании неотделима от армянской государственности. В силу этих обстоятельств, карабахская тематика до последнего времени играла в Армении ключевую роль в деле легитимации власти. Костяк политической элиты Армении долгое время составляли люди, пришедшие к власти на волне карабахского движения и победы в карабахской войне. За годы перемирия политическая элита обуславливала необходимость своего пребывания у власти необходимостью поддержания существующего статус кво вокруг Нагорного Карабаха: внутривнутриполитические пертурбации считались опасными, так как они могли бы сыграть на руку Азербайджану, который не скрывает своих намерений силой изменить статус кво. Более того, имплицитно этот аргумент принимала и армянская оппозиция, которая в отличие, скажем, от украинских революционеров, всегда избегала открытой конфронтации с властями с использованием насилия. Образно говоря, если в ряде других постсоветских странах, в частности в Центральной Азии и Азербайджане, “социальный контракт” между властью и обществом подразумевал

схему “благосостояние в обмен на отказ от политических свобод”, то в Армении этот контракт выглядел несколько иначе: властям готовы были простить и экономические неудачи, и коррупцию, и электоральные манипуляции, пока власти обеспечивали сохранение статус кво и относительную безопасность в Нагорном Карабахе.

Эта модель легитимности подверглась серьезному испытанию в ходе событий 2016 г. Апрельская “четырёхдневная война” и последовавшие за ней события поставили под сомнение этот важнейший элемент армянской политической системы. Во-первых, апрельские события выявили определенные проблемы в вооруженных силах: отставка нескольких высокопоставленных военных чиновников отвечавших за такие сферы как снабжение, разведку и коммуникации, подтвердили опасения общественности о том, что в вооруженных силах есть определенные проблемы⁹⁵. Кроме того, после апрельских событий активизировался переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха, что вызвало к жизни разговоры о возможных уступках с армянской стороны. Считается, что в свое время Роберт Кочарян и Серж Саргсян пришли к власти разыграв карабахскую карту, а Левон Тер-Петросян потерял власть именно по той причине, что его позиция по Карабаху оказалась слишком мягкой. Правда, будучи президентом, Серж Саргсян не раз высказывался в том смысле, что необходим компромисс, однако одновременно власть давала понять, что идти на односторонние уступки не намерена. Поэтому, когда после апрельских событий в различных армянских и международных СМИ стала появляться информация о якобы готовящемся выводе армянских сил из некоторых районов так называемой “зоны безопасности” вокруг Нагорного Карабаха, это стало бомбой замедленного действия для правящей элиты. Если раньше карабахская тематика была для

⁹⁵ Президент Армении отправил в отставку ряд высокопоставленных военных. РЕН-Тиви, 26 апреля 2017, <http://ren.tv/novosti/2016-04-26/prezident-armenii-otpravil-v-otstavku-ryad-vysokopostavlennyh-voennyh>

властей инструментом консолидации общества и нейтрализации оппонентов, то теперь ситуация стала прямо противоположной. Готовность к односторонним уступкам в карабахском вопросе была одним из обвинений, которые оппозиционеры, в том числе “сасунские храбрецы” и их сторонники, среди которых были ветераны карабахской войны, предъявляют властям⁹⁶. Учитывая секретность переговоров вокруг Нагорного Карабаха, трудно сказать, в какой степени соответствовали действительности слухи о возможных уступках. Во всяком случае в период, последовавший за акцией “храбрецов” интенсивность как переговоров, так и слухов об уступках сошла на нет.

Тем не менее, в конечном итоге, все это привело к тому, что официальный нарратив, в котором Карабахский фактор играл роль легитимации существующей политической системы, сохранился, хотя и пережил определенную трансформацию. Более того, в конечном итоге апрельские события показали, что возможность возобновления военных действий в Нагорном Карабахе — не пропагандистская выдумка властей а вполне реалистичная перспектива. Поэтому, с точки зрения некоторых оппозиционных сил, существующая власть, даже со всеми ее недостатками – была единственной силой, способной организовать страну и управлять Арменией в случае возобновления войны. Значит, следовало отложить разногласия и объединиться вокруг правительства.

Бывший президент Левон Тер-Петросян несколько раз публично высказал эту мысль, равно как и другие члены оппозиции⁹⁷. Подобные заявления повлияли на поведение представителей оппозиции. Ес-

⁹⁶ De Waal, Tom. 2016. *Armenia's Crisis and the Legacy of Victory*. August 3. Accessed August 14, 2017. <https://www.opendemocracy.net/od-russia/thomas-de-waal/armenia-s-crisis-and-legacy-of-victory>.

⁹⁷ Armenianow.com. 2016. *Sargsyan, Ter-Petrosyan Meet: Third, First Armenian Presidents Confer on Karabakh*. April 11. Accessed August 14, 2017. https://www.armenianow.com/en/karabakh/2016/04/11/armenia_presidents_ter-petrosyan_sargsyan_meeting_karabakh/581/.

ли прежде армянские оппозиционные лидеры традиционно представляли правительство как «незаконное», «олигархическое», «клептократическое», или даже «татаро-монгольское», то их риторика значительно смягчилась вследствие апрельской войны. Даже во время избирательной кампании в преддверии парламентских выборов 2017 года большинство оппозиционных партий воздерживались от подобных нападок на правительство. Более того, после объявления официальных результатов выборов крупнейший оппозиционный блок «Елк» («Выход») не призывал к протестам, но и признал их результаты, что являлось беспрецедентным случаем для армянской политики⁹⁸. Таким образом карабахский нарратив продолжает выполнять свою функцию. Как власть так и оппозиция, в том числе настолько радикальная, как группа Сасна Црер продолжают оставаться в рамках этого нарратива, что еще раз подтверждает его жизнеспособность.

Список Литературы

1. Айоц Патмутюн . Новое Время, 8-ой класс, под редакцией. В. Бархударяна, Ереван, Макмиллан Армения, 2007, (на армянском языке)
2. Айоц Патмутюн, под редакцией В. Бархударяна, Ереван, Макмиллан Армения, 2008, (на армянском языке).
3. Айоц Патмутюн, 9 класс, под редакцией В. Бархударяна, Ереван, Макмиллан Армения, 2008, (на армянском языке)
4. Вагаршян, А. Декларация независимости Армении и законодательная реализация стратегий демократического, правового общества в 1990-1991 гг., «Вестник Ереванского Университета», 2015 № 3 (18), (на армянском языке)
5. Словарь Населенных Пунктов Армении, Ереван, 2008, (на армянском языке).
6. Степанян, А. Назарян, А. Сафрастян, Р. Всемирная История: Новейший Период, 9 класс, Ереван, “Зангак”, 2014, (на армянском языке)

⁹⁸ Блок «Елк» признает предварительные результаты выборов, 4 апреля, 2017, <http://www.aravot-ru.am/2017/04/04/238904/>

7. Степанян, А. Назарян, А. Сафрастян, Р., Всемирная История: Новейший Период, 9 класс, Ереван, “Зангак-97”, 2008, (на армянском языке)

8. Тер-Петросян, Л. Выступления на Пятом Конгрессе Армянского Общественно-национального Движения, в кн. Л. Тер-Петросян, Избранное: Речи, Статьи, Интервью, [на армянском языке] Ереван, 2006.

9. Abrahamyan L. and Shagoyan G., From Carnival Civil Society toward Real Civil Society: Democracy Trends in Post-Soviet Armenia // *Anthropology and Archeology of Eurasia*, vol. 50, no. 3 (Winter 2011-2012), 2012.

10. Dienstag, J.F. ‘ “The Pozsgay Affair”’: Historical Memory and Political Legitimacy, *History and Memory*, 8, 1 (1996), 51-66.

11. Robert Hewsen, *Armenia: Historical Atlas*, University of Chicago Press, 2001.

12. Libaridian, G., (ed.) *Armenia at the Crossroads: Democracy and Nationhood in the Post-Soviet Era*. Blue Crane Books, Watertown, 1991;

13. Libaridian, G., (2007) *Modern Armenia: People, Nation, State*, Transaction Publishers. New Brunswick and London.

14. Malkasian, M., *Gha-Ra-Bagh!: The Emergence of the National Democratic Movement in Armenia*. Wayne State University Press, Detroit, 1996;

15. Mark, J. *The Unfinished Revolution: Making Sense of the Communist Past in Central-Eastern Europe*, New Haven and London, Yale University Press, 2010.

16. Marutyan, H. *Iconography of Armenian Identity*, vol. 1, the Memory of Genocide and the Karabakh. Yerevan: Publishing House of the Academy of Sciences, 2009.

17. Mueller, J-W, “Introduction: the Power of Memory, the Memory of Power and the Power over Memory”; J-W. Mueller (ed.). *Memory and Power in Post-War Europe: Studies in the Presence of the Past*, Cambridge University Press, 2002.

18. Smok, V. “Belarusian Identity: the Impact of Lukashenka’s Rule”, Analytical Paper, Ostrogorski Centre, Minsk-London, December 2013.

19. Suny R. *Looking Toward Ararat: Armenia in Modern History*. Indiana University Press. Bloomington and Indianapolis, 1993.

20. Zolyan M., Mkrtchyan S., Hovhannisyan H., *A New Beginning: State-building and Representation of the Events of 1988-1991 in the Political Discourse of the Republic of Armenia*, Yerevan, Regional Studies Center, 2016.

«КАК НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛОВОМ»: ПРЕЗИДЕНТЫ США О ГЕНОЦИДЕ АРМЯН

С. Т. ЗОЛЯН

Билл Клинтон и Джордж Буш о геноциде армян

Относящиеся к Геноциду дискурсы можно разделить на три типа:

1. дискурсы, признающие геноцид;
2. дениалистские дискурсы, отрицающие либо сам факт преступлений, либо отрицающие правомерность использования термина «геноцид». Но можно выделить еще один тип:

3. дискурс, который мы предлагаем назвать «уклонистским» или же «маневрирующим». Он и является объектом данного исследования. В последнем случае события описываются посредством многозначных языковых выражений, которые допускают различную интерпретацию, удовлетворяющую ожиданиям различных адресатов. В нем ничего не отрицается, но вместе с тем и ничего не утверждается. Вместе с тем, основная цель этого дискурса – прямо не отрицая факт геноцида, тем не менее *уклониться* от его признания. Однако наибольшее развитие этот тип получил в американском официальном дискурсе об Армянском геноциде. Этот дискурс возникает начиная с 80-х годов прошлого века, а начиная со времени президентства Билла Клинтона он становится традиционным – в канун 24 апреля президент США обязательно выступает с соответствующим заявлением.

Для понимания содержания подобных заявлений требуется учитывать, что президенты США вынуждены балансировать между двумя приоритетами – верностью собственной истории и союзническими отношениями с Турцией, в результате чего возникает присудливая комбинация не-отрицания и не-признания. С одной стороны, современные руководители США не могут игнорировать позицию своих предшественников и заявлять нечто идущее вразрез с официальными до-

кументами властей США. Политическое руководство США и американское общество с самого начала событий 1915 года обладали информацией о происходящем в период первой мировой войны в Турции. Депеши послов и консулов США – одно из важнейших свидетельств происходивших в то время преступлений, в них говорится о государственной программе полного уничтожения мирного армянского населения. Хорошо известна позиция президента Вудро Вильсона и Конгресса США, осуждавших эти преступления и требовавших компенсации для их жертв и наказания для их организаторов. Бывший президент Теодор Рузвельт даже требовал объявить войну Турции как единственно достойный США ответ на подобные злодеяния. Впоследствии эмигрировавший из Польши в США и работавший там как эксперт на Нюрнбергском процессе и член американской делегации в ООН Рафаел Лемкин для характеристики этих преступлений введет термин «геноцид», который и лег в основу соответствующей Конвенции ООН.

Однако в период «холодной войны» вследствие внешнеполитических приоритетов США тема Армянского геноцида официально не озвучивалась – вплоть до восьмидесятых годов, когда к ней ввиду возросшего давления со стороны армянской общины к ней периодически обращаются Дж. Картер, Р. Рейган и Дж. Буш-старший. Рональд Рейган даже называет происшедшее «Геноцидом» (1981 год), но без каких-либо политических или юридических последствий (тем более, что произнесено это было хотя и 22 апреля, но в связи нацистским геноцидом евреев) (подробнее см. в : Золян 2015).

После распада СССР ввиду происшедших коренных изменений и усиления позиций армянской общины начиная с Билла Клинтона (1994), обращение к теме Армянского геноцида стало традиционным обращением Президента США и получило название День Поминовения Армян (букв. Армянский день поминовения - The Armenian Remembrance Day). Все восемь Заявлений Клинтона (1994 – 2002) имеют единую структуру и могут быть рассмотрены как незначитель-

ные вариации одного и того же текста-инварианта (приводим лишь по по одному образцу):

1. ОПИСАНИЕ СОВЕРШАЕМОГО РЕЧЕВОГО АКТА
(Commemoration);

On this solemn day, I join Armenians from around the world in remembering the victims of the 1915 massacres in the Ottoman Empire. The effects of that tragedy have profoundly touched all of us, and together we mourn the terrible loss of so many innocent lives. (1994)

2. ОПИСАНИЕ УПОМИНАЕМОГО ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ
(СОБЫТИЯ 1915 г.)

the deportations and massacres of a million and a half Armenians in the Ottoman Empire in the years 1915-1923. (1998)

3. ВКЛАД АРМЯН И АРМЕНИИ

Yet even in the face of this devastating event, the rich and vibrant Armenian culture has continued to thrive. Demonstrating remarkable resilience and courage, Armenian Americans have made enormous contributions to our development and success as a country. (1994)

4. СВЯЗАННОЕ С АРМЕНИЕЙ ГЛАВНОЕ ТЕКУЩЕЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Now, with the creation of a new and independent Armenia under President Ter-Petrosyan's leadership, the Armenian people are bringing the same determination to creating a democracy and a modern economy in their native land (1994)

5. ПОЗИЦИЯ США, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЕЩАНИЯ

The United States fully supports the efforts of Armenia and its neighbors to make lasting peace with one another and to begin an era of security and cooperation in the Caucasus region. We encourage any and all dialogue between citizens of the region that hastens reconciliation and understanding. (2000)

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ПОЖЕЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА, СООТНЕСЕНИЕ ГЛАВНЫХ ТЕМ И ИХ ОБОБЩЕНИЕ)

To preserve the historic establishment of a free Armenia, we must redouble our commitment to peace and stability in the Caucasus region. It is in this spirit of peace that I extend to all Armenians my best wishes as we solemnly observe Remembrance Day. (1997)

Созданная Б. Клинтоном структура текста и даже лексикон в дальнейшем были использованы Дж.Бушем–младшим, который, как и его предшественник, был избран на два срока и также и выступил с восемью текстами, хотя он был несколько многословнее (2694 словоупотреблений против 1812 у Клинтона). Приведем сопоставительную таблицу словоупотреблений слов, которые встречаются у обоих президентов с частотностью около 0,3%. Как видим, основной словарь почти одинаков, а отличия относятся к незначительному различию в частоте употребления синонимичных выражений :

СЛОВО	CLINTON			BUSH		
	Порядковый номер	Количество слов	Частотность %	Порядковый номер	Количество словоупотреблений	Частотность %
We	1.	23	1.263%	1.	44	1.629%
Armenia	1.	23	1.2630%	2.	42	1.5550%
Armenian	3	22	1.2081%	8	19	0.7034
Their	4	19	1.0434%	8	19	0.7034
I	5	18	0.9885%	5	26	0.9626
All	6	15	0.8237%	14	10	0.3702
Armenian	7	14	0.7688%	3	36	1.3328%
World	8	13	0.7139%	9	18	0.6664
People	9	11	0.6041%	6	25	0.9256
freedom	9	11	0.6041%	13	11	0.4073
Peace	10	10	0.5491%	12.	12	0.4443
Massacres	11	9	0.4942%	23	1	0.0370
Spirit	11	9	0.4942%	14	10	0.3702

Day	12.	8	0.4393%	11	13	0.4813%
Extend	12	8	0.4393%	22	2	0.0740
Independ	12	8	0.4393	22	2	0.0740
Lasting	12	8	0.4393	19	5	0.1851%
Million	12	8	0.4393	17	7	0.2592
Our	12	8	0.4393	4	28	1.0367%
Region	12	8	0.4393	23	1	0.0370
Years	12	8	0.4393	23	3	0.1111%
Building	13	7	0.3844%	23	1	0.0370
Caucasus	13	7	0.3844%	21	3	0.1111%
Contributi	13	7	0.3844%	19	5	0.1851%
Efforts	13	7	0.3844%	17	7	0.2592
Ottoman Empire	13	7	0.3844%	15	9	0.3332 %
Join	13	7	0.3844%	17	7	0.2592
My	13	7	0.3844%	18	6	0.2221%
Prosperity	13	7	0.3844%	19	5	0.1851%
Today	13	7	0.3844%	13.	11	0.4073
United	13	7	0.3844%	7	20	0.7405
Armenian -	14	6	0.3295%	23	1	0.0370 %
Century	14	6	0.3295%	16.	8	0.2962
Died	14	6	0.3295%	-	0	0
Free	14	6	0.3295%	19	5	0.1851%

Единственное нововведение, которое было внесено Бушем-младшим, это – отсылка к армянскому дискурсу. Дважды он употребляет следующую характеристику:

Many Armenians refer to these appalling events as the "great calamity",

что является переводом труднопереводимого в силу его многозначности армянского наименования событий 1915 года «Մեծ եղբուն»

(Mets/Meds eger), аналога еврейского «Шоа». (эта тема станет ключевой у Барака Обамы – см. далее).

Как видим, семантика официального дискурса американских президентов основывается, с одной стороны, на соблюдении преемственности подхода США 20-х годов к событиям 1915 г., а с другой, исходя из современных внешнеполитических реалий, избегания термина «геноцид». Вместо этого используются описательные обороты: *mass killings*, *massacres*, *crime against humanity*, *great calamity*. При этом в тексте не упоминаются агенты действия, говорится о жертвах и о преступлениях, но без указания на преступников), Поскольку подобные обращения Президента не имеют обязательной силы и не влекут каких-либо последствий, такое явление может быть объяснено как проявление архаичного табу.

«Я СЛОВО ПОЗАБЫЛ, ЧТО Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ» - БАРАК ОБАМА И МЕДС ЕГЕРН

С. ЗОЛЯН

«...Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернется»
Осип Мандельштам

Между поэтикой и политикой

Поэтов и политиков принято противопоставлять -- первые созданы «не для житейского волнения», вторые же -- «малодушно погружены в заботы суетного света». Между тем, предназначение и поэзии, и политики -- это не описание мира, а его конструирование. И те, и другие -- мифотворцы, и различаются не столько сами произведения, сколько их функция и предназначение. Как известно, Платон назвал поэтов лжецами и «подражателями призракам» и предложил изгнать их из государства. Впрочем, он сделал примечательную оговорку: некоторые «лживые» тексты тем не менее можно разрешить, если они служат некой «правильной» цели. Поэтов следует изгнать не за то, что они «лжецы», а потому, что их «мифы» расходятся с «разрешенными».

Мнение о том, что политики -- лгуны, хотя и может быть доказано многочисленными фактами, тем не менее «лживость» не может рассматриваться как важнейшая семантическая характеристика политического дискурса. Подобный подход упрощает дело: тогда бы политикам просто никто не верил и тем самым их дискурс был бы обречен на коммуникативную и политическую неудачу. Несмотря на кажущуюся простоту, в политическом дискурсе вырабатываются достаточно изощренные приемы, позволяющие путем текстовых операций описывать желаемое или требуемое как действительное, совместить

прескрипцию и дескрипцию. Безусловно, описанное Оруэллом «двоемыслие», способность «говорить заведомую ложь и одновременно в нее верить, [...] отрицать существование объективной действительности и учитывать действительность, которую отрицаешь...» (Оруэлл 1989, с. 148), — одно из проявлений маскируемой многозначности, или, точнее, семантической многогранности политического дискурса, когда текст допускает одновременно несколько интерпретаций и тем самым может быть одновременно и соответствующим действительности (истинным), и не соответствующим (ложным). Так, между поэтическим и политическим дискурсом устанавливается сходство второго порядка — когда используются те же приемы, та же семантическая техника, но и в этом случае прагматический эффект оказывается принципиально отличным.

Примеров вышеописанного множество, мы же сконцентрируемся на одном примере — на приводимом в Приложении заявлении президента США Барака Обамы от 23 апреля 2015 года, посвященном 100-летию геноцида армян (Обама использует термин *Meds Egerp*, о котором будет сказано ниже). Дискурс Обамы об армянском геноциде, помимо буквального смысла, содержит и ряд имплицитных смысловых структур, которые основаны на комбинации таких поэтических приемов, как интертекстуальность и метонимия. Последнюю можно скорее определить как метонимическую ошибку-обмолвку — прием, известный в поэзии, в частности, в поэтике Осипа Мандельштама⁹⁹. Так, когда мы читаем:

«Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена,—
Не Елена — другая — как долго она вышивала?»

⁹⁹ «Принцип метонимичности заключается в замещении предполагаемого по контексту объекта некоторым другим, но так, чтобы в процессе восприятия сообщения замещенный объект мог бы быть восстановлен»: М. Лотман 2012. С. 40). Этот принцип «одно вместо другого» может принимать форму обмолвки или ошибки. Напр.: «Часто пишется казнь, а читается правильно: песнь» (Там же. С. 42--43).

то «правильное» имя Пенелопа реконструируется на основе лежащего в основе интертекста («подтекста») Сам поэт указывает на свою «ошибку»: «не Елена – другая», имя которой поэт «не помнит». Благодаря этому возникает многоликий образ героинь греческого эпоса – будучи упомянутым, пусть и в отрицательной форме, имя Елена вводит и эту героиню. Так возникает соотнесенность между Еленой и Пенелопой. Но в том же стихотворении есть другая «ошибка»: в гомеровский эпос переносится миф о золотом руне, где Ясон заменяется Одиссеем, но Колхида преобразуется в Тавриду (соответственно, «хозяйка» ассоциируется уже и с Медеей).

Тем самым возникает причудливая многослойная композиция различных референтных и интертекстуальных связей, Крым преобразуется в Тавриду и в то же время Итаку и Колхиду, а хозяйка (Вера Судейкина) преобразуется в героиню мифов. Первая, подчеркнута биографическая, «бытовая» строфа ретроспективно получает «эллинскую» реинтерпретацию. Подобная двуплановость и метонимические обмолвки позволяют произвести и противоположное путешествие: от греческой мифологии к биографическим реалиям (так, Пенелопа пряла, тогда как вышивала «хозяйка», Вера Судейкина)¹⁰⁰. Похожие приемы можно обнаружить и в анализируемом ниже заявлении Барака Обамы. Однако его анализ потребует рассмотреть все предыдущие обращения Обамы.

Сенатор Обама о геноциде армян

В отличие от его предшественников, ситуация Барака Обамы оказалась осложнена тем, что, будучи сенатором, он был активным сторонником признания Геноцида 1915 года и критиковал республиканскую администрацию за принятую ею практику табуирования это-

¹⁰⁰ Подробнее см. в : Казарин и др. 2012,

го термина. Так, он публично выразил свой протест тогдашнему государственному секретарю США Кондолизе Райс в связи с увольнением посла США в Армении Джона Эванса, поскольку тот, будучи в США и встречаясь с представителями армянской диаспоры осмелился произнести слово «геноцид» (письмо от 26 июля 2006 г)¹⁰¹. Сенатор-демократ Обама крайне резко реагирует на тот факт, что республиканская администрация позволяет себе увольнять служащих только за то, что те осмеливаются называть вещи своими именами:

“I believe that the controversy over Ambassador Evans’ use of term “genocide” underscores the fact that the current US position is untenable. That the invocation of a historical fact by a State Department employee could constitute an act of insubordination is deeply troubling. When State Department instructions are such that an ambassador must engage in strain reasoning – or even an outright falsehood – that defies a common sense interpretation of events in order to follow orders, then it is time to revisit the State Department’s policy guidance on this issue”.

Точка зрения сенатора Обамы выражена четко и ясно:

The occurrence of the Armenian genocide in 1915 is not an allegation”, a personal opinion” or a “point of view”. Supported of the overwhelming amount of the historical evidence, it is a widely documented fact. («Геноцид армян в 1915 году – это не “голословное обвинение”, “личное мнение” или “точка зрения”. Это – подтверждаемый огромным количеством исторических свидетельств надежно документированный факт»).

В поддержку подобной позиции приводит ряд аргументов, которые Кондолиза Райс никак не могла бы оспорить, поскольку все они официально признаны самими США (к этой теме мы еще вернемся – при обращении к Заявлению президента Обамы от 2015 г.).

Об этом эпизоде сенатор Обама напомнит через два года, буду-

¹⁰¹ https://anca.org/change/docs/Obama_Armenian_Genocide.pdf

чи уже кандидатом в президенты. В своем послании армянской общине США он, среди прочих вопросов, наибольшее место уделяет проблеме геноцида как угрозе человечеству и необходимости честно и решительно реагировать на подобные факты: «Будучи сенатором, я решительно поддерживаю принятие резолюции о геноциде армян, а как президент, я признаю геноцид армян [...] Америка достойна лидера, который правдиво говорит о геноциде армян и решительно реагирует на все геноциды. Я намерен быть именно таким президентом»¹⁰²:

*I also share with Armenian Americans – so many of whom are descended from genocide survivors – a principled commitment to commemorating and ending genocide. That starts with acknowledging the tragic instances of genocide in world history. As a U.S. Senator, I have stood with the Armenian American community in calling for Turkey's acknowledgement of the Armenian Genocide. Two years ago, I criticized the Secretary of State for the firing of U.S. Ambassador to Armenia, John Evans, after he properly used the term "genocide" to describe Turkey's slaughter of thousands of Armenians starting in 1915. I shared with Secretary Rice **my firmly held conviction that the Armenian Genocide is not an allegation, a personal opinion, or a point of view, but rather a widely documented fact supported by an overwhelming body of historical evidence. The facts are undeniable.** An official policy that calls on diplomats to distort the historical facts is an untenable policy. As a senator, I strongly support passage of the Armenian Genocide Resolution (H.Res.106 and S.Res.106), and **as President I will recognize the Armenian Genocide.***

Genocide, sadly, persists to this day, and threatens our common security and common humanity. Tragically, we are witnessing in Sudan

¹⁰² Barack Obama on the Importance of US-Armenia Relations [Obama' 08 Campaign Statement]: January 19, 2008 (http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.413/current_category.4/affirmation_detail.html).

*many of the same brutal tactics - displacement, starvation, and mass slaughter - that were used by the Ottoman authorities against defenseless Armenians back in 1915... **America deserves a leader who speaks truthfully about the Armenian Genocide and responds forcefully to all genocides. I intend to be that President.** (подчеркнуто нами – С.З.)*

Президент Обама о геноциде армян Президент Обама о геноциде армян

В нашу задачу не входит политический анализ внешне- и внутр-иполитических причин позиции Обамы по интересующему нас вопросу в годы его президентства. Ограничимся лишь констатацией: традиция табуирования слова «геноцид» оказалась сильнее предвыборных обещаний. Обама не нарушает их – и даже от них не отказывается. Он уклоняется от их выполнения. Это приводит к тому, что Обама видоизменяет дискурс своих предшественников. Сохраняя формальную структуру основанного на канонах традиционной риторики дискурса Клинтона, Обама создает амбивалентный текст. Это дает возможность Бараку Обаме -- не произнося слово «геноцид» -- считать, что он не отказывается от своих взглядов. Этот новый дискурс по поводу проблемы геноцида армян все более сближает политические тексты с художественными. Попробуем наметить основные точки такого сближения.

а) Текст обращен к различным адресатам, каждый из которых может по-разному интерпретировать его в соответствии со своими ожиданиями, создавая различные интертекстуальные структуры. Можно выделить три основных адресата: (1) армянская община США, настаивающая на признании геноцида; (2) все, кто избегает признания геноцида, но и не отрицает его как исторический факт

(США, часть международной общественности); (3) Турция, которую имплицитно предупреждают о возможности признания геноцида. Обращения допускают различные интерпретации, которые могут противоречить друг другу, но тем не менее быть совместимыми с исходным текстом.

б) Амбивалентным оказывается и образ говорящего (I/We), постоянно происходят переходы между позициями «Обама-президент» и «Обама-личность».

в) Подобная раздвоенность говорящего позволяет Обама, с одной стороны, декларировать верность собственным взглядам, но не уточнять, что именно понимать под ними.. Всякий раз Обама воспроизводит одно и то же выражение:

I have consistently stated my own view of what occurred in 1915.
(2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014)

(«Я последовательно подтверждаю мой взгляд на то, что произошло в 1915 году»)¹⁰³. И если, произнесенное впервые, оно отсылало к предыдущим высказываниям сенатора Обамы от 2008 года, то впоследствии оно должно восприниматься как отсылка к предшествующему ему заявлению президента Обамы, где подобная определенность отсутствует. Это позволяет Обама избежать прямых номинаций, место которых занимают интертекстуальные отсылки. Всякий раз он заявляет о верности своим взглядам и в то же время прямо не соблюдает своих обещаний- в полном соответствии с описанным Дж. Оруэллом приемом «двоемыслия» (doublethink).

г) Ситуация описывается косвенными и многозначными лингвистическими средствами; описание заменяется общими оценками или выражающими эмоциональное отношение непердметными лек-

¹⁰³ Тексты всех заявлений Барака Обамы по этому поводу с 2009-го по 2016 годы см. на сайте: http://www.armenian-genocide.org/current_category.4/affirmation_list.html.

сическими единицами; отсутствует указание на последующие действия, следующие из данного речевого акта.

д) Используются незавершенные смысловые структуры (без указания агента, причины и тому подобное), однако представлены все необходимые лексические единицы, хотя и не в тех синтаксических позициях. При минимальных семантико-синтаксических преобразованиях имплицитную семантику можно преобразовать в эксплицитный текст -- например, переведя предложение из пассивной формы в активную, тем более, что прямо не названный агент действия легко восстанавливается, он «скрыт» в обстоятельстве времени: (напр. путем перемещения находящейся в позиции обстоятельства времени единицы в позицию отсутствующего агента: (1.5 million Armenians were massacred or marched to their deaths in *the final days of the Ottoman Empire* - «1,5 миллиона армян были истреблены или прошли маршем смерти в последние дни Османской империи => Османская империя в свои последние дни [истребила или послала пройти маршем смерти] 1,5 миллиона армян»¹⁰⁴.) Другая возможная смысловая реконструкция, восстанавливающая позицию субъекта: «Наследие армянского народа ... -- это победа над теми, кто пытался их уничтожить (The legacy of the Armenian people is ... triumph over those who sought to destroy them => < There were somebody> who sought to destroy them») – стало быть, существовали неназванные организаторы спланированного преступления. Из имеющихся слов возможно составить новый текст, найдя более приемлемую синтаксическую форму.

е) Текст строится как многозначный, допускающий различную интерпретацию, в нем используются различные коды и даже языки. Он осциллирует между высказанным и невысказанным, между мно-

¹⁰⁴ Впервые вводимое применительно к событиям 1915 года Обамой специфическое сочетание «марш смерти» (нем.: Todesmarsche) вместо привычных «депортация» и «ссылка» -- очевидная отсылка к Холокосту.

гозначностью и отсутствием значения. Ключевым словом оказывается одно из наиболее частотных, но никак необъяснимое *Meds Eghern* – транслитерация латиницей армянского наименования геноцида 1915 года, что для армянской аудитории сигнализирует о полном принятии ее точки зрения, но одновременно для остального мира оказывается не наделенным каким-либо смыслом знаком¹⁰⁵.

ж) Статистический анализ лексики и семантико-синтаксический анализ позволяет выявить подмену глубинной темы ежегодных заявлений Барака Обамы. В научной литературе уже отмечалась такая особенность стиля Обамы как автобиографизм, сближающая его с художественными текстами (Садуов 2012С. 38.). Если для предшественников Барака Обамы главной темой были армяно-американские отношения, то здесь ею становится сам Обама. Он описывает собственные действия и сопутствующие им обстоятельства (контекст, время, адресат, цели, мотивы), свою «философию истории», что он считает правильным и что он ожидает от армян и турок. Основной оказывается идея, допускающая самые разнообразные конкретизирующие интерпретации:

¹⁰⁵ Такой прием Обама мог позаимствовать у Марии Йованович – во время слушаний в комиссии сената США по поводу ее назначения послом в Армении 19 июня 2008 года на прямой вопрос сенатора Обамы «Как вы охарактеризуете события вокруг геноцида армян», она ответила: «Соединенные Штаты признают эти события как одну из величайших трагедий XX века, как *Meds Yeghern*, или великое бедствие, как его именуют многие армяне [...] Я буду говорить об этой великой исторической катастрофе как о *Meds Yeghern*» (https://anca.org/change/docs/Obama_Armenian_Genocide.pdf). Предыстории, возможным переводам и интерпретациям этого выражения посвящен цикл из одиннадцати статей Вардана Матосяна в журнале «The Armenian Weekly»; отметим непосредственно относящиеся к нашей теме: <http://www.armenianweekly.com/2013/01/12/the-self-delusion-of-great-calamity-what-medz-yeghern-actually-means-today/>; <http://www.armenianweekly.com/2013/05/15/the-exact-translation-how-medz-yeghern-means-genocide/>; <http://www.armenianweekly.com/2013/08/02/what-our-words-mean-towards-the-vindication-of-medz-yeghern/>.

«Я заинтересован в достижении полного, честного и справедливого признания фактов. Лучший способ для достижения этой цели – если армяне и турки уже сейчас будут рассматривать факты прошлого как часть их усилий по продвижению вперед»¹⁰⁶.

Эта мысль, высказанная уже в первом заявлении (2009 год), постоянно повторяется в последующих.

В целом, описание коммуникативного события (само обращение Обамы) вбирает в себя описание того, чему оно посвящено (события 1915 года). Обама занимает центральную роль, он управляет всеми тремя основными описываемыми им процессами: вместе с армянами и американцами он помнит о *Meds Eger*; вместе с армянами он вовлечен в процесс примирения с турками; вместе с американцами он признает темные страницы истории Америки. Подобная многоликость позволяет Обаме уклониться от выполнения своего предвыборного обещания: оно не отрицается, но оказывается фактом его личной биографии, почему и может быть «заслонено» его новым приоритетом (задачей армяно-турецкого примирения). События 1915 года из исторического факта становятся личной «точкой зрения», «видением» самого Обамы – то есть тем, против чего он выступал в вышеупомянутом письме к Кондолизе Райс.

Таковы основные характеристики заявлений Обамы по поводу событий 1915 года – с 2009 по 2014 годы. Приверженность президента (и его спичрайтеров) некоторым принципам «постмодернистского письма» была замечена его оппонентами еще в его бытность кандидатом в президенты¹⁰⁷, не говоря уже о последующем перио-

¹⁰⁶ “I have consistently stated my own view of what occurred in 1915, and my view of that history has not changed. My interest remains the achievement of a full, frank and just acknowledgment of the facts”. http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.408/current_category.4/affirmation_detail.html

¹⁰⁷ Ср. : «Барак Обама заслужил свое место в истории как первый постмодернистский кандидат в президенты. Он принадлежит к школе деконструктивизма; его “тексты” не имеют фиксированного значения. Он способен занимать различные позиции и делать утверждения о своей

де¹⁰⁸. Можно даже говорить о создании нового типа «двоемыслия», что позволяло Обаме одновременно оставаться верным своим обещаниям, и в то же время уклоняться от них – создав текст, прочитываемый одновременно в нескольких контекстах, в каждом из которых он оказывается «по-своему правильным». Однако, будучи повторяемым каждый год, текст Барака Обамы теряет креативный и перформативный потенциал и застывает как ритуал. Говорящий из автора становится знаком самого себя – актером. Так происходит «иллокутивное самоубийство», если воспользоваться термином Зено Вендлера (Vendler 1976). Вероятно, это было осознано и самим Обамой. В своем последнем заявлении от 2015 года он, сохраняя верность своему принципу балансировать между высказанным и невысказанным, находит новые семантические средства. Он усиливает принцип построения политического дискурса средствами поэтики и создает текст, адекватная семантизация которого требует привлечения техники интертекстуального анализа художественного текста.

последовательности. Как видится, все, что он говорит и делает следует рассматривать “в контексте”, и что обрамление этого контекста является исключительной областью (the sole province) его интересов»: Sunshine G. *The Postmodern Presidency* // Christian Worldview Journal. 07.03. 2010 (<http://www.colsoncenter.org/the-center/columns/call-response/14709-the-postmodern-presidency>).

¹⁰⁸ Президент Обама провел годы своего становления в академических кругах, так что он без сомнения, знаком с постмодернизмом, литературной теорией, которая отвергает объективную реальность, и вместо этого утверждает, что все есть предмет интерпретации и относительной “истины”»: *The Postmodern President* // The Wall Street Journal. 09.08.2012 (<http://www.wsj.com/articles/SB10000872396390443537404577193632921170>).

Последнее слово Барака Обамы

Заявление от 23 апреля 2015 года¹⁰⁹ (приведено в приложении) существенно отличается от предыдущих. В нем усилены тенденции, содержащиеся ранее, что приводит к качественным различиям. Во-первых, усиление экспрессивных характеристик лексики делают изложение более драматичным и эмоциональным. Но еще значительнее смысловые изменения: суммирование нововведений создает параллельное основному тексту сообщение. Выделим те компоненты, которых не было во всех предыдущих заявлениях (2009 – 2014 г.г.).

Первый абзац, формально повторяя все предыдущие обращения президентов, содержит три до этого не встречавшихся компонента:

This year we mark the centennial of the Meds Yeghern, **the first mass atrocity of the 20th Century**. Beginning in 1915, **the Armenian people of the Ottoman Empire** were deported, massacred, and marched to their deaths. **Their culture and heritage in their ancient homeland were erased**. Amid horrific violence that saw suffering on all sides, one and a half million Armenians perished (подчеркнуто нами) («В этом году отмечаем столетие Meds Egerh, первого из массовых злодеяний 20-го века. Начиная с 1915 года, армянский народ Османской империи был депортирован, подвергся массовым убийствам, был отправлен идти маршем смерти. Его культура и наследие на его древней родине были уничтожены. В обстановке ужасающего насилия, от которого пострадали все стороны, погибло полтора миллиона армян»).

«Османская империя» впервые используется здесь не в качестве обстоятельства времени или места, как в предыдущих заявлениях президентов по этому вопросу («в последние дни Османской империи»; «массовые убийства 1915 года в Османской империи»), а в политическом смысле – как государство, чьими гражданами были жертвы. Крайне существенно и указание, что результатом преступления

¹⁰⁹ <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/23/statement-president-armenian-remembrance-day>.

оказалось уничтожение культуры и наследия на исторической родине армянского народа¹¹⁰, что также не встречалось ранее. Но самое примечательное — несколько отклоняющееся выражение: «первое массовое злодеяние XX века», что может интерпретироваться по-разному. Оно становится понятным, если проследить его интертекстуальную историю. Так, термин *atrocities* применительно к событиям 1915 года впервые появляется еще в 1916 году в документах Конгресса США, на которые затем ссылается Вудро Вильсон в своем обращении к конгрессу же¹¹¹.

Это слово становится у Обамы основным для характеристики событий 1915 года, оно встречается во всех его Заявлениях:

*Ninety four years ago, **one of the great atrocities** of the 20th century began. (2009)*

*On this solemn day of remembrance, we pause to recall that ninety-five years ago **one of the worst atrocities of the 20th century** began.(2010)*

*We solemnly remember the horrific events that took place ninety-six years ago, resulting in **one of the worst atrocities of the 20th century**. (2011)*

*Today, we commemorate the Meds Yeghern, **one of the worst***

¹¹⁰ Термин «Западная Армения» встречается – помимо армянских документов – только в Заявлении Государственной Думы России (*Об осуждении геноцида армянского народа в 1915–1922 годах. 22 апреля 1995 г. Собрание законодательства РФ. М., 1995. № 17. С. 14.: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, основываясь на неопровержимых исторических фактах, свидетельствующих об истреблении армян на территории Западной Армении в 1915 — 1922 годах*

¹¹¹ « *Whereas the testimony adduced at the hearings conducted by the subcommittee of the Senate Committee on Foreign Relations have clearly established the truth of the reported massacres and other **atrocities** from which the Armenian people have suffered (1920) - 66th Congress 2nd Session House of Representatives Document No.791 Mandate For Armenia; Message from the President of the United States; May 24, 1920* (http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.64/current_category.4/affirmation_detail.html)

atrocities of the 20th century. (2012)

*Today we commemorate the Meds Yeghern and honor those who perished in **one of the worst atrocities of the 20th century.** (2013; 2014)*

*...such **atrocities** must always be remembered if we are to prevent them from occurring ever again. (2014)*

Остальные президенты его не использовали, тогда как у Барака Обамы слово *atrocity* становится основным, оно употреблено во всех его заявлениях по этому вопросу. К своему лексическому значению добавляет интертекстуальную семантику: оно отсылает к первым документам Конгресса США, к Вудро Вильсону, чье словоупотребление воскрешает Обама, и, наконец, это своего рода персональный маркер текстов Обамы – он единственный из современных президентов, кто его употребляет. Очевидна претензия и на новаторство, и на аутентичность номинации, и на идентификацию с президентом–гуманистом и реформатором американской внешней политики. В

заявлении 2015 года это выражение несколько модифицировано. Перед нами результат интертекстуальной контаминации. Дело в том, что за несколько дней до этого (12 апреля) прозвучало заявление римского папы Франциска, где тот, повторяя, в свою очередь, совместное Заявление папы Иоанна Второго и католика Гарегина Второго от 2001 года, назвал события 1915 года «Первым геноцидом XX века»¹¹².

Однако в своем Заявлении 2015 года Обама несколько модифицирует его – из понятного *one of the great atrocities* или же *one of the worst atrocities of the 20th century* он создает отклоняющееся: *the first mass atrocity of the 20th Century* . Оно появляется как результат интертекстуальной контаминации. Дело в том, что несколько ранее (12 апреля) прозвучало Заявление Папы Франциска Первого, где он

¹¹² *Greeting of the Holy Father at the beginning of celebration. 12/04/2015* (http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.461/current_category.189/affirmation_detail.html).

(повторяя, в свою очередь, совместное Заявление папы Иоанна Второго и католика Гаренина Второго от 2001 г.) назвал событие 1915 года «Первым геноцидом XX века»¹¹³.

Из двух приемлемых выражений Обама создает новое:

One of the worst atrocities of the 20th century ==> the first mass atrocity of the 20th Century

The first Genocide of the twentieth century.

Сам отклоняющийся характер нового выражения вызывает к уточнению и объяснению. Оно должно восприниматься как обмолвка, результат определенной гезитации в процессе выбора между двумя альтернативами. Поэтому в результате его осмысления должна быть восстановлена «правильная» форма (вспомним Мандельштамовское Часто пишется казнь а читается правильно песнь »). Но и здесь Обама верен себе : сквозь текст проглядывает правильное выражение, но какое именно из двух альтернатив – это не уточняется.

Этот случай заставляет вспомнить уже упомянутое использование слова «геноцид» Рональдом Рейганом. 22 апреля 1981 года он выступил с заявлением о Холокосте, но вместе с тем упомянул события 1915 года, назвав «геноцидом армян». Но то, что у Рейгана выступает как путаница и проявление присущего этому президенту эксцентризма, у Барака Обамы становится хорошо рассчитанным приемом. У Обамы подобная «путаница» носит сознательный характер; более того, он сам оставляет в тексте следы-подсказки, по которым его «ошибка» может быть исправлена. Так, в четвертом абзаце будет упомянуто «точка зрения» папы Франциска, что отсылает адре-

¹¹³ «*In the past century our human family has lived through three massive and unprecedented tragedies. The first, which is widely considered "the first genocide of the twentieth century" (John Paul II and Karekin II, Common Declaration, Etchmiadzin, 27 September 2001), struck your own Armenian people, the first Christian nation, as well as Catholic and Orthodox Syrians, Assyrians, Chaldeans and Greeks*» - GREETING OF THE HOLY FATHER AT THE BEGINNING OF CELEBRATION, 12/04/2015 (http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.461/current_category.189/affirmation_detail.html)

сата к источнику, где он найдет «правильную» версию. Подобный прием мы встречаем и во втором абзаце: «обмолвки» одновременно являются и интертекстуальными отсылками, подсказывающие, как можно «исправить» отклоняющийся текст.

Второй абзац заявления Барака Обамы 2015 года можно считать беспрецедентным; он вводит темы, до этого ни разу упоминавшиеся ни одним из президентов:

As the horrors of 1915 unfolded, U.S. Ambassador Henry Morgenthau, Sr. sounded the alarm inside the U.S. government and confronted Ottoman leaders. Because of efforts like his, the truth of the Meds Yeghern emerged and came to influence the later work of human rights champions like Raphael Lemkin, who helped bring about the first United Nations human rights treaty. («Как только начались ужасающие события 1915 года, посол США Генри Моргентуа поднял тревогу, обратившись как к правительству США, так и к османским лидерам. Благодаря подобным усилиям, стала известна правда о *Meds Eghern*, что позже повлияло на деятельность поборников прав человека, таких, как Рафаэль Лемкин, способствовавшему появлению первого договора ООН по правам человека».

Впервые в подобного рода документах появляются крайне значимые имена Генри Моргентуа и Рафаэля Лемкина. Но, говоря о них, Обама весьма неточен. Относительно деятельности Моргентуа приведена «половина правды» – не указано, что он оставил именно те самые свидетельства о событиях 1915 года, которые и дают основания назвать их геноцидом. Именно о подобном свидетельстве писал сенатор Обама в вышеупомянутом письме к Кондолизе Райс: *At the time of killings, it was U.S. State Department officials working in the Ottoman Empire who drew attention to the horrors describing the massacres as a “campaign of race extermination” (U.S. Ambassador to the Ottoman Empire from 1913 - 1916, Henry Morgenthau).* («В то время, когда происходили убийства, работавшие в Османской империи представители госдепартамента США обратили внимание на ужасающие явле-

ния, характеризуя массовые убийства как “кампанию расового уничтожения” (посол США в Османской империи с 1913–1916, Генри Моргантау).

Как видим, и здесь текст Обамы предполагает отсылку к его прежним текстам, благодаря чему и может быть восстановлена «правильная» версия. Еще нагляднее то, в каком контексте упоминается Рафаил Лемкин, известный как создатель термина «геноцид» и основной автор-разработчик «Конвенции о Геноциде» (1948). Возникает характерная для Обамы-автора ситуация - то ли явной ошибки, то ли высокопрофессиональной подтасовки (он в молодости был редактором специализированного журнала «Harvard Law Review»). Напомним: первым документом ООН по правам человека принято считать «Всеобщую декларация прав человека»; день ее принятия (10.12.1948) считается Международным днем прав человека. Что касается «Конвенции о геноциде», то она не входит в список документов по правам человека¹¹⁴. Обама использует то обстоятельство, что «Конвенция о геноциде» была принята 9 декабря, на день раньше «Всеобщей Декларации», но не упоминает, что в данном случае он отклоняется от общепринятого представления о первом международном документе о правах человека. «Правильную» версию мы вновь находим в ранее уже упомянутом письме сенатора Обамы к государственному секретарю Кондолизе Райс: «Именно изучение истребления армян турками подвигло Рафаэля Лемкина на то, чтобы создать термин *геноцид* в 1941 году и добиться разработки и принятия Конвенции ООН о геноциде в 1948 году»¹¹⁵.

¹¹⁴На сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Конвенция о геноциде» упомянута не среди основных документов по правам человека, а как «имеющая отношение» (related) к ним, в рубрике «Военные преступления и преступления против человечности, включая геноцид»: (<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx>).

¹¹⁵ Сам Лемкин пишет в своих воспоминаниях: «Вскоре появились современные

Как видим, второй абзац есть намеренно искаженный вариант того, что некогда было написано Обамой. В случае Джорджа Буша-младшего подобное было бы воспринято как очередной «бушизм» -- перепутал Конвенцию о геноциде с Всеобщей декларацией прав, дело для этого президента обычное! Но в случае Обамы действует иной принцип; «бушизмы» несовместимы с созданным им образом интеллектуала. Информированный адресат должен воспринимать это как подсказку, по которой он сможет восстановить «правильный» текст и тем самым понять, что хотел сказать -- и в определенном отношении действительно выразил, хоть и не сказал -- автор.

В остальных абзацах заявления Барака Обамы 2015 года нет принципиально нового по сравнению с предыдущими подобными заявлениями Обамы, кроме одного предложения в пятом абзаце:

We welcome the expression of views by Pope Francis, Turkish and Armenian historians, and the many others who have sought to shed light on this dark chapter of history. («Мы приветствуем точки зрения, высказанные папой Франциском, турецкими и армянскими историками, а также многими другими, которые стремятся пролить свет на эту темную главу истории»)

Эта запутанная фраза отсылает к противоположным точкам зрения, высказанным непосредственно перед заявлением 2015-го. Первый источник очевиден: уже вышеупомянутая речь Франциска. Но

примеры геноцида, как, например, резни армян в 1915 году [...] Я решил стать юристом и работать для международного запрета геноцида и его предотвращения посредством сотрудничества наций (*«I understood that the function of memory is not only to register past events, but to stimulate human conscience. Soon contemporary examples of genocide followed, such as the slaughter of Armenians in 1915. It became clear to me that the diversity of nations, religious groups and races is essential to civilization because every one of those groups has a mission to fulfill and a contribution to make in terms of culture... I decide to become a lawyer and work for the outlawing of Genocide and for its prevention through the cooperation of nations.»* -: Raphael Lemkin on the Armenian Genocide // Charny I.W. Wiesenthal S., Tutu D. (Eds.) *Encyclopedia of Genocide*. ABC-CLIO, 1999. V. 1. P. 79.

неясно, что, где и когда сказали нового армянские и турецкие историки, и кого из них конкретно имеет в виду Обама. Большинство турецких историков отрицает факт геноцида (Ср.: Gutman 2015), а те немногие, кто его признают, находятся вне Турции (в самой Турции признание геноцида рассматривается как оскорбление национального достоинства и подлежит уголовному преследованию). Ни в одном из предыдущих заявлений Обамы, где содержатся призывы к диалогу и примирению между армянами и турками и постоянно звучит тема признания темных страниц истории, нет какого-либо упоминания о самих историках.

По всей вероятности, Обама имеет ввиду не реальных историков, а «интертекстуальных», обитающих в виртуальном пространстве президента Турции Реджепа Эрдогана. Здесь также действует характерный для Обамы принцип многослойной семантизации, создающий неопределенность и неоднозначность. Приветствуя факт «высказывания точки зрения» папы Франциска, Обама не мог не знать, какую бурную реакцию вызвало заявление Папы у властей Турции (и лично президента Эрдогана) и как на это, в свою очередь, отреагировал Европарламент. Как известно, Турция отозвала своего посла, а Эрдоган выступил с заявлением, нарушающим все дипломатические нормы. Он предложил папе заниматься «своим делом»:

Whenever politicians, religious functionaries assume the duties of historians, then delirium comes out, not fact. "Whenever politicians, religious functionaries assume the duties of historians, then delirium comes out, not fact. Hereby, I want to repeat our call to establish a joint commission of historians and stress we are ready to open our archives. I want to warn the pope to not repeat this mistake and condemn him. His remarks display the appearance of a mentality different to that of a religious functionary. I won't let historical events be brought out of their own course and turned into a campaign against our country and nation" - <http://www.bbc.com/news/world-europe-32309044>; («Всякий раз, когда политики, религиозные функционеры присваивают обязанности

историков, то получаются бредни, а не факты. Поэтому я хочу повторить наш призыв создать совместную комиссию историков и подчеркнуть, что мы готовы открыть наши архивы. Я хочу предупредить папу не повторять эту ошибку и осуждаю его»).

Помимо инвектив в адрес понтифика, Эрдоган повторил свой излюбленный тезис о том, что события 1915 года – это история, и поэтому заниматься ею должны исключительно историки, для чего и необходимо создать совместную армяно-турецкую комиссию. (Причем выводы, к которым должны придти эти историки, для Эрдогана заранее ясны: « *I won't let historical events be brought out of their own course and turned into a campaign against our country and nation* - Я не позволю, чтобы исторические события были бы вырваны из их собственного течения и превратилась в кампанию против нашей страны и нации»). Но его столь оскорбительное по отношению к папе Заявление вызвало крайне негативную реакцию. В частности, Европарламент счел нужным дополнить готовящуюся резолюцию еще одним пунктом, в котором он солидаризировался с Франциском и совершенно по-иному, чем Эрдоган, оценивал его речь:

Commends the message delivered by His Holiness Pope Francis honouring the centenary of the Armenian genocide on 12 April in a spirit of peace and reconciliation”.«... (Парламент) Высоко оценивает сообщение, сделанное Его Святейшеством Папой Франциском в честь столетия со дня геноцида армян 12 апреля в духе мира и примирения».

Как видим, Обама, вслед за Европарламентом, солидаризируется с мнением Франциска и приветствует его точку зрения, но в то же время считает нужным «приветствовать» и точку зрения «армянских и турецких историков», существующих только как давнюю мечту президента Турции. Здесь также действуют механизмы поэтической семантики, позволяющие предложить иные интерпретации того, как именно следует понимать «правду *o Meds Eger*».

Обобщая наши наблюдения над заявлением Обамы от 2015 года, мы видим, что все его инновации являются интертекстуальными

отсылками. Рассмотренные в совокупности, они образуют некое дополнительное по отношению к основному тексту сообщение. Хотя каждая из них одновременно отсылает к нескольким источникам и может допускать различную интерпретацию, но все они сходятся в одной точке и оказываются интертекстуальной метонимической заменой слова «геноцид». Рассматриваемые как единый комплекс, они выступают как смысловая структура, объединенная вокруг этого ключевого смысла и отсылающая к эксплицирующим этот смысл текстам. Так создается дополнительное по отношению к основному тексту новое сообщение.

Возникает вопрос – кто адресат этого сообщения? Безусловно, аудитория, к которой обращен текст, не в состоянии восстановить весь этот комплекс, поэтому созданный Обамой интертекст понятен только ему самому, «сверхчитателю» (*super-reader*), которому известны все контексты и подтексты. Но в таком случае табуирование слова «геноцид» – это «авторская» проблема Обамы, он имплицитно, посредством межтекстовых связей, высказывает то, что запрещает себе эксплицитно выразить в тексте. «Обычному» адресату оставлена именно та роль, которая для него предназначена автором-сверхчитателем: понимать текст в меру своего разума и получать удовлетворение от того, что его ожидания совпадают с его пониманием. Самому автору добавить уже нечего: в 2016 году Барак Обама почти буквально повторяет свое прошлогоднее Заявление.

Мандельштам и Обама: сходство как различие

Очевидно сходство между проанализированными приемами, используемыми в стихотворении Мандельштама и в заявлении Барака Обамы. Но это подчеркивает и отличие их функционирования в политическом и поэтическом дискурсах, выявляя их прагматическую противоположность.

Многозначность поэтического текста допускает сосуществование различных семантических структур, ни одна из которых не отменяет другую. Поэтому «ошибка» Мандельштама создает новую реальность, где сосуществуют Медея, Елена и Пенелопа. Даже действительность, входя в текст, мифологизируется; быт (история) становится источником нового мифа. Многозначность переносится на действительность. Так, некоторый исторический факт – посещение Осипом Мандельштамом в 1917 году в Алуште супругов Судейкиных – преобразуется в продолжение античных мифов. При интерпретации поэтического текста «ошибка» не отменяема – «не–Елена, другая», не заменяется Пенелопой, а хозяйка – Медеей.

В политическом дискурсе, напротив, «ошибка» есть ошибка; она должна быть исправлена, а многозначная структура подвержена распаду на различные интерпретации, которые не могут сосуществовать одновременно. Поэтому в случае дискурса Обамы не происходит порождения новых смыслов, поскольку один смысл нейтрализует другой. Над ним, как и над всяким политическим текстом, тяготеет судьба быть перформативом, то есть речевым актом, предполагающим определенное действие и выбор. Об этом писал еще в конце сороковых годов классик политологии Гарольд Лассвелл:

Язык политики - это язык власти. Это язык решений. Он регистрирует решения и вносит в них поправки. Это боевой клич, вердикт и приговор, закон, постановление и норма, должностная присяга, спорные вопросы, комментарии и прения. (Ласвелл 2006

[1948], с. 272), но еще задолго до этого – Конфуций.¹¹⁶ Поэтому в данном случае необходим переход к прагматике. Содержание перформативов не может исчерпываться самодостаточными семантическими реминисценциями. Слова Конфуция объясняют, почему сложная контаминация подвержена деконструкции. Как таковая, она существует только до момента ее интерпретации в непосредственном восприятии «простого» неинформированного адресата, а в процессе интерпретации она распадается на взаимоисключающие смысловые структуры. Поскольку, «в словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного» (там же), то всякое отклонение от «правильного» подрывает иллокутивную и перлокутивную силы высказывания. Уподобляясь не имеющему непосредственной референции в актуальном мире поэтическому, такое высказывание уже перестает быть политическим актом: «И мысль бесплотная в чертог теней вернется...».

Использование принципов поэтики в политическом дискурсе не изменяет его функции. Если даже переложить заявление Обамы 2015 года ямбом, оно не станет поэзией. Аналогично, результаты приложения к ним методов анализа и интерпретации поэтического текста также окажутся в сфере действия политической функции языка и будут направлены на решение тех или иных прагматических задач. Так, применительно к текстам Обамы можно предложить известное в поэтике разграничение между двумя типами интерпретации текста: замкнутой, когда его семантика определяется исключительно внутри-

¹¹⁶ Знаменитый фрагмент о «правильности имен» можно рассматривать и как первое функциональное описание политического дискурса: «*Цзы Лу спросил: «Вэйский правитель намеревается привлечь Вас к управлению государством. Что Вы сделаете прежде всего?» Учитель ответил: «Необходимо начать с исправления имен»... Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться... Поэтому благородный муж, давая имена, должен произносить их правильно, а то, что произносит, правильно осуществлять. В словах благородного мужа не должно быть ничего неправильного».* Лунь Юнь 1972, с. 161 – 162.

текстовыми связями, и открытой, когда учитываются также референциальные и интертекстуальные. Буквальное прочтение (учитывающие только то, что сказано) приводит к привычной для выступлений президентов США уклоняющейся, или маневрирующей интерпретации. Прочитанные опять-таки буквально, но «по-армянски» (если адресат понимает семантику слова *Meds Eger*), они оказываются принятием армянской точки зрения, но только в пределах армянской аудитории. «Открытая интерпретация», она же и «глубокая», учитывает также подразумеваемое и выводимое из текста, и тогда дискурс Обамы изменяет свои характеристики и перестает быть «уклонистским» или «внутриармянским».

Так, содержащиеся в последнем выступлении Обамы ссылки не только на себя, но и на Генри Моргентау, папу Франциска и Рафаила Лемкина дают основания обратиться к указываемым текстам и сделать явными те содержащиеся в них характеристики, которые определяют произошедшие в 1915 году события как геноцид. При такой интерпретационной стратегии текст Обамы следует рассматривать вкуче с теми, к которым он отсылает, и тогда адресат вправе интерпретировать его как признание геноцида армян.

В основе столь изощренной техники не-произнесения слова -- примитивное табу. Табу есть искаженная форма семиозиса, когда абсолютизируется связь между означающим и означаемым и предполагается, что не-употребление означающего может повлиять на существование или не-существование означаемого. Табу можно преодолеть только если выйти за границы мифа и принять историческую реальность, и от знаков и нарративов перейти к выявлению описываемых ими смыслов, фактов и событий. Действительность, в отличие от высказываний, не подлежит отрицанию. Говоря словами Обамы из ранее упомянутого письма к Кондолизе Райс: «The facts are undeniable» («Факты неопровержимы»).

Для глубокого понимания текста Обамы требуются герменевтический подход, направленный на раскрытие интенции автора. Здесь

нужна не деконструкция, а, скорее, *ревитализация* текстов Обамы, следует наделить их референциальной и перформативной потенцией. В расширенном и углубленном контексте, который мы попытались здесь создать, эти обращения приобретают референцию, наиболее совместимую с их семантической и интертекстуальной конструкцией.

Как знать, быть может изменение принципов политической коммуникации приведет к появлению нового типа политических аналитиков -- наряду со специалистами по геополитике, экономике и так далее, появятся «аналитики-герменевтики».

Заключение

Построенный по пост-модернистским канонам текст не подлежит верификации, адекватным инструментом его анализа оказывается герменевтика. Именно такой подход предлагается использовать в случае «маневрирующего» или «уклонистского» дискурса, что применительно к дискурсу Обамы, оказывается особенно оправданным. В отличие от риторики традиционного Клинтоновского дискурса, пост-модернистский дискурс предполагает учет не только сказанного, но и подразумеваемого; интерпретатор вправе восстанавливать содержащиеся в тексте аллюзии и эксплицировать интертекстуальные сообщения, на которые имеются отсылки в тексте. Так, содержащиеся в последнем выступлении Обамы ссылки не только на свои собственные предыдущие выступления, но и на посла Генри Моргентау, папы Римского Франциска и основного автора «Конвенции о предупреждении и наказании геноцида» Рафаила Лемкина дают все основания обратиться к тем текстам, на которые указывает Обама и сделать эксплицитными содержащиеся в них характеристики происшедших в 1915 году событий как Геноцид. В случае применения такой интерпретационной стратегии, которая согласуется с используемой Обамой

стратегией смысловой организации сообщения, есть все основания рассматривать тексты его обращений вкупе с теми текстами, к которым он отсылает, как единый и целостный дискурс.

В основе столь изощренной техники не-произнесения слова – примитивное табу. Табу есть искаженная форма семиозиса, когда абсолютизируется связь между означающим и означаемым и предполагается, что не-употребление означающего может повлиять на существование или не-существование означаемого. Табу можно преодолеть только если выйти за границы мифа и принять историческую реальность, и от знаков и и нарративов перейти к выявлению описываемых ими смыслов, фактов и событий. При таком подходе адресат его сообщений вправе интерпретировать их как признание Армянского геноцида. Действительность, в отличие от высказываний, не подлежит отрицанию: *The facts are undeniable.* (ОБАМА, 2006)

ПРИЛОЖЕНИЕ

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary FOR IMMEDIATE RELEASE April 23, 2015

Statement by the President on Armenian Remembrance Day

This year we mark the centennial of the Meds Yeghern, the first mass atrocity of the 20th Century. Beginning in 1915, the Armenian people of the Ottoman Empire were deported, massacred, and marched to their deaths. Their culture and heritage in their ancient homeland were erased. Amid horrific violence that saw suffering on all sides, one and a half million Armenians perished.

As the horrors of 1915 unfolded, U.S. Ambassador Henry Morgenthau, Sr. sounded the alarm inside the U.S. government and confronted Ottoman leaders. Because of efforts like his, the truth of the Meds Yeghern emerged and came to influence the later work of human

rights champions like Raphael Lemkin, who helped bring about the first United Nations human rights treaty.

Against this backdrop of terrible carnage, the American and Armenian peoples came together in a bond of common humanity. Ordinary American citizens raised millions of dollars to support suffering Armenian children, and the U.S. Congress chartered the Near East Relief organization, a pioneer in the field of international humanitarian relief. Thousands of Armenian refugees began new lives in the United States, where they formed a strong and vibrant community and became pillars of American society. Rising to great distinction as business people, doctors, scholars, artists, and athletes, they made immeasurable contributions to their new home.

This centennial is a solemn moment. It calls on us to reflect on the importance of historical remembrance, and the difficult but necessary work of reckoning with the past. I have consistently stated my own view of what occurred in 1915, and my view has not changed. A full, frank, and just acknowledgement of the facts is in all our interests. Peoples and nations grow stronger, and build a foundation for a more just and tolerant future, by acknowledging and reckoning with painful elements of the past. We welcome the expression of views by Pope Francis, Turkish and Armenian historians, and the many others who have sought to shed light on this dark chapter of history.

On this solemn centennial, we stand with the Armenian people in remembering that which was lost. We pledge that those who suffered will not be forgotten. And we commit ourselves to learn from this painful legacy, so that future generations may not repeat it.

Литература

1. Золян С. Президенты США о геноциде армян. Семантический и прагматический анализ «маневрирующего» дискурса. Ереван, Изд-во «Ли-

муш», 2015, с.171. (на армянском языке).

2. Казарин, М.А. Новикова, Е.Г. Криштоф. Стихотворение О.Э. Мандельштама «Золотистого меда струя из бутылки текла...» // «Знамя» 2012, №5

3. Лассвелл Г. Язык власти // Политическая лингвистика. - Вып. 20. - Екатеринбург, 2006. - С. 264-279

4. Лотман М. О соотношении звуковых и смысловых жестов в поэтическом тексте. // Золян С.Т., Лотман М.Ю. ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПОЭТИКИ АКМЕИЗМА. Изд-во Таллинского университета, Таллин, 2012, с. 19 – 51.

5. Лунь Юнь *БЕСЕДЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ. // ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. СОБРАНИЕ ТЕКСТОВ В ДВУХ ТОМАХ*, Изд-во Мысль, Т.1., 1972.

6. Оруэлл Джордж. 1984. Пер. В. Гольшева. // Оруэлл Джордж. “1984” и эссе разных лет. Роман и художественная публицистика. М.: Прогресс, 1989.

7. Садуов Р.Т. *Феномен политического дискурса Барака Х.Обамы: лингвокультурологический и семиотический анализ*. Уфа: РИЦ Башкирского гос. Ун-та, 2012.

8. Ср.: Gutman D. Ottoman Historiography and the End of the Genocide Taboo: Writing the Armenian Genocide into Late Ottoman History // Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association. 2015. 2. P. 167–183.

9. Vendler Z. Illocutionary suicide // Mackay A.F., Merrill D.D. (Ed.) Issues in the Philosophy of language. Yale: Yale University Press. 1976. P. 135—145



Չափսը՝ 60x84 1/16, թուղթ օֆսեթ N 1:
Ծավալ՝ 23 տպ. մանուլ: Տպաքանակ՝ 100:

Տպագրված է «ԼԻՄՈՒՇ ՍՊԸ»-ի տպարանում:
ք.Երևան, Դ.Մալյան 45:
հեռ.՝ 010 62-22-20, E-mail: info@limush.am